ЛАРС МИТТИНГ

ОТ АВТОРА МИРОВОГО БЕСТСЕЛЛЕРА
«НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС»

ШЕСТНАДЦАТЬ ДЕРЕВЬЕВ СОММЫ

Annotation

Ларс Миттинг – новая звезда мировой литературы. Первая же его книга «Норвежский лес» стала супербестселлером. В 2016 году она получила премию Ассоциации книгоиздателей Великобритании и была признана лучшим произведением года.

…Его жизнь изменилась навсегда, когда ему было три года и они с родителями поехали отдыхать во Францию. Когда загадочным образом в один день погибли его мать и отец. Когда сам он бесследно исчез и был обнаружен случайными людьми лишь через три дня, совершенно ничего не помня. С тех пор Эдвард Хирифьелль безуспешно пытается разгадать тайну давней трагедии. Кажется, что все следы безнадежно запутаны и затеряны во времени. Но путь к разгадке начинался совсем рядом – в роще свилеватых карельских берез рядом с домом…

- Ларс Миттинг
  -
  - I
  - II
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
  - III
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12

        - 13
        - 14
        - 15
        - 16
    - IV
        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
        - 5
        - 6
        - 7
        - 8
        - 9
        - 10
        - 11
        - 12
        - 13
        - 14
    - Эпилог
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18

- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57

- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76

Ларс Миттинг
Шестнадцать деревьев Соммы

Скажи – и в кольцах дыма
я исчезну, растворюсь,
с туманом времени сольюсь,
от замерзших листьев прочь,
в деревьев вспуганную ночь,
на пляж, открытый всем ветрам,
но злая боль – она и там меня достанет[1].

Боб Дилан

«Mr. Tambourine Man»

I
Так ветер разносит пепел

Мама мне представлялась запахом. Мама мне представлялась теплом. Бедром, к которому я прижимался. Синим взмахом. Само ее платье помнилось мне смутно. Я говорил себе, что она выпустила меня в жизнь, как стрелу из лука, и когда у меня формировались воспоминания о ней, я не знал, настоящие ли они, всамделишные, или я просто создавал ее такой, какой, мне казалось, сын должен помнить свою мать.

Именно о маме я думал, когда тоска давала о себе знать в полную силу. Об отце редко. Иногда я задумывался о том, а не мог ли он стать таким же, как другие отцы в деревне. Как мужчины, которых я видел в форме добровольных отрядов обороны, в футбольных бутсах на тренировках команды ветеранов, как мужики, ранним утром в выходной собиравшиеся возле охотничьего магазина в Саксюме, чтобы вместе поработать на чьем-то участке. Но его образ рассеивался, не вызывая горечи потери. Я принимал это, во всяком случае в течение многих лет, в качестве доказательства того, что дедушка старается делать все, что мог бы делать отец, и что у него это отлично получается.

У дедушки был нож – обломанный штык русского солдата. Рукоять из свилеватой карельской березы оказалась единственным удавшимся ему образцом тонкой столярной работы. Верхняя кромка лезвия была тупой – этой стороной он соскребал ржавчину и гнул стальную проволоку. А другую кромку держал заточенной настолько остро, чтобы резать ею аптечный пластырь и вспарывать здоровенные дерюжные мешки с известью. Раз – и белые гранулы сыплются ровной струйкой, ни одна не пропадет зря, и я могу выводить трактор на поле.

Острая и тупая кромки соединялись в кинжальное острие – им дедушка добивал килограммовых рыбин, которых мы таскали из озера Саксюмшё. Он снимал этих мощных, люто бившихся форелей, злых из-за того, что приходится тонуть в воздухе, с заглоченного крючка с наживкой. Прижимал их к планширу, всаживал кончик ножа в черепушку, пробивая ее насквозь, и бахвалился тем, какая у них широкая спинка. Я всегда при этом поднимал весла и смотрел, как кровь стекает по стали ножа, вязкая, густая, а с весел, которые держу *я*, легко и споро скатываются капли воды.

Но все капли смешивались в одном и том же горном озерце. Истекая

кровью, форели превращались в *нашу* рыбу из *нашего* озера.

В первый школьный день я отыскал парту со своим именем и сел за нее. Бумажный листок был сложен посередине и поставлен стоймя, и на обеих его сторонах было написано незнакомым фломастером «*Эдвард Хирифьелль*», как будто не только учителю, но и мне требовалось напомнить, кто я такой.

Я все время оборачивался, высматривая дедушку, хоть и знал, что он стоит где стоял и не уходит. Другие ребята были уже знакомы друг с другом, а я смотрел только прямо перед собой, на карту Европы и широкую доску, пустынную и зеленую, как Мировой океан. А потом еще раз обернулся, всего на секунду, но сумел разглядеть, что дедушка вдвое старше других родителей. Он стоял там, весь такой большой в своем вязаном свитере, и был старым, как Фритьоф Нансен на банкноте в десять крон. Они были похожи усами и бровями, и прожитые годы не тяготили деда – получалось так, словно они, приумножаясь, наполняют его лицо жизненной силой. Ведь дедушка не может состариться. Он сам говорил, что благодаря мне остается молодым, что ради меня он остается молодым.

*** * ***

Лица мамы и отца не старились совсем. Они жили на фотографии, стоявшей на комоде рядом с телефоном. Отец в брюках клёш и полосатом жилете облокотился на «Мерседес». Мама, присев, гладит Пелле, нашу норвежскую овчарку. Кажется, будто собака не хочет отпускать маму, не хочет, чтобы мы ехали.

Может быть, животные понимают такие вещи.

А сам я сижу на заднем сиденье и машу рукой, так что, наверное, снимок сделан в день нашего отъезда.

Мне все мнится, будто я помню, как мы ехали во Францию. Это память о запахе разогревшейся искусственной кожи сидений, о деревьях, мелькающих за боковым окошком машины. Еще мне долго казалось, что я помню и то, как по-особенному пахла мама в тот день, помню их с отцом голоса, заглушаемые шумом возникающего при движении ветра.

У нас сохранились негативы, с которых сделана фотография на комоде. Дедушка не сразу сдал пленку в проявку. Сначала я думал, что он тянет с этим, чтобы сэкономить, потому как после того, что оказалось последним фото мамы и отца, наступили Рождество, ловля рыбы сетью в разгар лета и выкапывание картошки.

Но на чем он, собственно, пытался сэкономить, так просто и не поймешь. Я думаю, дед тянул с проявкой, потому что с пленкой не знаешь заранее, какими окажутся снимки, пока не получишь их из лаборатории. Есть предчувствие, есть ожидание того, как выстроятся мотивы, и в этих ожиданиях мама с отцом жили дольше, покрытые эмульсией, – до тех пор, пока ванночка с проявителем не сделала их жизнь конечной.

Я верил дедушке, твердившему мне, когда я немного успокаивался после своих приступов ярости, что он собирается все мне рассказать, когда я достаточно подрасту. Но, наверное, он не заметил, как я подрос. Так что я узнал правду слишком рано, и тогда уже было слишком поздно.

Я тогда пошел в третий класс. Катил на велосипеде через хутор Линдстадов. Дверь была открыта, я зашел в нее и сказал: «Привет». В доме никого не оказалось – должно быть, хозяева были в хлеву, – и я пошел дальше, в гостиную. На протравленном темной морилкой книжном стеллаже стоял стереокомбайн – крышка проигрывателя покрылась пылью. Атласы дорог, изданные Обществом автовладельцев Норвегии, пересказы романов в издании «Ридерз дайджест» и целый ряд книг в бордовых обложках, на корешке которых золотом написано: «*События года*». Каждому году был посвящен отдельный выпуск, и я понял, что в книгах дается обзор важнейших событий за год.

Понятно, что я совсем неспроста вытащил томик за 1971 год, а ежегодник словно сам хотел, чтобы я открыл его, и раскрылся на месяце сентябре. Страницы были так захватаны, что лоснились. Уголки листков истрепались, а у сгиба посерединке налипли тонкие полоски табака.

Мама и отец, на отдельных фото. Две простые портретные фотографии. Под снимками напечатаны их имена, а в скобках написано: «*Рейтер*». Я еще подумал, кто же такой этот Рейтер – мне ведь казалось, что раз речь идет о моих родителях, я должен бы знать это.

Написано было, что отпускники, норвежско-французская пара, *оба проживающие в Гюдбраннсдале*, погибли 23 сентября под городком Отюй на севере Франции. Они проникли на огороженное поле битвы времен Первой мировой войны, и их мертвые тела были обнаружены в реке. Вскрытие показало, что они вдохнули газы из старого снаряда, упали в воду и не сумели выбраться из нее.

В ежегоднике говорилось, что вдоль прежней линии фронта все еще остается несколько миллионов тонн взрывчатых веществ, и считается, что разминировать многие участки не представляется возможным. За последние годы более сотни туристов и фермеров погибли, наступив на неразорвавшиеся боеприпасы.

Это я знал уже из дедушкиных скупых пояснений. А вот следующим в разделе «*Происшествия» было написано то, чего он не говорил.*

«Основываясь на изучении оставленных в автомобиле вещей, полиция сделала вывод, что у пары был с собой ребенок, мальчик трех лет». Но сразу же найти его не удалось, рассказывалось в статье, и была организована поисковая операция. Бывшее поле битвы обследовали собаки, погружались в воду водолазы, были задействованы вертолеты для расширения площади поисков, но все безрезультатно.

Следующим я прочел предложение, которое выжгло во мне детство. Это как когда я клал газетные страницы в печку: сначала можно было разобрать, что на них написано, хотя бумага уже загорелась, – но малейшее прикосновение мгновенно обращало их в золу.

«Четырьмя днями позже ребенок был обнаружен в кабинете врача в 120 километрах от места, откуда он пропал, в маленьком портовом городке Ле-Кротуа. Усилия полиции по расследованию дела не дали ответ на то, как ребенок попал туда. Предположительно, он был похищен. За исключением мелких ссадин, повреждений на теле ребенка не обнаружено».

С этого места речь опять пошла о том, как все произошло на самом деле. Было написано, что обо мне позаботились бабушка и дедушка из Норвегии. Я стоял и смотрел на книжные страницы и не мог оторваться. Пролистал дальше, чтобы посмотреть, нет ли чего еще. Пролистал назад – посмотреть, может, что-то написано о том, что было раньше. Выковырял табачную крошку из сгиба. Выходит, обо мне судачили. Доставали томик «*События года: 1971»,* когда соседи заглядывали на кофе, вспоминали времена, когда о ком-нибудь из жителей Хирифьелля писали в газетах.

Мою ярость невозможно было успокоить. Дедушка сказал, что больше ничего не знает, поэтому вопросы свои я задавал карельским березам в рощице, раскинувшейся недалеко от нашего хутора. Почему мама с отцом взяли меня с собой в такое место, где было полным-полно снарядов? Что им вообще было там надо?

Ответа не было, мамы и отца не было… их словно ветер разнес, как пепел, и я повзрослел в своем Хирифьелле.

*** * ***

Хирифьелль расположен с обратной стороны Саксюма. Крупные хутора лежат на другой стороне реки, где рано сходит снег, где солнечный

свет ласкает бревенчатые стены и местную знать внутри этих стен. Ту сторону никогда не называют лицевой стороной, иногда только солнечной стороной, но чаще всего и вообще никак – только обратной стороне дано название по тому месту, где она расположена. Между двумя этими сторонами течет Лауген. Речная влага – это та граница, которую мы пересекаем, когда нам пора переходить в обязательную среднюю школу или когда нужно идти в центр за покупками.

Обратная сторона основную часть дня лежит в тени. Народ травит байки про то, что мы, живущие здесь, палим по фургончику, в котором торгуют рыбой, из винтовки системы «Краг» и связываем узлом обувные ремешки на пьянчугах, которые отсыпаются под снопами. Но дело-то в том, что хоть ты и вырос на богатом хуторе в Саксюме, ты едва ли можешь похвастаться парижскими манерами, да и навряд ли даже манерами областного центра Хамара. В телепрограмме «*По Норвегии*» никогда не показывали сюжеты из Саксюма. Что есть здесь, есть и в других деревнях. Закупочный кооператив, мануфактурный магазин, почта и кооперативный магазин. Сельская дорога, в полотне которой застревает машина медпомощи. Облезлые дома, а в них живет народец, определяющий сумму уплаты налогов на глазок.

Только администрация земельного комитета да телефонист знали, что вообще-то у нас целый день светит солнце. Ведь Хирифьелль находится в месте, где наша сторона долины снова идет под уклон, образуя нечто вроде солнечной стороны с внутренней стороны обратной стороны. Среди леса, за шлагбаумом, – цветущий сад, где мы и жили сами по себе.

Дедушка любил полуночничать. Я лежал на диване, а он покуривал свои тонкие сигариллы и возился с книгами и пластинками. Кантаты Баха, квадратные коробочки со сборниками симфоний Бетховена и Малера под руководством Фуртвенглера или Клемперера. Книжный стеллаж, где вперемешку стояли растрепанные и новые книги. Из атласа мира Андре и мейеровской энциклопедии высовывалось так много листочков, что, казалось, изнутри в них прорастали новые страницы.

Вот в этом окружении я и засыпал вечерами – в полутьме, где время от времени щелкал, нарушая звучание музыки, кремень дедушкиной зажигалки. Потом он откладывал «*Шпигель*» в сторону, и я сквозь сон чувствовал, как дед поднимает меня на руки. Стены и потолок кружились вокруг меня, если мне удавалось чуть приоткрыть слипающиеся глаза, словно я был иглой компаса. Затем дед укладывал меня на постель, устраивая мои ноги и руки поудобнее, и накрывал периной. И каждое утро я видел его лицо: лампа из коридора освещала щетину на щеках и лихие

усы, прожелтевшие от табака; он стоял рядом с моей постелью и улыбался – и я сразу понимал, что он смотрел на меня еще до того, как меня разбудить.

Единственная дедушкина странность состояла в том, что он не разрешал мне ходить за почтой. Задержки почтальона выбивали его из ритма, и каждый день в одиннадцать он начинал высматривать, не покажется ли на дороге из города красный почтовый фургон. Потом дед стал получать почту на почтовый ящик в поселковом центре, объясняя это тем, что кто-то сломал замок нашего почтового ящика.

Я выписывал разные торговые каталоги, прикладывая почтовые марки, и каталоги приходили. А за ними – комплекты для сбора музыкальных колонок, охотничьи ружья в каталоге «Скоу», товары для рыбалки в шведском каталоге от АБУ, фототехника, материал для изготовления рыболовных мушек… Каталоги приходили, и я узнавал из них больше, чем из школьных учебников. Окружающий мир был доступен мне через посредство деда: толстые конверты на нагретом сиденье автомобиля после его поездок в поселковый центр. И так продолжалось до бесконечности, пока в какой-то год он не вернулся с ежегодного собрания Общества овцеводов и козоводов и не сказал с порога, что придется нам забирать почту из почтового ящика – ездить в Саксюм за ней слишком хлопотно.

Еще задолго до этого мы обрезали приклад у отцовского дробовика и отправились охотиться на уток. Это было ружье фирмы «Зауэр и сын», 16-го калибра, с горизонтальным расположением стволов. Отец получил его на конфирмацию[2], но вроде никогда не использовал. Пока я рос, мы наклеивали на приклад поперечные срезы от отделенной части, и в день *моей* конфирмации на прикладе из оранжево-коричневого орехового дерева были видны тоненькие бороздки, отмечавшие этапы моего взросления под крылом у дедушки.

Это были мои годовые кольца.

Но я хорошо знал, что годовые кольца у ели, если она растет слишком быстро, будут широкими, и, когда ель вырастет такой высокой, что ее сможет закрутить в вихре ветер, она сломается.

Всю жизнь я слышал из леса шелест листьев карельских берез. И как-то ночью в 1991 году это легкое колыхание переросло в ветер, чуть не сваливший меня. Потому что в истории моих родителей что-то еще не улеглось и продолжало потихоньку ворочаться, как жирная гадюка в траве.

II
Летнее равноденствие

1

В ту ночь в Хирифьелль вернулась смерть. Было совершенно ясно, кого она собирается забрать, – выбирать-то было особо не из кого. Мне было двадцать три года, и когда я позже думал о том лете, то вынужден был признать, что смерть – это не всегда слепой и грозный убийца. Случается, что, уходя, она оставляет ключи.

Но дело в том, что обретение свободы бывает болезненным. Особенно потому, что день, когда это произошло, был не совсем обычным, не таким, в котором есть время трудовому поту и вечернему солнцу, не тем днем, который угомонит дирижерская палочка Фуртвенглера. Как раз наоборот: накануне дедушкиной смерти кто-то намалевал свастику на его машине.

Всю неделю я с нетерпением ждал, когда же придет отправленная из Осло наложенным платежом посылка, и вот, наконец, узрел в почтовом ящике квитанцию. Я бросился домой прямиком по крапиве, срезав путь, и помчался дальше через двор. На ходу приоткрыл одним толчком дверь в сарай для техники. Сказал, что мне нужно сейчас съездить получить кое-что на почте.

Дед выпрямился, положив пассатижи на верстак, и сказал, что *нам* нужно бы заглянуть в закупочный кооператив.

– Поедем на Звездочке, – сказал он, отряхивая куртку от опилок. – Бензина сэкономишь.

Я отвернулся и закрыл глаза. Ну, ясно: один из тех дней, когда ему казалось досадным, если мы поедем каждый на своей машине.

На плохо гнущихся ногах дедушка засеменил по двору к дому, чтобы переодеться в свой пиджак для поездок по магазинам. В деревне не одобряли, что он носит с собой нож, так что, когда мы собирались туда, он обычно надевал пиджак, прикрывавший бедра.

И вот мы сидим в машине. В тяжелом черном красавце «Мерседесе», который дедушка купил новым в 1965 году. Лак поцарапан ветками по дороге на горное пастбище, вокруг замка багажника облупилась краска, а металл под ней проржавел, но на парковке в центре этот автомобиль все еще производил впечатление. Мы неторопливо ехали мимо картофельных полей, и каждый со своей стороны любовался их цветением.

Мы с дедушкой были фермерами-картофельниками. Да, мы держали овец, но *были* мы фермерами-картофельниками. Дожидаясь первых всходов, дед всегда худел. Хотя земельные участки на Хирифьелле

располагаются на высоте 540 метров над уровнем моря, и насекомые – рассадники растительной заразы – редко забираются так высоко.

Дедушка был асом в картофельном деле и из меня тоже вырастил аса. Мы поставляли посадочный и пищевой картофель. Зарабатывали больше всего на миндалевидном сорте «Пикассо», хотя местная «Синеглазка» вкуснее. А вот «Беата» – это картошка для идиотов. Здоровенные безвкусные клубни, но народ жаждет именно этого. Сами же мы каждый день готовили себе на ужин «Пимпернельку». Этот сорт созревает поздно, зато мякоть у него плотная, а уж как славно выкапывать ее, поблескивающую красно-фиолетовой кожурой, из жирной черной земли…

Колеса задребезжали по скотной решетке, положенной на дороге, чтобы там не могла пройти скотина, и дед не оглядываясь свернул на областную дорогу. Возле хутора Линдестад лес раздвинулся, и мы, как всегда, повернулись к реке и пригляделись.

– Лауген опустился, – сказал дедушка. – Можно будет ниже кемпинга рыбку половить.

– Хариус не клюет, когда вода такая зеленая, – возразил я.

Тут вокруг нас сомкнулись стволы елей, и мы снова увидели реку, только когда под колесами поплыло покрытие с добавкой вяжущих масел. Мы с ревом понеслись вниз по крутым склонам, и у меня слегка засосало под ложечкой, как со мной постоянно бывало, когда я приближался к Саксюму. Железнодорожная станция, средняя школа, лесопилка, скотные дворы на солнечной стороне… Чужие.

Когда мы въехали на дощатый мостик, в окошко пахну́ло влажным речным воздухом.

– Ну что, сначала в кооператив? – спросил дед.

Если уж он первым делом заходил туда, то надолго. Дедушка по мелочам не закупался, так что оттуда мы никогда не уезжали без кассового чека в полметра длиной. «Мерседес» набивали так, что тот оседал на задние колеса.

– Хотя нет, пожалуй, – передумал дедушка. – Зайдем сначала за твоей посылкой. Точно, так и поступим.

И как только мы вышли из почтового отделения, я увидел свастику.

Я вообще-то разглядывал коричневую картонную коробку, на которой было написано мое имя, но почувствовал, что дедушкин размеренный шаг вдруг как-то резко прервался. Подняв голову, я увидел корявые красные буквы, намалеванные на его машине аэрозольной краской.

Я еще сразу спохватился, что именно так и подумал – теперь, когда машину изуродовала свастика, – *его* «Мерседес». А ведь до этого и весь тот

день, и все годы до того дня думал об этом автомобиле как о *нашей* Звездочке.

Собрались зеваки. Засунув руки в карманы, они обступили доску с объявлениями о спортивных мероприятиях. Бёрре Тейген со своей супружницей. Бёйгардские дочки. Йенни Свеен и хафстадские парни. Они пялились на что-то над нашими головами – мол, не покрыли ли крышу почты новой черепицей.

Свастика подтекала. Тонкие струйки краски ползли по дверце машины.

Один из хафстадских покосился в сторону мануфактурного магазина. Мелькнула и скрылась пола пиджака, кто-то шмыгнул за угол. Единственное, что шевельнулось в Саксюме за эти замороженные вусмерть субботние секунды.

Дедушка рукой, как шлагбаумом, преградил мне путь.

Вот в этот момент у меня еще был выбор. Стану ли я теперь думать о машине, как о *его,* или встану на его защиту.

Деревенские смотрели на нас выжидательно.

И я снова выбрал дедушку. Как и всегда, а уж поводов хватало. Я оттолкнул его руку, бросил посылку на землю и пустился вдогонку. Несся стремглав, как вся моя жизнь неслась стремглав. Под людскими взглядами стрелой промчался через центр поселка, перебежал дорогу и выскочил на грунтовую дорогу позади бензозаправки «Эссо». Там я и нагнал его. Этот недомерок бежал неуклюже, прижимая прямые руки к бокам. Серая нейлоновая куртка развевалась у него за спиной.

Разумеется, мне следовало воспользоваться своим преимуществом, своей быстроногостью – забежать вперед и остановить его. Оказавшись с ним лицом к лицу, я одолел бы его одной своей статью и притормозил бы, как тормозят футболисты, забив гол.

Но я сделал не то. Я подставил ему подножку, и он полетел лицом в гравий. Падая, заорал, и продолжал орать, уже лежа на земле. Я ухватил его за куртку и развернул к себе лицом.

Бормотун.

Вообще-то его звали Бор Бёргюм, но он постоянно бормотал что-то себе под нос и в такт бормотанию кивал головой. В царапины на его лице набилась земля, из волос сыпался песок. Слезы смешивались с кровью из разбитого носа, с каждым всхлипом растекалась новая розовая клякса. Пальцы и рукав куртки были выпачканы краской из баллончика, а в кулаке он сжимал листок оберточной бумаги, на котором карандашом была неумело начирикана свастика.

Я выругался про себя.

– Бор, – сказал я. – Тебе кто-то заплатил за это?

Он пробулькал что-то непонятное.

– Нормально разговаривай, Бор.

Но нормально говорить он не умел. Я знал это.

Я попробовал помочь ему подняться. Но он завалился назад, плюхнулся на задницу и взвыл еще громче. Штаны у него порвались под коленкой. Серые такие штаны, вроде тех, что носят пенсионеры и шоферы такси. Бора всегда одевала его мать. Этот парень учился со мной в одной школе первой ступени, только был на пару классов старше. В те годы он мельтешил в такой же одежде, с косящими глазами и открытым ртом, перед специальным педагогом. Когда я перешел в среднюю школу, то Бора в девятом классе не обнаружил. Он был на другой планете.

Подошел народ. Они пристроились возле той рампы, где обычно меняли масло.

– Давай, Бор, – сказал я. – Вставай.

Он всхлипнул и отер кровь с губы. Поднялся на ноги. Я спросил, больно ли ему. Он принялся кивать. Я сунул ему бумажную деньгу, сказав, что это на брюки.

– Кто тебя просил сделать это? – спросил я.

– Так в книге было написано, – сказал Бор.

– В какой еще книге?

Он пробубнил неразборчивое.

– Если они к тебе снова придут, скажи, что мне нужно с ними поговорить. Сможешь так сказать?

– Что сказать?

Я отряхнул Бору спину. Он тупо стоял не шевелясь, и я пошел прочь от него, прямо к Эссо. Бёйгардские дочки отвернулись. Их примеру последовали и хафстадские парни, а там и вся шобла рассосалась. Они побрели к сложенным в багажники мешкам с покупками и оставленным стынуть кофейным чашкам с остатками кофе.

Вот накинулись бы они на меня! Схватили бы за грудки, обругали бы, чтобы я мог им *ответить*, ввязаться в свару в центре Саксюма, прямо средь бела торгова дня…

Но чем именно я мог бы ответить? К тому же им уже надоело глазеть. Глазеть на разборку между отморозками, а теперь чего уж, все завершилось, и придурков, от которых можно ждать всякого, стало на две головы меньше.

Дедушка сидел на пассажирском месте. Он ничего не говорил. Не возился с окном. Сидел, и всё, как восковая фигура в немецком

истребителе, и показывал на рулевое колесо. До намалеванной фигуры он не дотронулся. Не надо ходить к гадалке, чтобы понимать: Сверре Хирифьелль никогда не доставит сельчанам такого удовольствия, как попросить у них тряпку. Или пойти в магазин красок и купить линольки, надуваясь от благородного негодования и ворча что-то о хулиганских выходках мальчишек. Я думаю, он и слов таких не знал.

Я отворил дверцу. На парковке у кооперативного магазина народ не спешил расходиться.

– Не поедем же мы так, – сказал я. – Сейчас смою. Или сверху чем-нибудь заклею.

– Поезжай, – пробормотал дед. – Прямо в Хирифьелль.

Моя посылка лежала на заднем сиденье. Один угол коробки был сильно примят.

– Да садись же ты скорей, черт тебя дери, и езжай! – рявкнул дедушка. – Дуй напрямик. Прямо через центр. И на Хирифьелль.

Я поехал другой дорогой, и он не стал возражать. Спустился к зерновому элеватору и выехал на грунтовую дорогу, проложенную вдоль берега речки Саксюм-эльв. Шесть лишних километров, зато там никто не живет, и свастика обращена к отвесному обрыву.

– Это Бормотун был, – сказал я дедушке.

Но старик все так же смотрел на реку, и я посчитал, что он изо всех сил старается сделать то, что действительно умел: заставить себя забыть.

Небо за овчарней потемнело. Я прошел через двор и уселся на ступеньки крыльца своего домишки. «Мерседес» стоял под наклонным въездом на сеновал. Дедушка ушел к себе.

Мне никогда не нравились нытики. Почти все как-то разрешается. Этому помогают табак и кофе. Табак, кофе, ну и еще раскрыть карты. Если у тебя двойка треф и тройка бубен, тогда что ж тут поделаешь – сегодня ты проиграл. Жаловаться можно, только если тебе достались четыре карты, когда ты должен был получить пять.

В воздухе пахло дождем, и я ждал его. Накатывающего вдоль склона долины сплошняком льющего шквала, очищающего все вокруг. Я хотел дождя, я хотел поставить вариться кофе, выйти на свою застекленную веранду, слушать, как капли барабанят по крыше, которую я сам и крыл, а самому сидеть в тепле, наслаждаясь кофе и сигаретой.

Я пошел к амбару и накрыл брезентом циркулярную пилу. На предыдущей неделе я заменил ветровые доски и доски стропил, и теперь оставалось только покрасить их. Этим я мог заняться после выходных.

Собирался дождь. Хороший дождь. Я чувствовал это по запаху. Не

слишком резкий и не злой, а такой, который зарядит надолго и хорошо пропитает землю. Этим вечером я готовился отбуксировать поливальную установку на северное поле, но теперь это было ни к чему. Я скинул с себя ботинки и натянул грубые носки из шерсти. Пока в кофеварке булькало, убрал с кухонного стола. Вытер его тряпочкой и достал посылку.

Фотосервис Осло знал свое дело, и это было понятно даже в Саксюме. Коричневый скотч охватывал коробку туго и ровно. Мое имя было отпечатано на принтере и франкировано красивыми почтовыми марками, а бланк наложенного платежа был заполнен без сокращений.

Я вскрыл коробку, обнаружил в ней еще одну, и вынул из нее объектив, замотанный в мягкую белую бумагу.

«Лейка Эльмарит» 21 мм. Широкоугольный.

Тяжелый какой! Фокусировка тугая. Непостижимо меняющиеся цвета стеклянной насадки. Шелковисто-матовый лак, глубокие бороздки гравировок, показывающих настройки расстояния и диафрагмы.

Дедушка подарил мне «Лейку» на восемнадцатилетие. Камера M6, объектив «Суммикрон» и десять катушек пленки. Лучше фотоаппарата на свете нет, если только поблизости не окажется владельцев «Хассельблада». Единственное, что раздражало дедушку, – это что насечки расстояния вокруг объектива были указаны в метрах и футах.

– Вот уж это лишнее, – сказал он. – Люди с мозгами не будут мерить в футах.

Я покупал себе новый объектив каждый год, на сумму, которая большинству показалась бы запредельной, и для телевизора. Мир обновлялся с каждым новым фокусным расстоянием. Телеобъектив, притягивающий мотив ближе и ближе и оставляющий несущественное в тумане. Макрообъектив, благодаря которому в цветочный венчик можно было вместить целую планету. И вот теперь широкий объектив, распахивающий горизонты, превращающий среднее по размеру в мелочовку, а мелкое – в труху. Он требовал других мотивов, новых представлений о том, что может служить передним и задним планом.

Но в этот день я не заглядывал в видоискатель. Потому что если б я поднес «Лейку» к глазам, то увидел бы только родное и привычное. Мою коллекцию комиксов о Фантомасе. Дверь в темную комнату. Музыкальный центр с самодельными стереоусилителями. Витрину с прочим фотографическим оборудованием. Фотографию Джо Страммера со съемок фильма «Прямо в ад». Огромный плакат группы «Аларм», для кавер-версии «*68 Guns*», где никто не смотрит в объектив. Полочку на стене, на которой выставлены мои собственные снимки природы.

Я знал, куда идти фотографировать. В березовый лес. Но только на следующее утро. И пораньше.

*** * ***

В свой отдельный домик я перебрался, когда мне исполнилось шестнадцать. К тому времени он пустовал – с той поры, как в нем жили мы с мамой и отцом. Я пинком распахнул разбухшую дверь без всякой мысли о том, что вот, мол, сейчас, прямо сейчас, происходит нечто историческое. Просто стал там жить. Заново обил стены изнутри да сколотил застекленную веранду, откуда я мог любоваться опушкой леса.

Домик был моим, но одновременно и нашим.

В нем еще оставалось кое-что из родительских вещей. Миксер, резиновые сапоги отца, постельное белье. Нашу совместную фотографию я не стал забирать из бревенчатого дома. Мне до сих пор казалось, что, проходя мимо, я должен ненадолго остановиться возле нее.

Когда я был маленьким, эта фотография являла собой надежду. Надежду на то, что мама с отцом все-таки не умерли. Позже она превратилась в напоминание о том, что они никогда не позвонят. Я долго пытался понять, почему дедушка поставил ее около телефона, а не повесил на стену. Чтобы вспоминать их или чтобы фотография воздействовала на нас, когда по телефону звонили мы? Или чтобы напомнить нам, что те, кто звонит *сюда*, пока они изъясняются с нами, не забывают историю моих родителей?

Бабушку звали Альмой, и только так я ее и называл. Она была тихой и немногословной, как старые напольные часы. Болезнь приковала ее к постели, и Альму забрали в Клёверхагенский интернат, а когда мне было двенадцать, – похоронили.

Иногда она заводила разговоры о маме. Бабушка рассказала, что во время войны мамин род прервался. Поэтому никогда не ставился вопрос об усыновлении по закону, поэтому не стоит ждать в гости родственников из Франции. Говоря о маме, бабушка не мямлила и не мялась, но меня это и не поражало. Потому что мои родственники со стороны отца тоже ведь насчитывали всего пару-тройку троюродных. Мы никогда не ездили к ним в гости надолго, виделись только время от времени на похоронах, после которых заходили в дом покойного на кофе.

И все же меня мучил вопрос: пусть мамина семья исчезла с лица земли, но не могли же пропасть *все*, кто ее знал?

Такие мысли занимали меня, пока старшие дремали после обеда каждый на своем диване, а я открывал атлас и изучал Францию, говоря себе, что *где-то* должен же кто-нибудь помнить о моей матери. Ведь она прожила почти двадцать семь лет. Я отыскивал Отюй. Читал то, что было написано в дедушкиной энциклопедии о Первой мировой войне. Представлял себе и деревню, и войну.

Время от времени мы ходили на кладбище. До самого надгробия из синеватого саксюмского гранита долетал запах просмоленных досок деревянной церкви. «*Вальтер Хирифьелль. Николь Дэро*». Мама родилась в январе 1945 года, отец – в 1944-м. Оба умерли 23 сентября 1971 года.

Не дойдя немного до их могилы, я отворачивался. Расспрашивая о том, как повстречались мама с отцом, старался сдерживать любопытство. Не хотел слишком ясно представлять их себе. По тому, чего у тебя не было, не будешь тосковать, говорил я себе. Может быть, во мне таится какая-то природная сила. Голая земля не должна оставаться неприкрытой. Весь чернозем представляет собой раневую поверхность. Притягивает сорняки, которые прикрывают ее, разрастаясь.

Все-таки здесь, в нашем собственном домике, они иногда выходили из тени. Как-то я нашел долгоиграющую пластинку с французскими детскими песенками, и, когда поставил ее, в моих мыслях промелькнул образ мамы.

Я помнил наизусть все эти песенки. Пел французскую «*Frère Jacques*» вместо норвежской «*Fader Jakob*»[3]. И понятия не имел, о чем говорится в «*Au clair de la lune*» и в «*Ah vous dirais-je maman*». Этот торопливый язык давался мне легко, и я сообразил, что, должно быть, в детстве лопотал по-французски. Мама пела вместе со мной, этот дом наполнялся нашими голосами.

Моим родным языком был французский, не норвежский.

В средней школе можно было выбирать между изучением немецкого и французского. Впервые получилось так, что пришлось, как мне казалось, выбирать между моими родителями и дедушкой, и я не стал рассказывать ему, что выбрал французский. Мамин язык вновь проснулся во мне к жизни – так быстро, что учительница подумала, что я подшутил над ней.

Потом я нашел и другие следы родителей – в огроменной картонной коробке на чердаке. Косметичку, безопасную бритву, наручные часы… То, как эти вещи были свалены, рассказало мне, что убирать их было больно.

На самом дне лежала какая-то книга. «*Посторонний*» Альбера Камю. Я пролистал страницы, начав с конца, и задержался на каких-то предложениях, представляя себе, как мама сидит и читает эту книгу. И тут я вдруг вздрогнул от испуга, а вслед за этим во мне зародилось ожидание.

Так бывает, когда увидишь на воде круги от всплывающей рыбы в месте, до которого тебе не забросить крючок. На первой странице, где печатного текста не было, синей шариковой ручкой было написано: «*Тереза Морель, Реймс*». Наверное, мама с этой Терезой дружили. Когда-то их руки держали эту книгу, одновременно или почти одновременно…

Я больше не являлся единственным доказательством того, что моя мать действительно существовала.

Тогда я начал строить планы посещения того места, где умерли мать с отцом. Чтобы посмотреть, не пробудится ли там что-нибудь в моей памяти. Ведь оставался в живых главный свидетель случившегося. Я сам. Где-то в моей памяти должно же храниться это воспоминание, как если б на фотографическую эмульсию когда-то попал свет.

Иногда эта потребность отправиться туда не давала мне покоя. Но мир заканчивался возле Сёре-Ол под Лиллехаммером. К югу от авторемонтной мастерской Хельге Менкеруда все было незнакомым, мне не хватало опыта путешествий, и я не мог придумать, *что* скажу дедушке. В его глазах вспыхнет обида – разве его мне было мало, разве он не делал все, что мог?

Будучи мальчишкой, я нуждался в дедушке, и хутор тоже в нем нуждался. Потом я вырос, у меня появились определенные трудовые обязанности в нашем Хирифьелле, и вскоре хутор и овцы стали нуждаться во *мне*. Чем дольше я оттягивал поездку, тем сильнее старился дед, и когда я достиг двадцати лет, два этих обстоятельства сошлись, так что одинаково трудно было и уехать, и остаться, – и с того времени все завязло в той трудовой колее, по которой я топтался, колее, которая становилась все глубже и привычнее.

*** * ***

Растворитель ее свел.

Свастика растворилась и впиталась в тряпку. Красноватая жижа, похожая на что-то заразное. От этого запаха кружилась голова, но я намочил еще лоскут. Отколупнул песчинку, прилипшую к лакировке, и стал тереть посильнее. Запашок легче воздуха заполнял легкие. Я бросил тряпку на пол и выскочил под дождик. Стоял и смотрел на припаркованную под рампой амбара Звездочку. Очертания свастики все еще можно было различить.

Я снова ступил в линолевую вонь. Тер и тер. Шатаясь, прошел через двор, поднялся по каменным ступенькам, вошел в дом.

– Я ее смыл! – крикнул я.

Никакого ответа.

Часы с кукушкой показывали половину пятого. Пахло табаком, и я понял, что дед недавно стоял в коридоре. Я начал подниматься по лестнице, но на полпути остановился. Слышно было, как он ходит на третьем этаже. Что это ему взбрело? Комнатами там мы никогда не пользовались, там было холодно и пыльно. Я замер возле карты, на которой были обозначены наши участки.

– Я в деревню съезжу, – сказал я, обращаясь главным образом к лестнице.

Дедушкины шаги замерли. Потом он зашаркал дальше.

Центр деревни вымер. Я знал, что так будет: в сонливые часы между закрытием магазинов и ужином тут никого не бывает. Разве что тех, кто на своих машинах ползет через деревню еще куда-то на черепашьей скорости 50 километров в час – и пялится в окошко, довольный тем, что ему не придется жить в Саксюме.

Но они не знают, *что* у нас здесь есть.

А есть здесь место для нас. Место для меня, место для Карла Бренда, помешанного на электронике мужика пятидесяти пяти лет, все еще живущего в доме у своей матери, собирающего гениальные усилители и подъезжающего к киоску без пяти десять, чтобы за полцены купить бледные залежавшиеся сосиски.

Здесь наши недостатки на виду. Мы о них знали, мы пользовались этим, чтобы терзать друг друга, но молва сплачивала нас. В каждом из нас был какой-нибудь изъян, и мы выискивали их в добродетельных, потому что именно изъянами деревня скрепляла свое единство.

Я объехал весь центр кругом и вернулся к Армии спасения. Не увидел ничего, кроме своего старого мопеда у бензоколонки и двух ребятишек, торопившихся куда-то с футбольной площадки. Я поехал назад, к Лаугену. Проезжая мимо школы, опустил окно и ощутил, как воздух становится прохладнее.

Услышал шум. Увидел воду. В бардачке нарыл кассету Дилана, оставленную Ханне. «*Knocked out Loaded*». Нам обоим она не нравилась, если не считать «*Brownsville Girl*». Но я ее все же поставил. Ханне была тут, в деревне, и когда зазвучала эта песня, можно было уже честно признаться себе в том, что именно Ханне я высматривал, кружа по деревне. Пару дней тому назад я видел ее перед мануфактурой. В светло-коричневой замшевой куртке. Как антилопа, со своими каштановыми волосами и длинными ногами.

Эта ее такая характерная подвижность. Может быть, это она меня увидела первой и юркнула в магазин одежды, куда я не мог за ней зайти в своей замызганной рабочей одежде. Секунду мы смотрели друг на друга. Следующую – уже нет.

Ханне из тех девушек, что рождаются уже взрослыми. Когда ей было четырнадцать лет, она тайком брала мопед брата и ехала ко мне, останавливалась у почтового ящика и сигналила фарами. Давала знак, как контрабандист с берега тяжело нагруженному суденышку в ночной темноте.

Мы с ней затащили друг друга в постель задолго до наступления официального возраста, но постепенно во мне созрело ощущение, что она пытается меня *спасти*. Что я такая промокшая дворняжка, которую она впустила в дом. Ханне долдонила слово, которое я презирал, – «*образование*». Принудительная стезя, обязательно проходящая через Осло, или Берген, или Ос, как если б мы все обязаны были набрать что-то и принести это назад, в деревню, чтобы та не обанкротилась. Я не хотел, чтобы меня наполняли, как термос. Я вообще никому ничего не должен, так я считал. За исключением одного – отправиться во Францию. Но когда я сказал об этом Ханне, она задала встречный вопрос: *зачем?*

– Оставь эту затею, – сказала она. – Ты вернулся домой невредимым. Ничего ты не найдешь, кроме старых следов, которые будут тебя мучить. Ну что можешь выяснить *ты*, почти через двадцать лет, чего тогда не сумели выяснить *следователи-профессионалы*?

Это меня взбесило. Выбор слов. *Следователи-профессионалы.* Будто читает вслух по книге. Она преграждала мне путь, словно аккуратненький забор из штакетника. Но все же я не отправился во Францию, когда наши отношения разладились. Просто завел трактор и снова выехал на поле.

Прошли годы, но номер ее телефона все еще жил в моих пальцах. Код Саксюма, 84, и по диагонали вниз цифры ее номера на кнопках. Сегодня вечером, когда народ будет собираться на вечеринку, она узнает. От кого-нибудь, кто, открыв банку пива «Рингнес», растрезвонит обо мне. Девчонки собьются в кучку на диване, надушенные и подвыпившие, и будут искоса поглядывать на нее при упоминании моего имени – имени того, кто повел себя в центре, как дурак. Ну как к нему относиться? Хочет кто-нибудь выступить в его защиту, *может* кто-нибудь выступить в его защиту?

Вот подъехал «Таунус» Ингве. Он помигал фарами, и мы припарковали машины носами навстречу друг другу перед пожарной каланчой. Я опустил окошко и поймал себя за тем, что обозреваю окрестности. А ведь так и есть – я *надеялся*, что кто-нибудь увидит меня с

сыном аптекаря. Закончившим гимназию с таким количеством отличных оценок, что его прозвали Макси-Покером. Сам-то я окончил среднюю школу и на этом остановился.

– Лауген все опускается, – сказал Ингве.

Я всегда любил посидеть вот так, машина к машине, часиков в пять в субботу. Приподнятый зад голубого «Опеля Коммодор» GS/E и сияющая после надраивания двумя тюбиками немецкого полироля решетка радиатора «Автосол». Если в деревне у тебя есть знакомые, пять часов – это приятное беззаботное время. Время, которое не делает отличия между теми, кто работает, и теми, кто учится в школе, время, когда единственная разница между нами – это то, что он курит «Мальборо», а я – самокрутки. Ингве встречался с шикарной девушкой из Фованга по имени Сигрюн, но теперь он ее бросил, потому что она была «очень уж приставучая».

– Да Сигрюн вовсе и не приставучая, – сказал я.

– Ну, так уж получилось, – отозвался мой приятель.

Мы немножко помолчали.

– Просто странно это как-то, – заговорил я снова. – Все равно что не любить Брюса Спрингстина.

– Я не люблю Брюса Спрингстина, – сказал мой собеседник.

Мы обсудили, стоит ли встать в устье и ловить на муху и поплавок, или нам лучше настроиться на более трудоемкий поход на лодке с оттер-тралом. Я не спросил Ингве, собирается ли он потом на вечеринку. Очевидно, собирается. Такой уж он был, этот Ингве, – придет поздно, а народ сразу потянется к нему.

– Ну что, семь часов, – сказал я, взглянув на часы на приборной доске. – Поеду перекушу чего-нибудь.

Но мой товарищ не стал поднимать стекло окошка.

– Я слышал, тут какая-то заварушка приключилась, – сказал он, кивнув в сторону почтового отделения.

– Заварушка? – переспросил я. – Да просто совершеннейший раскардаш вышел.

Глядя на дверцу своей машины снаружи, Ингве стряхнул пепел с сигареты.

– А что болтают? – поинтересовался я.

– Да только, что он напрыскал там краской, а ты разозлился.

– Да уж конечно! «Этот гнусный тип из Хирифьелля поколотил бедняжку Бормотуна» – вот что они говорят.

– Ты же его не поколотил.

– А ты откуда знаешь?

– А вот болтают как раз, что ты его *не* поколотил. Что когда ты увидел, что это он, то удержался. Отряхнул с него мусор и отпустил с богом. Вот что люди говорят.

Я затянулся в последний раз и бросил сигарету в промежуток между дверцами наших машин.

– Люди знают, – сказал Ингве. – Люди знают, что он за человек. Что он в центре постоянно болтается. И что горазд на такие штуки.

– Ладно, встречаемся у заводи, – сказал я. – Поедем рыбки половим.

Вода для картошки вскипела ключом. Я снял кастрюльку с огня, высыпал в нее с кулак грубой соли и приготовил ровненьких пимпернелек. Побольше, чтобы хватило и на завтрашнее утро. Всегда жареная картошка с приправой для гриля и соленым салом, и по три яйца на каждого. Тогда мы сможем работать до того самого момента, как принесут газету, даже если ее принесут поздно.

На диване в гостиной похрапывал дедушка, положив ноги на пожелтевший «Лиллехаммерский обозреватель». Русский штык на столе. Потухшая сигарилла в хрустальной пепельнице. Должно быть, он заснул, не успев докурить.

Я взял плед с кресла перед телевизором и накрыл деда. Проверил по дозатору в комоде, принял ли он лекарство. Пошел на кухню, достал венские шницели. Принес с огорода сахарный горошек и салат. Бланшировал горошек и накрыл кастрюльку крышкой. Крикнул в гостиную, что все готово. Дед не проснулся. Ну и ладно. Оживленная беседа все равно бы не завязалась. Я поел и встал из-за стола, дожевывая. А потом специально хлопнул посильнее дверью, ведущей в коридор, чтобы разбудить дедушку.

*** * ***

Проснулся я с «Лейкой» в руках. Скоро рассветет. А я от солнца с другой стороны.

Настал мой час. Время для «Лейки».

Я вышел из дома. Мокрая после дождя трава сильно пахла. С рыбьей требухи, которую я вчера вечером вывалил в крапиву, взлетела сорока. Четыре часа мы рыбачили на Лаугене, прямо под высокой черной горной грядой, где водилась форель, а потом перешли на место ниже по течению, где хариус нет-нет да и дернет неожиданно мушку. Мы хохотали, пили колу, курили и болтали, отмахиваясь от голубых выхлопов мотора

«Эвинруд», и замолкали, когда наши окоченелые руки сдавливали тросики трала. Дома я тер пальцы под водопроводной водой, пока не почувствовал в них покалывание, после чего уселся с «Лейкой» в руках и уснул…

И вот я иду по картофельным полям. Ниже по склону сквозь дымку проступают очертания нашего хутора. Ярко светит фонарь на стене большого дома. Я окинул взглядом скотный двор и сарайчики для инструментов и техники и пошел дальше, к свилеватым карельским березам.

В детские годы я боялся подниматься сюда. Как-то весной я услышал доносившийся отсюда громкий треск, как будто кто-то стрелял из ружья. Дедушка тоже услышал этот звук, после чего выпрямился и посмотрел в сторону леса.

– Это железяки моего брата лопаются, – сказал он и снова нагнулся к тому, чем в тот момент был занят.

Никогда раньше я не слышал, чтобы он произнес слово «*брат*». Потом я выяснил, что этого брата звали Эйнаром и что они не ладили. Во время войны они сражались по разные стороны фронта – дедушка отправился на Восточный фронт, а Эйнар – на Шетландские острова. Больше ничего о дедушкином брате не говорилось, только Альма как-то бросила вскользь, когда поцарапали стол в гостиной: *«Подумаешь, его же просто Эйнар сделал!»* Это ее точные слова, и на мой вопрос бабушка ответила, что он был столяром-краснодеревщиком, в тридцатые годы работал в Париже, а убили его в 1944-м.

От него осталась столярная мастерская. Она стояла чуть в стороне – такая вытянутая избушка, покрытая облезшей красной краской. Окошки изнутри залепило пылью, и это было единственное дворовое сооружение, по периметру которого буйно разрослись сорняки. Но в тот раз это было ново для меня, и я не спросил про Эйнара – спросил только, про какие такие *железяки* говорит дедушка.

– Мой брат ставил металлические обручи вокруг стволов, – сказал он. – Теперь они заржавели. В это время года в деревьях бродит сок. Деревья растут. Треск, который ты слышишь, – это березы освобождаются, разрывая обручи.

Я не мог взять в голову, зачем Эйнару понадобилось мучить деревья.

– Держись подальше от этого леса, – сказал дедушка. – Могут осколки металла разлететься. А уж чего точно не увидеть глазом, так это что по воздуху несутся осколки металла.

И на лице у него появилось выражение, какое редко можно было увидеть. Оно и страшило меня, и в то же время вызывало во мне

сочувствие – я так понимал, что это отголосок минувшей войны. Часто дед сразу замечал за собой это, и его взгляд менялся, выражение лица становилось чужим, он казался покладистым и немного неуверенным в себе, а потом мог вдруг слезть с трактора и спросить, чего бы мне хотелось на ужин.

Я заметил, что рад, что деревья не могут закричать, когда им больно, потому что иначе я никогда не смог бы заснуть, ведь окно моей комнаты выходило на целый лес вопящих деревьев. Но я сказал это лишь для того, чтобы дедушка остался мной доволен. Я даже не спросил, зачем Эйнар затягивал металлические обручи вокруг стволов.

А потом я прочел томик серии «События года» за 1971 год, и в те долгие часы, когда я злился, сам не понимая из-за чего, я каким-то образом оказывался в одной команде с Эйнаром, потому что тот не ладил с дедушкой. Как только проносилась первая гроза, как раз когда начинал бродить в деревьях сок, я лежал, ожидая, как из березняка донесется треск. И однажды ночью мне подумалось, что я увижу Эйнара. Я выбрался из постели, осторожно прокрался мимо дедушкиной спальни и натянул на себя одежду, которую спрятал накануне в коридоре. А потом рванул в лес, оборачиваясь, чтобы посмотреть, не появится ли в окошке свет.

Земля была сырой после дождя. Я шел, и огромная луна рисовала длинные тени. Высоко на склоне я приметил зеленую листву, которая резко выделялась на фоне еловой хвои окружающих лесов. Подойдя к этому месту, я опустился на корточки. Густой подлесок разрисовал меня росой.

И вот я стою между стволами берез. Вокруг каждого дедушкин брат затянул обручи. Плоские полосы ржавого железа сдавливают белую бересту, а в высоко вознесшихся кронах шелестит море зеленых листочков. Лесная делянка была обширной, и уж точно на сотне берез были железные обручи. По пять-шесть на каждом дереве, на разной высоте. Должно быть, чтобы закрепить их там, Эйнару приходилось влезать на лестницу. Видимо, он собирался подгонять обхват обручей к ширине ствола по мере того, как деревья росли, потому что концы обручей соединялись длинными натяжными болтами, на которые были навинчены здоровенные гайки-барашки. Но дело такое, его застрелили в 1944 году, и он так и не вернулся, чтобы ослабить их. Большинство обручей проржавели насквозь и свисали со стволов, уже не стягивая их, некоторые вросли в дерево, а кое-какие свалились на траву под березами и были почти не видны в ней.

Зачем же он мучил деревья? Той ночью я долго стоял там, между белыми стволами, походившими на бесконечный ряд флагштоков, и пытался распалить в себе негодование против человека, который умер. Но

как только я понял, что этим просто копирую дедушку, негодовать прекратил.

И тут позади меня раздался громкий треск. Я что было мочи понесся к хутору, по своим же собственным следам, оставленным мной, когда я поднимался к лесу, а вновь оказавшись под одеялом, лежал и все никак не мог отдышаться, и пришлось мне сделать то, чего я уже годами не делал: я прошмыгнул в спальню к дедушке, улегся на дно его платяного шкафа и стал смотреть вверх на свисающие с плечиков рубашки и штаны.

Я испугался, страшно испугался. Этот оглушительный треск в лесу пробудил во мне какой-то всепроникающий ужас и какое-то воспоминание, шевелившееся в глубине памяти. Мне мерещились далекие голоса. А потом, среди всего этого нечеткого и опасного, возник образ игрушечной собачки, такой явственный, что я подумал, уж не нафантазировал ли себе его. Она была сделана из дерева, с висячими ушками, и могла кивать головой и вилять хвостом.

Но действительно ли это было воспоминанием, или просто мне страстно хотелось так думать? Никакой игрушечной собачки у меня отродясь не было. Может быть, она принадлежала кому-нибудь, у кого мы бывали в гостях, а в памяти у меня все перепуталось… Ведь и *мы* тоже, должно быть, бывали у разных людей. Ходили в гости.

Были нормальными до того, как умерли.

На следующий день я задал вопрос учителю труда. Он отряхнул стружку со своего кожаного передника и сказал: «Карельская береза? Самый замечательный материал для столярных поделок в нашей стране. По происхождению это поврежденные деревья. Узор образуется, когда дерево само себя врачует».

Это его выражение, он так и сказал: врачует.

Я раньше никогда не слышал, чтобы учитель труда так говорил. Как правило, он распространялся только о том, как важно экономить материал, и о том, что нужно учиться точнее снимать мерки. А тут он юркнул в чуланчик и вернулся оттуда с маленькой дверцей от шкафчика, которая отливала золотистым светом. Узор на ней петлял, образуя игру теней и черных граней на фоне отсвечивающей янтарной желтизной древесины.

– Видишь, вот здесь; это шрам, – сказал учитель. – Дереву приходится заключить полученное повреждение в оболочку и расти дальше. Годовые кольца находят для себя обходные пути. Тянутся через рану. Какой образуется узор, предсказать невозможно. Только распилив дерево, можно увидеть, что получилось.

Мне хорошо давалась столярка – я умел и детали соединять так, что

стыков не отыщешь, и вручную вырезать маленькие фигурки.

– Умение столярничать передается от поколения к поколению, – сказал трудовик задумчиво, и я почувствовал, как что-то меня зацепило, какая-то связующая ниточка, тянущаяся далеко за пределы Хирифьелля.

Я потом частенько наведывался в лес, но никогда не рассказывал, что хожу туда. Сидел там, смотрел на Эйнаровы деревья в невольничьих оковах. Это место стало моим и Эйнара, и, когда я ссорился с дедушкой, я представлял себе его брата. Что он появляется из березового леса и вступается за меня. Я сидел там и наблюдал за птицами, слушал, как шелестят деревья. Придумывал объяснения тому, что случилось во Франции. Представлял, что мать с отцом все еще живут где-то там. Как будто меня подменили другим малышом, а меня привезли сюда. Как будто я заразился опасной болезнью, такой, что у мамы с отцом не было душевных сил ждать, как она расцветет пышным цветом.

Позже я одну за другой умертвил все собственные небылицы. В последующие годы треск раздавался все реже – основная часть обручей лопнули под напором деревьев, – и постепенно все мои наваждения исчезли.

Дедушка сторонился лесной делянки. Было бы естественным, если бы он рубил лес на дрова, прореживал лес, следил за ним, но он никогда не приближался к нему и давал понять, что ему неприятна мысль о том, чтобы *я* собрался туда с пилой.

Но однажды случилось нечто такое, объяснение чему я смог найти только на много лет позже. Ночью, перед тем как мне исполнилось десять лет, я проснулся от какого-то гомона, после чего встал и вышел в коридор. Снизу слышался голос дедушки: он был сердит и сказал что-то, чего я четко не расслышал, но это было то ли «*я не желаю, чтобы меня этим донимали*», то ли «*я не желаю, чтобы его этим донимали*». Остальное было не разобрать в ожесточенной перепалке, и когда я услышал на лестнице дедушкины шаги, то поспешил назад к себе.

Из окна я увидел незнакомый автомобиль, услышал рев двигателя и голоса. Потом машина развернулась – отъезжая, она нарисовала красные полоски задними огнями.

Наутро дедушка рассказал, что среди ночи к нам постучались какие-то бродяги, которые стали нахально требовать того-сего. На кухонном столе у нас стояли торт и еда, которой хватило бы на горном пастбище на два дня. Это было задумано как сюрприз на мой день рождения, который мы и собирались там отметить.

Но пока мы ехали на пастбище, у меня создалось впечатление, что

дедушка с бабушкой боятся проговориться о чем-то, а ночью мне приснилось, будто я стою, окруженный кольцом людей, хохочущих над чем-то, что написано у меня на спине, но скинуть куртку и посмотреть, что это, мне не дают.

Через пару дней после дня рождения я, как обычно, отправился в лес. Зайдя глубоко в чащу, почувствовал: что-то в этом месте нарушено, чуть ли не осквернено. И тут я увидел пни. Четыре дерева были повалены, а ветки с их стволов обрублены. Опилки были желтыми и свежими, из поверхности срезов сочился сок, вокруг жужжали мухи.

Я опустился на колени и пропустил опилки сквозь пальцы. Крупнозернистые, округлые, оставленные лучковой пилой с грубыми зубьями. Валяющиеся на земле ветки рисовали силуэт стволов, и по расстоянию между кучками опилок я видел, что деревья были распилены на куски длиной метра по два. В траве я разглядел следы бревен, которые протащили до склона, а там столкнули их, чтобы сами скатились к областной дороге. Браконьерской рубкой на дрова это не было, ведь другие деревья росли ближе к дороге. Тот, кто побывал здесь, знал, за чем пришел.

*** * ***

И вот я снова был там, на этот раз сжимая в кулаке «Лейку», среди этих высоких и стройных, как колонны, белых березовых стволов, обвитых ржавым железом. Некоторые уже вырвались на свободу, с тех пор как я был тут последний раз, другие сдались в борьбе с обручами и позволили им врасти. Я поменял позицию, изучил направление, в котором падали тени, поискал глазами мотив – и нашел его.

Взошло солнце. Я лег на спину и посмотрел вверх. В глазок широкоугольника я видел, как стволы тянутся к небу. Должно было хорошо получиться. Я *видел то*, что мне хотелось увидеть. Листву, облака, стволы и чужеродный элемент, железо – то, что призвано создать *фотографию*, а не просто картинку.

Обрывисто прошуршал затвор. Так «Лейка» делает, когда поймает что-нибудь, что есть *сейчас, и превратит во что-то, что было*.

Я поднялся и прижал палец к лопнувшему железному обручу. Высосал капельку крови и пошел вниз к Хирифьеллю.

За кухонным столом дедушки не было. Это было первое, что я увидел.

Потому что он ведь должен был *там* сидеть, в своем синем рабочем свитере, с яичницей на плите, двумя чашками из-под кофе на столе, и

просматривать вчерашний «Лиллехаммерский обозреватель». Он должен был *там* сидеть, такой же неколебимый, как бревенчатые стены за его спиной, – и, когда я войду, сложить газету.

Но стол был все еще накрыт к ужину. Вода в кувшине посерела от пузырьков воздуха. Горошины в миске сморщились. На сковородке лежали два засохших венских шницеля.

Я осторожно прошел в гостиную.

Он лежал под тем же пледом, ногами на газете. Я остановился посреди комнаты и подумал: вот оно, начинается.

Потому что дедушка лежал на диване и дедушка не спал.

2

У меня было смутное ощущение, что он давно уже в могиле. Во всяком случае, что машину больше водить не в состоянии. Но это *точно* был он, Магнус Таллауг, наш старый пастор. В том же матовом синем «Ровере», какой я помнил по занятиям подготовки к конфирмации. Автомобиль сумел въехать в ворота и покатил вниз, протарахтев по скотному мостику.

Я заткнул полы рубахи в брюки. Провел ладонью по волосам.

Пастор щурился за пыльным лобовым стеклом, не отрывая рук от баранки. «Ровер» остановился посреди двора, на том же месте, где стоял и катафалк. Дверца отворилась, пастор проверил устойчивость поверхности, потыкав в нее тростью, и выпростал из машины тщедушную ножку. В промежутке между носком и истрепанными штанинами костюмных брюк мелькнула светлым кожа, бледная, как снятое молоко. Священник выбрался из машины и огляделся.

– Поел бы ты, Эдвард, – сказал он, остановив взгляд на мне, и как бы отмёл по очереди скотный двор и сарай, как вполне здоровые объекты. – А то совсем некому будет обрабатывать землю в Хирифьелле.

Я осторожно пожал ему руку, обхватив ее целиком своей ладонью. Казалось, что кожа у Магнуса была на два размера больше его самого. Когда он открыл заднюю дверцу, оттуда потянуло запахом разогревшегося старого автомобиля. На потрескавшемся кожаном сиденье лежала затрепанная Библия с вываливающимися из нее страничками.

– Послание к Ефесянам, – пробормотал он, засовывая листочки на место. – Писание давно уже в таком виде, с новогодней проповеди пятьдесят шестого – я его уронил тогда на пол прямо под ноги Рейдюн Эллингсен. Она сидела в первом ряду и подремывала. С тех пор она крепко верует.

– Так это же и к лучшему для нее, – сказал я.

– Совершенно верно. Послушай, Эдвард. Так вышло, что я взялся летом поработать. Такая штука: выпускники теологического факультета имеют теперь право на отпуск. – Пастор переложил Библию в другую руку. – Я-то в свое время весь год без передыху трудился. Приходилось и перед крестьянами-безбожниками, и перед пустыми скамьями выступать, но мне-то деваться некуда было…

– Да, понимаю, – кивнул я, зная, что меня можно включить в любую из

этих групп, выделенных по минусовому содержанию.

– И вот теперь мне выпало совершить похоронный обряд над Сверре Хирифьеллем.

Я смотрел вдаль, на поля.

– Послушай меня. Я понимаю, что ты не в себе, – продолжал Таллауг. – Но нам надо *сесть* и договориться, как мы распорядимся с преданием твоего дедушки земле. И я уже говорил, что тебе нужно поесть.

– Да, надо разобраться со всем необходимым, – согласился я.

На словах это выходило просто. Но раньше в этот же день все казалось вовсе не таким простым. Я стоял и неотрывно смотрел, уж точно с четверть часа, под тиканье напольных часов: смотрел на дедушку, на ножны с ножом из русского штыка, лежащие на столе, на аэрофотоснимок над диваном – снимок нашего земельного участка, который теперь стал моим.

Потом я сделал то, чего от себя не ожидал. Принес свою «Лейку» и, держа ее в трясущихся руках, сфотографировал дедушку в смерти.

Там, где он лежал.

Каким он был.

В уголках рта складки, каких никогда не было при жизни. Сухие глаза. Он – и все же не он. Как памятник себе и своей жизни.

Потом я сделал необходимые официальные звонки, в том числе в похоронное бюро Ланнстада, вернулся на первый этаж и стоял там, не шевелясь и обхватив руками «Лейку», и думал, что там, в аппарате, он не такой мертвый.

Только тут я увидел, что «грюндиговский» усилитель включен. На вертушке проигрывателя лежало первое действие «*Парсифаля*» Вагнера.

Дед всегда странно смотрел на меня, когда я просил поставить эту пластинку. Я поставил иглу на первую бороздку, и оттуда поплыла музыка, а я все стоял и смотрел на него, пока не заметил, что рядом появились люди.

Я вышел в коридор и услышал их разговор. Похоже было, что ленсман [4] пытается предстать более сведущим, чем доктор. Они предполагали инсульт. Потом прошел час или два, когда я не замечал, был ли в доме кто-то еще или они уехали, пока не появилась Раннвейг Ланнстад с сыном. Уже три поколения семейства Ланнстад занимались организацией похорон в Саксюме, и поскольку сын имел рост метр шестьдесят и такой же ширины плечи, к нему прилипло прозвище «мини-могильщик». Я и сам так его называл в веселых компаниях, но сегодня, в тот час, когда этого человека свело со мной его занятие, это прозвище показалось мне дешевым и подловатым.

Они забрали дедушку таким, как он был. В той одежде, в которой он умер. Снесли его на носилках по каменному приступку, уложили в похоронный фургон. Мне казалось, что они слишком уж торопятся. Это ведь Саксюм – можно не опасаться, что вдруг прикатят из другого бюро и будут убеждать меня в том, что сделают все лучше и за меньшую плату.

Потом они вернулись в дом и повели беседу о «поддержке» и «тяжелом часе», и не спешили уходить, пока я хоть немного не пришел в себя.

– А дальше что? – спросил я.

– Гроб-то есть уже, – сказал Ланнстад-младший, как бы стремясь продемонстрировать свою компетентность, но Раннвейг вперилась в него взглядом, и он умолк.

– Приезжай, когда почувствуешь, что в состоянии, – сказала она. – Тогда и поговорим.

Я посмотрел на диван, где уже не лежал мой дедушка.

– А он знал, что скоро умрет? – задал я новый вопрос.

Раннвейг нахмурила брови.

– Раз он выбрал себе гроб? – пояснил я.

Она собралась было сказать что-то. Перекинулась взглядом с сыном, и на какую-то долю секунды мне почудилось, что она раздражена. Но потом покачала головой.

– Приезжай, когда тебе будет удобно, – сказала Раннвейг. – Обсудим все по порядку.

Я не стал на этом зацикливаться. Они вышли и включили освещение в кресте, установленном на крыше фургона.

– Подождите! – крикнул я. Сбегал в дом за русским штыком, открыл дверцы в торце фургона и забрался к деду. Свет проникал туда через светло-желтые занавески, и от этого его лицо выглядело более свежим – казалось, что он возвращается ко мне. Я расстегнул пряжку ремня и прицепил на место ножны с русским штыком.

– Ты состарился не до такой степени, чтобы пришлось помогать тебе одеваться, – тихо сказал я, пристраивая пряжку на затертое до темноты углубление в коже ремня и думая о том, что вот теперь, теперь дед поедет в деревню и никто не скривит рот из-за того, что он носит с собой нож. А потом я прошептал: «Спокойной ночи, дедушка», – так тихо, что и сам этого не расслышал.

*** * ***

Все это крутилось у меня в голове, и, вероятно, я был в большей степени не в себе, чем сознавал, потому что старый пастор ухватил меня за плечо и громко произнес:

– Ну говори: туда или туда? – И он потряс Библией сначала в направлении бревенчатого дома, а потом моего домика.

Остановились на бревенчатом доме. Магнус прямиком отправился на кухню.

– Здесь, смотрю, всё как раньше было, – сказал он, глядя на угловой шкаф с чучелом глухаря, на выкрашенную синей краской дверцу в кладовку и на дровяную печь. Подвинул табурет и подсел к обеденному столу с торца – видимо, поднаторел в таких делах, – чтобы не оказаться на том месте, где обычно сиживал покойный.

– Я не успел убрать со стола, – сказал я и начал складывать посуду.

– Нет, постой-ка, – проговорил священник, легонько пристукнув тростью по моему запястью. – А во-о-он та тарелка. Она что, для Сверре?

«А то для кого, для кота, что ли?» – подумал я.

– Это ты ему ужин вчера готовил? Который он не съел? – продолжал расспрашивать Таллауг.

– Да я каждый день ужин готовил. Для нас обоих.

– Знаешь, Эдвард, я понял, что у него случился инсульт. Это… ну как бы это назвать… *этот инцидент* вчера в центре. Со свастикой. Ленсман знал об этом?

– Ленсман в Саксюме знает все, – ответил я.

– Ну и?.. Это как-то связано?

– Да ведь Бормотун не понимает, что делает. Какой смысл его обвинять? Дедушку и раньше задирали свастиками.

– Гм, – сказал пастор. – Сядь-ка покушай, Эдвард. Возьми его тарелку. Не позволь Божьему творению пропасть понапрасну. Тем более что это последняя трапеза Сверре Хирифьелля, которую он не успел вкусить.

Я разогрел дедушкины венские шницели и сварил кофе. Пастор достал носовой платок в тонкую фиолетовую полоску, высморкался и снова заговорил:

– Пока люди собираются, надо же, чтобы звучала какая-то мелодия. Но органиста нужно настроить на нужный лад. Он только выпустился из консерватории. Не понимает, что на похоронах надо уметь создать *душевный настрой*.

Таллауг оперся на трость и проковылял в гостиную, к полке с пластинками. Надел очки, прошелся по самым затрепанным конвертам. Согнувшись в три погибели, изрек:

– Трио-сонаты Баха, пока люди рассаживаются. А потом что-нибудь эдакое, чтобы искры летели.

Он вытащил с полки еще пластинку и, водя указательным пальцем по строкам, стал разбирать названия произведений.

– Может быть, Букстехуде… Вряд ли мы можем ожидать исполнительского блеска… тогда уж лучше выбрать что-нибудь во вкусе Сверре.

Что я и сам там буду, об этом он, похоже, не задумывается, подумал я. Что мне придется вынести всю эту музыку.

– А что, если «Погребальную масонскую музыку»? – предложил я. – Красивая.

– Моцарт? – уточнил священник из гостиной.

– Да. Мы же можем взять ее, хоть он и не был масоном?

– Будь уверен. Так и сделаем. Сверре разбирался в музыке, – продолжил пастор, пока я прожевывал покрывшиеся жесткой коркой шницели. – Ох уж мне все эти провальные органные концерты в Саксюмской церкви, сколько таких было! В зале почти ни души. Можно было написать в объявлении, что выступит Питер Херфорд, и никто и не знал бы, кто это. А вот твой дедушка обязательно приходил. Всегда садился на места, где самая хорошая акустика. Четвертый ряд, возле центрального прохода. А так никогда в церковь не заглядывал. Он тоже был творчески одарен, как и его брат. И – что сказать? Хорошая музыка приближает человека к Богу куда как успешнее, чем любой священнослужитель. Рассуждать о небесном многие умеют, но не многим дано осознать вечность.

Я принес кофейник.

– А вы когда в нашу деревню приехали? – спросил я. – Если, конечно, можно поинтересоваться.

Пастор ответил не сразу. Глаза его медленно прошлись по комнате. Он внимательно оглядел бревенчатые стены, посмотрел в окно.

– Я приехал в двадцать седьмом году, – сказал наконец Магнус. – Служил пастве в Саксюме пятьдесят пять лет. Венчал Сверре с Альмой. Крестил, конфирмовал – и, к сожалению, отпевал тоже – твоего отца. Я похоронил твою мать вместе с ним. Крестил и конфирмовал тебя. Но, наверное, вы с дедушкой не ворошили историю с твоими родителями.

Я смотрел в стол. Таллауг, казалось, примеривался ко мне.

– Он вчера вечером хотел поехать со мной на рыбалку, – сказал я. – Надо мне было попробовать разбудить его.

– Эдвард, не кори себя тем, что ты как-то иначе должен был вести себя

в его последний день. Если посмотреть на жизнь в целом, то мы вообще по большей части ведем себя по второму разряду. Мы слепы и не видим того доброго, что кто-то готов нам дать. Мы вполуха слушаем человека, который наконец собрался с духом, чтобы рассказать нам что-то. Смерть не посылает извещений о своем прибытии за три недели до срока. Она придет, когда сосешь малиновые леденцы. Когда соберешься пойти косить траву. А сейчас вот она побывала здесь, сделала свое дело… Ты можешь утешаться тем, что еще не скоро снова с ней встретишься. Поэтому мне очень хотелось бы после похорон побеседовать с тобой еще и о твоих родителях.

– О родителях? – переспросил я. – О маме и об отце?

– Да. Когда тебе будет удобно.

– Конечно, может быть, я сейчас недостаточно прилично одет для серьезного разговора, – сказал я. – Но мы можем и прямо сейчас. Чтобы уж мне весь груз сразу получить.

– Нет, давай тогда подождем.

– Нет, правда, – настаивал я. – Что вы собирались мне рассказать?

– Хорошо, а много ли ты, собственно, знаешь о них?

У пастора были такие глаза, глядя в которые невозможно соврать. Я пожал плечами.

– Вопрос, скорее, в том, как много ты *хочешь* знать, – сказал он. – В процентном отношении, если можно так выразиться, за свою жизнь ты видел больше смертей в своей семье, чем видит столетний старик. Когда твои родители покинули этот мир, я не мог понять, как Господь может быть таким жестоким. Что-то в этом было чуть ли не ветхозаветное. Какой-то акт отмщения. Потом еще сумятица дней, когда тебя не могли найти… Сверре оставил трактор прямо на пашне и отправился прямиком во Францию. Купил авиабилет за космическую цену. Я молился за тебя по шесть раз на дню. Одному Господу ведомо, где ты был, и я до сих пор вопрошаю себя, только ли Ему одному известна правда. Ну а потом тебя, стало быть, нашли. И я узрел божественный свет у прилавка с овощами в кооперативном магазине. Он освещал маленького мальчика и его дедушку. Я это рассказываю в утешение тебе, Эдвард. Ведь вышло так, что *ты* оказался спасителем Сверре Хирифьелля.

Магнус сказал, что это должно служить утешением, но мне что-то разонравилось направление, которое принял наш разговор. Создавалось впечатление, будто он беседует с председателем совета прихожан о каких-то других людях. Эдакая смесь пустословия и заботы о ближнем, всегда служившая добрым христианам предлогом для того, чтобы покопаться в чужой жизни.

Затем пастор начал рассказывать о послевоенном времени. Как тяжело моему отцу давалась жизнь на хуторе, потому что он винил *своего* отца и за имя, которым его нарекли, и за доставшуюся ему в наследство от отца ненависть односельчан.

– Вальтера на школьном дворе поколачивали, – рассказал священник, – за то, что его отец оказался не на той стороне. Когда ему было пятнадцать, он уехал в Осло и там нашел себе работу. Все послевоенные годы Сверре с Альмой варились тут на пару в собственном соку. Никогда не показывались в центре. В Саксюме на них показывали пальцем, плевали им вслед и злословили о них, даже и на церковном дворе.

До меня вдруг дошло, почему это наш старый огород здесь, в Хирифьелле, занимал такой большой участок. Почему все было устроено так, чтобы самим обеспечивать себя всеми продуктами, с курятником, хлевом для свиней и клетками с кроликами, со скотным двором, где держали коров, овец и коз. Почему Альма терпеть не могла ходить в магазин. Почему дедушка всегда покупал дорогие товары, предпочтительно немецкого производства, чтобы не приходилось ездить в центр чинить. Много лет они с бабушкой даже газету не выписывали, рассказал мне Таллауг.

– Я знаю, ты всегда считал, что в деревне питают злобу к Сверре, – сказал пастор. – Но ведь так было не всегда. Когда он принял тебя под крыло, все изменилось. В первый раз за двадцать пять лет он начал появляться в центре. Строптивый мужик, который взвалил на себя заботу о трехлетнем ребенке. Что бы Сверре Хирифьелль ни делал в годы войны, мнение о нем изменилось, когда люди стали видеть вас обоих вместе. Люди вдруг осознали, что Сверре Хирифьелль никогда не причинял зла намеренно. Никогда не выдавал участников Милорга. Да, он сражался на Восточном фронте, и то, что он предпочитает немецкое, было очевидно и по тому, какие он покупал тракторы и автомобили, – но больше-то ничего и не было. Так что потом уж редко кто его цеплял. Ну, бывало, обругают под горячую руку, когда по осени овец собирают или еще когда по мелочам, как и тут, когда Бор Бёргюм нарисовал свастику на дверце его машины…

Таллауг следил за моими движениями. Смотрел, как я режу картошку, внимательно присматривался к тому, как я тянусь рукой к солонке. На вилке у меня лежала горка горошин, но рука остановилась на полпути ко рту, и мы встретились взглядами.

Я не мог согласиться с тем, что речь шла о редких *мелочах*. Более чем что-либо иное, мою жизнь сформировало то, что на чердаке был спрятан немецкий «Маузер». Всю жизнь я заставал дедушку готовым к обороне.

Всерьез все это началось в средней школе. На уроке истории, когда наш учитель Халворсен сказал о дедушке то, что сказал. Или, скорее, он это сказал не о *нем*, но все в классе поняли, что каждое словечко относится к моему дедушке.

– Те, кто пошел сражаться за немцев, – сказал Халворсен, – может, просто не разобрались, что к чему. Но они предали законное правительство и пошли в услужение к фашистам.

Халворсен был нашим классным руководителем с седьмого класса, приезжал из соседней деревни. С первого же дня он показал себя человеком, никогда не сомневающимся в собственной правоте. Когда ему выпадала возможность вставить «*может быть*», он ею никогда не пользовался. На истории талдычил только о войнах, и особенно об *этой войне*. Стоял себе в своем сером форменном халате, обтянутый своей гадкой кожей, изъеденной экземой, и когда мог бы сказать «воевавшие на стороне немцев», неизменно говорил даже не просто «предатели», а «предатели Родины», пересыпая их «*изменниками Родины*», и с наслаждением распространялся о том, что слово *квислинг*[5] после войны вошло и в другие языки.

Так он и долдонил, размахивая руками в белых рукавах, потому что отирал о рукава халата мел, этот мерзкий мел, которым он писал *правду*: «*Тербовен*», «*НС*», «*освобождение*», «*осуждение предателей*», те правдивые слова, которые покрывались брызгами слюны, когда его разбирало сильнее всего.

Если верить молве, отца Халворсена пытали. Но все равно. Будучи учителем, он мог бы ввернуть пару слов о том, что эти люди были молоды, а выбрать сторону было нелегко. Что достаточно было таких, кто в 1945 году, когда это для них уже было безопасно, разом осмелели и с ножницами в руках кинулись ловить девушек, которые тоже ошиблись, и стричь им волосы налысо.

Но из истории Норвегии случившегося было не выкинуть. Класс 7-а в Саксюмской средней школе не мог из 1940 года перескочить прямо в 1945-й только из-за того, что в классе сидел я.

Я помню день, когда меня прорвало. Как я сижу в своей колонке у окна – солнышко уже весеннее, асфальт обнажился, и скоро на Лаугене начнет сходить лед. Халворсен талдычит свое и искоса поглядывает на меня, посмотреть, не допекло ли меня еще.

– «Норвежский легион»[6]. Кто-нибудь может рассказать, что это такое было?

Я знаю, что многие подняли руку. Смышленые девчонки возле двери. Пара человек позади меня. Но Халворсен сказал:

– Эдвард, ты с нами?

С нами.

– «Норвежский легион», Эдвард. Что ты о нем знаешь? Я задавал это на дом.

– Что я знаю о «Норвежском легионе»? – отозвался я.

– Да, именно об этом мы и спрашиваем.

– *Мы?* – уточнил я.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил учитель.

– Что вы спрашиваете так, будто все в классе с вами заодно, – сказал я.

– Как бы то ни было, Эдвард. Что ты знаешь о «Норвежском легионе»?

– Я об этом знаю больше, чем вы.

– Отвечай по существу, Эдвард. Что ты, собственно, имеешь в виду?

– Что вам бы самому в нем оказаться, а то очень уж вы крепки задним умом.

И я пулей вылетел из класса, стараясь удержаться от слез, но уже в дверях все же разрыдался, и, когда бежал меж кирпичных стен коридора, плевать я уже хотел на то, слышит меня кто или нет.

*** * ***

Но не пенять же пастору на это сейчас. И поэтому я поспешил спросить совсем о другом, даже не задумавшись, удобно ли это. Вопрос выскочил из меня, миновав все преграды, как собачонка, только и ждущая случая, чтобы улизнуть за забор.

– А вы часто встречали мою мать? – спросил я.

Этот вопрос не застал священника врасплох. Он не стал ни щелкать суставами пальцев, ни тереть щетину на подбородке. Сказал просто:

– Нет, не часто. Когда я услышал, что Вальтер встретил девушку во Франции и возвратился на хутор, я приехал познакомиться. Николь, да. Она была не слишком разговорчивой. Застенчивой, помнится мне. Не торопилась оставить скотину и подойти, хотя и знала, что пастор уже на хуторе. Но зато когда она подошла, ну, ты знаешь… мне не забыть ее лица. Она всегда как-то оглядывалась вокруг, словно все могло вдруг измениться. Сторожкая, как косуля. Ты на нее похож. Рот такой же. Брови. Да и волосы у тебя ее.

– Я даже не знаю, как они познакомились, – сказал я.

– Да вроде бы она приехала как туристка.

– В Осло?

– Нет, мне кажется, они здесь встретились. Я знаю, что Сверре был очень высокого мнения о Николь. Альма-то мало что говорила. Вообще была более молчаливой, знаешь ли. Николь была… впрочем, давай-ка сосредоточимся на похоронах.

– А что за человек была мама? Расскажите.

Таллауг откашлялся, отвернувшись.

– Ну, да что тут, собственно, скажешь… Когда я увидел ее в первый раз, она знала всего несколько слов по-норвежски.

– А позже как?

– А?..

– Вы сказали – в первый раз. А в следующий что?

Пастор начал ковырять пальцем скол на кофейной чашке. Я наблюдал за изменениями его лица, не понукая. Выпрямившись на стуле, он пристально смотрел вниз, на стол, как будто там лежала Библия, с которой пастор хотел свериться перед проповедью, хотя и прекрасно знал, что там написано.

Больше он ничего не сказал.

Мне хотелось услышать о матери больше. Но расспрашивать других о том, какой же, собственно, была твоя мать, и больно, и стыдно.

– Вот насчет похорон, – сказал священник. – Ты про гроб слышал?

– Сын Раннвейг Ланнстад проговорился, – кивнул я. – Это что, дедушка сам себе выбрал гроб?

– Да, гроб уже долгие годы стоял наготове.

– Он никогда ничего про это не говорил.

– Потому что не знал.

Я с такой силой надавил столовым ножом на картофелину, что сталь звякнула, ударившись о фарфор.

– *Он этого не знал?*

Таллауг покачал головой.

– Так кто же это устроил? Альма?

Пастор почесал пальцем в уголке глаза.

– Эйнар. Он сколотил гроб для своего брата.

– На тот случай, если б дедушка погиб на Восточном фронте?

– Да нет, это было позже, пожалуй.

Магнус как-то смешался и принялся протирать очки тем же носовым платком, в который до этого высморкался. Я вдруг испугался, что у него начался маразм и он может напутать что-нибудь во время похорон.

– Скажи-ка, – вновь заговорил пастор, – ты вроде как фотографией увлекаешься?

– Да, – сказал я, не решившись спросить, откуда он знает об этом. Может быть, это дедушка про меня рассказал? Он что, знал, чем я занимаюсь в березовом лесу?

– Что-то в тебе есть и от Эйнара, – сказал Таллауг. – Он умел воспринять форму увиденного и воспользоваться ею в совершенно иной связи. В этом отношении Эйнар был совсем не похож на Сверре. Эйнар на свой лад истолковывал все происходящее, он был мыслителем и фантазером.

– Так, и когда же он сделал этот гроб? – спросил я.

Взгляд у пастора стал каким-то далеким. По его ответу было понятно, что мой вопрос прошел мимо его ушей.

– Эйнар, он для нас пропал, – сказал священник. – Два раза пропал. Лучший столяр-краснодеревщик в деревне. Один из лучших во всем Гюдбраннсдале.

– Даже считая Шок? – уточнил я.

– Даже считая Шок.

– Так он пропадал *два* раза?

– Гм, – сказал Таллауг. – Это так быстро не расскажешь. Времени-то сколько уже? – поинтересовался он, доставая еще один очечник и надевая другие очки.

– Скоро три, – сказал я.

– Мне надо быть дома в четыре часа, принять таблетки.

– Тогда я вам потом напомню.

– Напомни. Хотя, знаешь, мой пасторский трудовой день заканчивается только через четверть часа.

И Магнус повел речь о блудном сыне нашей деревни. Когда он говорил об Эйнаре, создавалось впечатление, будто он рассказывает и обо *мне*. Не совсем обо мне, но о таком человеке, каким я мечтал быть. Только карандаш для рисования сменился фотоаппаратом, а столярная мастерская – фотолабораторией.

Эйнар не проявлял интереса к обычному школьному образованию. В тетради, которую он вел на уроках подготовки к конфирмации, многие предложения были не дописаны, зато на полях пестрели наброски мебели, домов, городов и снова мебели.

– Что я мог сказать? – Пастор вздохнул. – Чтобы он прекратил это делать? Сказать так парнишке из Саксюма, в двадцать восьмом году мечтавшем освоить художественное ремесло? К счастью, родители

признали его талант, хотя он по старшинству и должен был унаследовать хутор и работать на нем, и отправили его в Ерлейд учиться на краснодеревщика. Способности у него были выдающиеся, а жажда экспериментировать настолько сильна, что даже самым снисходительным педагогам казалось, что они не дают ему развернуться.

Через пару лет, продолжал Таллауг, Эйнару прискучило рисовать акантус и делать мебель на вкус местных толстосумов. И он отправился учиться в Осло, но так же быстро разочаровался. К этому времени Эйнар давно уже начал помечать свои работы изображением белочки, прикрывающей мордочку хвостом, и сохранил этот знак на всю жизнь. А в 1931 году, когда ему едва стукнуло семнадцать, он отправился искать работу во Францию.

– И больше мы о нем ничего не слышали, – сказал пастор. – Но позже мне довелось узнать, что он много лет проработал у Рульмана, одного из известнейших мебельщиков Парижа. Эйнар был одним из его лучших столяров.

– А он так долго жил во Франции? Я думал, он съездил туда на короткий срок…

– Не-ет, Эйнар стал настоящим французом. А что за время тогда было в Париже! Тогда еще и слово такое не придумали, но там расцвел стиль, который позже назвали ар-деко. Я тогда подумал: «Вот и хорошо, Эйнар нашел свое место в этом мире». А за это время Сверре стал настоящим хуторянином, они с Альмой поженились и вели хозяйство в Хирифьелле, хотя к кому оно перейдет по наследству, так и не было определено. Скажи-ка, Эдвард, Сверре много рассказывал о тех временах?

– Почти ничего, – ответил я. – Мы начали вести отсчет времени, когда мне стукнуло четыре года.

Старый священник и кофе пил по-старинному. Опускал твердый кусок сахара под масляно поблескивающую поверхность, ждал, пока тот напитается жидкостью и станет коричневым, клал сахар между губами и посасывал его, а потом отливал кофе на блюдце и прихлебывал оттуда. Мне показалось, что и внутри него самого происходит нечто подобное. Таллауг тщательно что-то отсортировывал, чтобы оставалось только то, у чего был вкус сахара.

– Под самое Рождество тридцать девятого, – сказал он, – Эйнар внезапно появился в дверях и сказал, что собирается перебраться назад, в Хирифьелль.

Я забыл, что надо жевать. Это было для меня новостью. Эйнар стоял, должно быть, *там*, прямо в этих дверях. Я представил себе, что в руках у

него был чемодан и изящно сделанный ящичек с инструментами, представил, как, должно быть, старики уставились на него, когда он отвлек их от ужина.

– Появление Эйнара не особо обрадовало Сверре с Альмой, – продолжал пастор. – Во-первых, домой вернулся наследник первой очереди, не знакомый с сельским трудом, да и вообще не подходящий для ведения хозяйства. Эйнар редко отвечал на письма, не появился на похоронах своего отца, который, вообще-то, обеспечил ему возможность получить образование… Ну и его привычки, конечно. Тут мы имели дело с человеком, который уже в четырнадцать лет считал, что мы тут зажаты между гор и великим идеям у нас не развернуться. Представь себе это, добавь почти восемь лет в Париже тридцатых годов, а в довершение ко всему – отталкивающую самоуверенность. Не сказать, чтобы он презирал деревенскую жизнь, но вот были у него наручные часы, которые можно было перевернуть циферблатом внутрь, к руке. Жители Саксюма в этом не разобрались; они думали, что он носит браслет. Волосы у него были уложены каким-то странным образом, с завитками по лбу. А тут у нас Альма и Сверре, оба члены НС, вкалывают по четырнадцать часов в сутки. И все же Эйнар требовал немного – просил лишь выделить ему делянку в лесу, где он мог бы брать материал для работы в своей столярной мастерской.

– Он ее получил, – сказал я. – Как поля заканчиваются, выше них растет целый березовый лес, которые он мог использовать на доски.

– Они великолепны, правда? Эйнар начал культивировать такие деревья, когда ему было всего-то тринадцать лет. В пасторской усадьбе из такого материала сделана конторская мебель. Это я ее заказал в тридцать девятом году. Будучи верующим, я с осторожностью использую выражение «чудо Господне», но исходящее от столешницы сияние заставляет меня отказаться от привычной сдержанности. Мало что сравнится со сложной узорчатостью дерева в том, что касается непостижимости зримого. Смотреть на такой узор – все равно что смотреть на огонь: всегда проступает какое-то новое лицо. Я так и сказал Эйнару, когда он привез письменный стол. В ответ на это он стачал для меня шахматную доску, которую я храню по сей день. Белые клетки из свилеватой березы, черные – из ореха. Вот таким я и тебя вижу, Эдвард. Твой отец и твоя мать. Юг и север. Свет и тьма. Борются в тебе.

– Как это они во мне борются?

– На расстоянии это заметно, а в зеркале не увидишь.

Прямо Магнус ничего не скажет. Будто примеривается, сколько я

смогу выдержать. Как глубоко в меня он может заглянуть? Тесно я с ним общался, только готовясь к конфирмации, и именно в те годы тоска по родителям сильнее всего терзала меня. В то время я на контрольных сдавал пустой листок и прогуливал школу. Садился на автобус и ехал в Винстру, оставляя школьный рюкзак на автовокзале. Добирался автостопом до музея рок-музыки в Отте и закупался не по средствам. Или, если машины шли в основном в южном направлении, мог добраться до шоссе Е6 и попросить подбросить меня до продуктового ларька в Скюрве, а оттуда тащился пешком в промышленную зону и выпрашивал брошюры об автомобилях, рассказывая, что это для папы. Прогуливался по автоцентрам «Ставсет», «Скансор», по всем автомагазинам подряд. Придумывал себе отца, который ездит на «Ситроене Ди Спешл» или «Форде Гранада», в зависимости от настроения. Или средь бела дня отправлялся в спортивный магазин «Мельбю» в Рингебю и разглядывал пневматические ружья, выбирал удочки и сочинял, что моя мать обещала подарить мне на день рождения пятьсот крон и я просто приглядываю, что купить на эти деньги.

Все это пастор, должно быть, замечал тогда, но теперь это уже быльем поросло. Мне удалось пережить ту стадию. Но вот чтобы это было *на расстоянии заметно?*

– А какими они были? – спросил я. – Эйнар и дедушка. Когда жили здесь вместе.

– С самого рождения они были совсем разными, – ответил священник и подлил себе кофе. – Но открыто это проявилось только весной сорокового.

– Когда пришли немцы?

Магнус медленно кивнул.

– Длинная темная колонна. Уродливые угловатые машины. Их послали разделаться со стоявшими возле Квама англичанами, но они боялись, что автомагистраль может быть заминирована. Поэтому понеслись мимо нашей деревни по верхней дороге на бешеной скорости. Проезжали прямо рядом с церковью. Я сидел в ризнице, и тут вдруг стены ходуном заходили.

Пастор развел руками и рассказал, что с хоров раздался оглушительный грохот. Триста сборников псалмов обрушились с полок. Он подумал, что, видно, настало время встать и встречать Судный день, а выйдя в центральный неф, увидел, что не удержались на своих местах и упали на пол запрестольный образ и распятие. Они висели на своих местах несколько сотен лет, пережили и Великое наводнение 1789 года, и лесной пожар 1748-го. А теперь запрестольный образ раскололся на мелкие куски, а крест переломился посередине. Иисус разделился надвое возле пупка,

лицо его было размозжено до самой шеи, одна рука болталась. Таллауг услышал, что приближается следующая колонна, и выскочил наружу.

– И вот они идут, – рассказывал он. – Серые грузовики на гусеничном ходу, с железным крестом на борту. Церковь снова затряслась, люстра дребезжала, Иисус лежал на полу со сломанной спиной. Я поднял Спасителя на руки и бегом оттуда. Солдаты были напуганы, и полный грузовик пехотинцев направили на меня свои «Маузеры»[7], так что затворы хором заклацали. Я протянул в их сторону Иисуса со сломанной спиной и крикнул по-немецки, что лучше бы им помедленнее ехать, если они все еще надеются на то, что написано у них на пряжках ремней: «*Gott mit uns*»[8].

– Но их это, должно быть, мало взволновало? – сказал я.

– Еще как взволновало! Пойми, они же страшно боялись. Фронт проходил всего в нескольких часах езды отсюда. Хоть я и молодой еще был священник, но знал уже, что крестом можно и утешить, и напугать. Так что они притормозили и приставили солдат регулировать движение идущего мимо церкви транспорта. А вот мне надо было торопиться. Я подумал, что с началом войны даже мои прихожане потянутся к Господу. И если люди увидят, что образ, под которым их крестили, разбит, они потеряют всякую надежду. Я отнес распятие в церковь и запер его там. Затем прямо в облачении вскочил на велосипед и помчался сюда, в Хирифьелль, за Эйнаром. Они со Сверре сидели здесь, на кухне. Уже тогда я увидел, что согласья в братьях нет. Они громко спорили. Сверре был уверен, что немцы пришли, чтобы защитить нас от вторжения англичан. Эйнар говорил, что он будет следовать тому, за что выступают король и правительство. Я приоткрыл дверь и стал на пороге, держа в руках Иисуса, которому требовался столярный клей. Эйнар вышел ко мне, и я объяснил ему, в чем дело. Он сложил в рюкзак все инструменты и струбцины, какие у него только были в мастерской, и ночь напролет работал в церкви. Дерево сильно рассохлось, многих обломков мы не нашли. Он вырезал крохотные кусочки, мазал их клеем, смешивал краски… С невероятной скоростью вытачивал шпеньки размером с сосновую иголку. Собрал Иисуса по кусочкам, вернул ему лицо. Вот так. Немцы появились утром в субботу. А когда мы в воскресенье звонили к мессе, и образ, и распятие висели на своих местах. Эйнар отсыпался в ризнице, пока я вел службу, которая, как я потом понял, удалась мне лучше всего на моем веку. Единственным, кого я не увидел в церкви, был Сверре.

Я закончил есть. Отодвинул от себя пустую тарелку. И почувствовал себя более одиноким, чем когда-либо. Это ведь *я* должен был рассказывать,

это была история *моего* рода. Но моя жизнь была выхолощена вопросами, которых я так никогда и не задал.

– А когда Эйнар уехал на Шетландские острова? – поинтересовался я. – В каком году?

– В сорок втором.

– Но ведь дедушка тогда все еще воевал на Восточном фронте?

– Да. Эйнар покинул хутор всего за несколько дней до возвращения Сверре. Он собирался, видимо, уйти в Сопротивление. Я подумал, что это странно. Для Эйнара ведь войны не существовало. Да и идеалистом он не был. В дискуссиях всегда оказывался в тени брата, который вставал на собраниях и призывал к действиям.

– А вы какие-нибудь весточки о нем получали во время войны?

– Ни словечка. В сорок четвертом я узнал, что Хирифьелль будет переписан на Сверре. Тогда через немцев поступило извещение, что Эйнар застрелен во Франции. Вроде бы он участвовал в движении Сопротивления, но был казнен своими же. Это письмо еще хранится у меня, с немецким орлом и прочими прибамбасами. Дата смерти Эйнара записана в приходской книге на строчках с расплывшимися чернилами. Да, я плакал, когда вносил эту запись. Но в семьдесят первом году я открыл ее снова, чтобы зарегистрировать смерть твоих отца и матери. Вот тут я опешил и начал рыться в архиве. С тех пор две вещи не дают мне покоя. Первое – это что Эйнар Хирифьелль был застрелен в Отюе, в том месте, где пропал ты и где погибли твои родители.

– *Что вы такое говорите?*

Таллауг насупил брови и поковырял в ухе.

– А второе – каким образом он ухитрился сколотить гроб после своей смерти. Может быть, в Эйнара и стреляли в сорок четвертом. Но вряд ли та пуля задела сердце или мозг. Потому что в семьдесят девятом году к похоронному бюро подкатил грузовик, с которого сгрузили невиданного великолепия гроб. Сделан он был из свилеватой карельской березы, а прислан с Шетландских островов. Поезжай в бюро, сам увидишь.

3

С областной дороги свернул белый «Опель Манта». Все лето никого не было. А теперь, когда он умер, – машина за машиной. Едут, потому что он умер, или *потому что* он умер?

Лучи фар пронизывали серый мрак, в их свете поблескивали мокрые кустики травы на откосах. Снова зарядил дождь. Впрочем, нет, не может же это быть *тот же самый* дождь! Подобные мысли приходили мне в голову с того самого момента, как уехал пастор, оставив меня вариться в собственном соку в большом бревенчатом доме.

Я высунулся из двери чуть подальше, пытаясь догадаться, что *этому* тут надо. Только когда «Манта» подкатила совсем близко и «дворники» очистили стекло, я увидел, что это она приехала на машине своего брата, который сейчас служил срочную в Порсанге. Огни постепенно погасли, и она открыла дверцу, но осталась внутри. Из машины донеслась музыка. «Ковбой джанкиз», «*Blue Moon*». Мне эта ее манера была знакома. Умение продемонстрировать свое настроение, не произнеся ни слова.

Она выглядела красивее. Надела светло-желтое платье. Это не было похоже на нее. Пока она жила в Саксюме, то наряжалась редко. Потертые джинсы «Ливайс» и изящная, узковатая попа в них. Ни тебе осветленных волос, ни тебе косметики. Практичная одежда, обычно по моде прошлого года, купленная во время распродажи. Но бедра у нее были крепкими благодаря занятиям гандболом, в ямочке на шее в летнюю жару поблескивали капельки пота, и в нужные моменты она умела быть настоящей оторвой.

– Ну, входи, – сказал я. – Нечего там сидеть, чтобы показать мне, что ты можешь сразу уехать, если что.

Она прошла в гостиную, держась как у себя дома, и остановилась перед фотографиями в рамках, висящими над диваном.

– В этом году снимал? – спросила она, показывая на сделанный ночью снимок уличных фонарей в Саксюме. Как-то вечером я на лыжах «елочкой» взобрался на выступ крутой скалы, нависавший над долиной. В рюкзаке у меня лежали штатив и фотоаппарат. Установив «Лейку», я сидел там до темноты, ждал, пока не проедет одиночный автомобиль. Выдержку настроил на тридцать секунд. Центр купался в желтоватом свете, а задние огни машины получились длинной красной полосой, тянущейся к югу.

– Я сделал это фото два года тому назад, – сказал я. – Видишь, здесь

нет еще новой пристройки к школе.

Телевизор был включен. Она выключила его и вышла на застекленную веранду.

– Кто тебе рассказал? – спросил я.

– А, один тип; сидел рядом с Гарверхаугеном в кафе на углу. Он ловил хариуса и видел, как по дороге позади деревни проехали сначала ленсман, потом доктор, а за ним и Раннвейг Ланнстад.

– А старого пастора он не видел?

– К тому времени он, наверное, уже перебрался в кафе. Скажи, Эдвард, как ты вообще себя чувствуешь?

– Да я справлюсь. Трудно только перенести эту дурь со свастикой.

– А я-то думала, ты уже перерос такие штуки, – сказала она.

– Я и не дерусь никогда, пока не услышу «наци» в третий раз, – отозвался я.

Мы и раньше обсуждали подобное. Деревенские праздники, где я вставал на защиту дедушки, что заканчивалось разговором между нами на повышенных тонах, а потом – перебранкой и ссорой среди ночи в зарослях кипрея по обочинам дороги. Тогда нам приходилось плестись домой пешком, потому что мне противно было видеть хари тех, кто предлагал подвезти нас.

Весной, когда она окончила школу, мы разошлись в разные стороны. Я отправился на картофельное поле, а она – в Осло. Завела новых друзей. Получала хорошие оценки на экзаменах.

– Что ты теперь собираешься делать? – спросила она теперь.

– Ханне, он еще не похоронен даже. Не начинай. Хотя бы сейчас.

Я знал: если это ее не остановит, у нас опять разразится ссора. Она будет повторять то, о чем уже много раз талдычила. Что я никогда отсюда не выберусь. Никогда не продвинусь в жизни. А сама-то?.. Да, конечно, уехав в Осло, она изменилась, но изменение это состояло главным образом в покупке ботинок с коваными носами и пятками, и в ношении обтягивающего джемпера под кожаной курткой. А под этой одеждой скрывалась девушка, уже нацелившаяся назад, в деревню.

Ее образование было как кольцо на проверенной освещенной лыжне, по средней дистанции, которая приведет ее назад, к надежному рабочему месту здесь или в соседней деревне.

Но кто я такой, чтобы ее критиковать? Неужели так и буду топтаться на месте с кислой миной, требуя многого от других и ничего от самого себя? У нее было право задать мне тот же самый вопрос, который я и сам себе задал сегодня днем, когда поставил вариться кофе и по старой

привычке сварил целый кофейник: *что же мне теперь делать?*

Что-что… Посмотреть в окно. Поехать на тракторе окучить картофель. Поменять дизельный фильтр на новом тракторе «Дойтц». Подпереть расшатавшуюся стену сарая. Отвезти соль-лизунец овцам на пастбище под горой. Заменить водосточные желобы на южной стороне скотного двора. Прополоть овощные грядки. Разобраться в том, почему двухколесный трактор не заводится в разогретом состоянии. Устроить дедушке похороны и опрыскать посевы против сухой гнили. Все это мне надо бы успеть сделать на ближайшей неделе, потому что следующая неделя остается единственной, когда я смогу заменить одно из окон в домике на горном пастбище, и то если погода позволит.

Лишь одно дело выбивалось из общей картины. Мне нужно было съездить к Раннвейг Ланнстад и увидеть гроб из свилеватой березы.

Ханне подошла ко мне и обхватила мою голову руками.

– Бедный мой, – сказала она. – По тебе ведь и не скажешь.

– Я-то замечаю, во всяком случае, – сказал я. – До печенок пробирает.

– Но на вид ты совсем не изменился. Может быть, ты уже так намучился, что новое страдание в тебя не лезет…

Вот только *этого* не хватало. Я вывернулся из ее рук, сел лицом к стене и заревел. Слезы полились, как из затопленного подвала. Как бы все могло сложиться, если б у меня *был* кто-нибудь! Каким парнем я мог бы стать, будь у меня родители, может быть, братья или сестры, молодежь вокруг, родственники, которым не жалко было бы тратить на меня свое время…

Руки и ноги перестали быть частью моего тела. Я чувствовал себя гигантским сердцем, раздувшимся бесформенным комком, выкачивающим из себя слезы, ждавшие выхода двадцать лет.

Я рыдал и ревел целый час. А когда всхлипывания затихли, я был так измотан, как если б пешком поднялся из деревни к горному пастбищу.

Ханне стояла и смотрела на меня. Никаких упреков. Никакого фальшивого сочувствия.

Только вопрос, который она наверняка тщательно обдумывала, пока училась в ветеринарном институте. Начинают ли парень с девушкой встречаться, потому что они действительно *подходят* друг другу, или же в маленьких биотопах вроде Саксюма они подцепляют того, кто свободен в данный момент, и дальше все идет по накатанной колее?

– Ханне, – сказал я. – У меня есть кое-что для тебя.

Я открыл горку и достал сережку с жемчужиной.

– Вот это да, – сказала она, протягивая руку за ней. – *Моя серьга.*

После стольких лет…

Она подошла совсем вплотную, и все ее городские ужимки и манеру держать тебя на расстоянии как ветром сдуло. Я снова увидел в ней ту девушку, которая провела со мной здесь, в Хирифьелле, *то* лето. И вспомнил, что иногда она все же принаряжалась. Вот как в тот раз. Как-то летом, когда дедушка воспользовался тем, что он называл своей «канцелярской неделей», и уехал на ежегодное собрание Общества овцеводов и козоводов.

Дедушка уезжал летом на неделю с того времени, как мне исполнилось тринадцать. Я тогда должен был «один вести хозяйство». Для меня это было просто сказкой. Я ездил на велосипеде на Лауген ловить хариуса, готовил себе еду и не заводил трактор и не играл со спичками, потому что обещал этого не делать. Главное было оказаться дома между пятью и шестью: в это время дед звонил, чтобы узнать, всё ли в порядке на хуторе.

И вот, все лето с Ханне я только и мечтал, чтобы годовые собрания Общества овцеводов и козоводов продолжались по три недели. Ей тогда было пятнадцать лет, и весь последний год она своевольничала. Я помню каждый из этих денечков, до краев наполненный *нами*. Одни на хуторе, мы двое. *Тогда* она была нарядной. Мы просыпались, и между нами лежал наш полосатый кот Флимре. И мы, не сговариваясь, дружно изображали, будто это наш младенчик: у него были подходящие размеры, вес и тепло, исходящее от тела.

Мы были взрослыми, когда нам хотелось этого, и подростками, когда так было удобнее. Мы выработали общую манеру разговаривать, пили по утрам кофе, а вечером – пиво из погреба, покупали магазинное курево и делали по три затяжки на каждого от одной сигареты. Вообще-то, потом курильщиков из нас не получилось. Мы курили потому, что видели это в кино. И потому, что после секса подобало курить «Пэлл-Мэлл». Самокрутки свели бы все к простому совокуплению.

Я помнил, какая Ханне стояла, чистая и изящная, замотанная в простыню, на фоне окна на втором этаже, и я знаю, что она вбирала оттуда глазами вид с горы Хирифьелль, все эти просторы, отдать должное которым могли только глаза юной девушки или «Лейка»: сгибающиеся от тяжести ягод кусты красной смородины, выложенная плитняком дорожка, ведущая к омуту на реке, ручеек, бегущий между картофельными полями и пропадающий из виду за овчарней. Фруктовые деревья, стручки гороха, полумесяцами раскачивающиеся на лозе, когда проходишь рядом, растущие так буйно, что мы наедались досыта, не сдвинувшись ни на метр. Темно-синие плоды сливовых деревьев, кусты малины, тяжелые от ягод и только и

ждущие, что мы наберем две полные тарелки и сбегаем за сахаром и сливками. Старый и новый тракторы бок о бок, с только что ополоснутыми из шланга колесами.

Я смотрел, как Ханне вбирает все это в себя. В Хирифьелле не было грязи, не было всего этого недоделанного, по чему из года в год привычно топтались деревенские, переставая замечать следы от трактора перед входной дверью, ржавые клочки сена, не кошенного десяток лет, и сочащиеся контейнеры с навозом на лужайке рядом с дорогой. Хирифьелль был образцовым хозяйством, с травкой, аккуратно постриженной вплотную к белому фундаменту дома, и покачивающимися на ветру качелями.

Хутором, в который Ханне могла бы врасти.

Наверняка именно потому, что для нее было так непривычно наряжаться, она заметила пропажу сережки только в конце третьего дня. Теперь взяла ее и покатала между пальцами.

– Ты хранил ее все это время, – сказала она. – Надо же…

Я покачал головой.

– Она лежала у него в комоде. В старой шкатулке для драгоценностей Альмы. Должно быть, он нашел серьгу и подумал, что она Альмина.

– Эдвард, ты что, начал разбирать его вещи? Уже?

– Чем-то мне нужно было заняться.

– Не обижайся, но пока рано.

– Надень сережку, – сказал я.

Ханне отошла назад и оперлась ступней о стену, так что ее голая коленка смотрела на меня.

– Даже и не думай, – сказала она. А потом склонила голову и обеими руками нацепила сережку…

*** * ***

– А вот скажи, – заговорил я позже, когда мы раскурили «Пэлл-Мэлл» на двоих.

– Что?

– Ты знаешь про Эйнара? Дедушкиного брата?

Ханне села в постели, держа сигарету вертикально, чтобы пепел не осыпался. Подула на прядь волос, закрывшую глаз.

– Того, что построил столярную мастерскую? – спросила она.

– Да. Я думаю, что он все еще жив.

– Но этого же не может быть.

Я рассказал про гроб.

– А сколько на самом деле лет старому пастору? – уточнила Ханне.

– Скоро девяносто.

– Ну вот видишь!

– Нет. У него с головой всё как надо. Полный порядок. Но он знает что-то о моей маме и не хочет рассказать. И об Эйнаре тоже.

Ханне отдала мне сигарету и встала с постели. Оделась, повернувшись ко мне спиной. При ней невозможно было упомянуть ту мою детскую историю. Как только чувствовала, что речь вот-вот зайдет о тех четырех днях в 1971 году, она сразу же переводила разговор на другое. Эти дни были для нее как круги на поверхности воды, где только что ушло на глубину морское чудовище. Отвернись и подожди немного – они и исчезнут.

Эта девушка существовала ради того хорошего, что могла дать жизнь. Ради солнышка на Пасху и красных лыжных гольфов. Ради блестящих серебряных украшений на нарядном костюме в национальный праздник 17 мая[9].

Мы постояли немного во дворе. Ханне пальцем провела по каплям дождя на багажнике моего «Коммодора». Посмотрела в сторону бревенчатого дома, окно гостиной в котором светилось желтым над кустами черной смородины. На третьем этаже тоже горел одинокий огонек. Должно быть, дедушка забыл выключить свет, сходив наверх.

– Ты прав, – сказала она. – Давай начнем.

– Начнем что?

– Снимем его постельное белье.

– *Сейчас?*

– У тебя духу не хватит. Давай уберем там.

В старом доме уже пахло сухостью и затхлостью. Дверца холодильника была приоткрыта, а вилка вытащена из розетки. Это было единственной разумной вещью, которую я сделал после ухода пастора: достал еду из холодильника и перенес ее в свой холодильник, хотя она с тем же успехом могла стоять и в *его*, а я просто вынимал бы понемножку по мере надобности.

В ногах дивана в гостиной все так же лежала газета. На бумаге был песок, осыпавшийся с дедушкиных ботинок.

Ханне пошла наверх. Я слышал, как щелкнул выключатель, как заскрипели доски пола. Ее шаги. Гораздо более легкие, чем дедушкины. Вернулась она, неся в охапке огромную кучу постельного белья. Скользила боком вдоль перил, потому что не видела ступеньки.

– Я и грязную одежду, которая там лежала, тоже взяла, – сказала она. – Стиральная машина по-прежнему в подвале?

Я как-то по-новому подумал о ней. О жизни с девушкой, которая бедрами нащупывает себе путь. Почему бы не выбрать то, что легко, то, что хорошо?

– Мы это выбросим, – сказал я. – Никто же не будет этим пользоваться.

– Почему это? Это же твоего дедушки.

– Это постельное белье мертвого человека.

Ханне помяла кончик простыни между пальцами.

– Льняное полотно, хорошего качества, – заметила она. – Если тебе не надо, я возьму себе.

– Ты что, серьезно?

– Сверре всегда хорошо ко мне относился, хотя и понимал, чем мы тут занимаемся.

– Вот как…

– Однажды я приехала сюда, а тебя не было дома, и он угостил меня мороженым с кроканом. Сказал, что приятно видеть на хуторе женщину. Хотя мне было всего четырнадцать и я ездила на мопеде, который брала без спросу.

– Я не могу понять, – сказал я. – Ты тут три года не появлялась. А теперь вдруг ведешь себя как дома.

Девушка пожала плечами.

– Ты приехала, потому что тебе меня жалко, – заявил я.

– Ну и что?

– Мне этого не надо, – сказал я, осторожно поднимая газету с дивана, чтобы песок ссы́пался в сгиб между половинками. Потом плечом распахнул дверь на улицу и высыпал мусор, как если б это был пепел после кремации, как если б наш порог был планширом лодки, как если б наш двор был Атлантическим океаном.

*** * ***

Она принесла с собой свежий воздух. Откинула крючки на окошке в спальне. Распахнула двери, устроила сквозняк, впустила аромат мирного летнего дождика. Но я замечал не убирающуюся в доме женщину, а то, как она постепенно осваивает новые территории. Ее обстоятельность, казавшаяся такой по-бабьи надежной, уступила теперь место какой-то раскованности, словно ей открылся некий новый вид, потому что срубили

заслонявшие его деревья.

Но когда она раздвинула дверцы занимавшего всю продольную стену гардероба в спальне дедушки, мне снова стало нехорошо. Темнота под рядами с одеждой затягивала в какую-то пыльную, древнюю, смутную глубину. Одежде не доставало тела.

Внезапно во мне всплыло какое-то ощущение. Воспоминание, о котором я не знал, истинно ли оно или нет. Мама, одетая во что-то синее.

Ханне протянула руки сквозь нечеткие тени в шкафу, и от вещей поднялся запах тлена. Она вывалила одежду на голый матрас. Белесые рубашки, майки в сеточку, рабочая одежда… Потом принесла еще охапку. Наморщила нос, склонилась поглубже и извлекла из шкафа черный тряпичный мешок, закрытый на молнию.

– Вот это да! – воскликнула она.

Даже мне было видно, что это богатый костюм. Плотная ткань без единой морщинки. Тонюсенькие светло-серые полоски на темно-синем фоне. Покрой, благодаря которому мужчина выглядит как владелец банка. Ханне отвернула обшлаг и показала ярлык: «Андреас Шиффер, Эссен».

– Эдвард, – сказала она. – А это не может быть костюм…

– Нет, – торопливо ответил я. – Папа был выше дедушки. И очень худым.

– Это дорогой костюм, – сказала Ханне. – В смысле, *на самом деле* дорогой.

Она достала пиджак и приложила его к моей груди. Я попятился, покачав головой.

– Ты уверен, что он не для тебя его купил? В подарок, например?

– Ни меня, ни дедушку одежда не интересовала. Да ты и сама так говорила.

Ханне пошарила в карманах. Подкладка матово блеснула в свете лампы, когда она извлекла из кармана голубой билет. Я склонился поближе, и мы одновременно прочитали по-немецки: «*Байройтский фестиваль*[10]. *Четвертая часть: Сумерки богов. Суббота, 30 июля 1983*».

Я вздрогнул всем телом, и моя подруга тоже. Она узнала дату. Значит, то время и для нее что-то значило. То лето, когда мы здесь были одни, а дедушка уезжал на ежегодное собрание.

То есть, получается, не уезжал. В свое время меня не удивляло, с чего бы это ежегодным собраниям Общества овцеводов и козоводов быть такими долгими. Когда он звонил, я, может, и дивился плохому качеству связи, но думал, наверное, что собрание проводится достаточно далеко отсюда, а гудение и потрескивание на линии – дело вполне естественное.

«Сумерки богов». Я помнил, как дед приволок с почты огроменную посылку от Норвежского музыкального издательства, в которой лежали двадцать две долгоиграющие пластинки. Она обошлась во много тысяч крон. Острой стороной русского штыка он осторожно надрезал упаковочную бумагу, после чего поставил содержимое на стол в гостиной и сказал: «Вот видишь, Эдвард. *“Кольцо нибелунга”* – единственное музыкальное произведение, которое может устоять без подпорок».

Я выдернул костюм из рук Ханне, словно отбирая пиджак у вора, и покопался в карманах – проверить, нет ли там еще чего для меня.

В другом кармане лежало несколько билетов. «Страсти по Иоанну» в Ганновере. «Тангейзер» в Мюнхене. Торжественная месса под управлением Караяна, пять пьес Баха, исполненные на органе работы Гильдебранда в Зангерхаузене. Даты совпадали с теми числами, когда пустовал стул на ежегодных собраниях Общества овцеводов и козоводов.

Между выполненными глубокой печатью билетами на концерты лежала тоненькая скомканная квитанция. Написанное на ней почти полностью вылиняло, разобрать можно было только слова «*Отель “Вечерний покой”*». Такие названия бывают у пансионатов в Западной Норвегии.

– Может быть, он ездил на похороны, – сказала Ханне. Чтобы оправдать негласный обман, который мы обнаружили.

– Похороны тех, с кем он вместе прятался в окопах на Восточном фронте, хочешь ты сказать?

Она потерла глаз.

– Ну какая разница?

– Только почему было не сказать об этом прямо? – не понимал я. – Что он хочет посмотреть, как дирижирует Караян, и поэтому уедет на неделю…

– Может быть, ему хотелось, чтобы ты почувствовал хутор своим, – предположила она. – Чтобы мы могли остаться здесь вдвоем.

– Или он просто хотел спокойно послушать «Тангейзера», – сказал я.

– Что ты имеешь в виду?

– Так странно… Все, что мы делали, мы делали вместе. Но это была лишь работа по хозяйству. Мы никогда никуда не ездили. Он как будто боялся, что я обнаружу что-нибудь, что оттолкнет меня от него.

– А есть что-то, что могло бы оттолкнуть тебя от него? – спросила Ханне.

Делает вид, что не понимает, что ли? В таком случае она постепенно занимает позицию того человека, который во время дедовых поездок оставался в Хирифьелле.

– По мне, так пусть Сверре отсутствовал бы и три недели, – сказала Ханна, погладив меня по руке.

– Ну, теперь он навсегда поселился в концертном зале, – отозвался я.

Я постоял еще какое-то время с его костюмом. Как будто держал в руках оболочку. Мне вдруг вспомнилось, как он ходил наверху.

– Вчера вечером он что-то делал на третьем этаже, – сказал я, положив костюм на стол.

И вот мы были там, в незнакомой мне парадной комнате. Коридор на третьем этаже всегда был темным, как шахта. Задернутые занавески, давно потухшие лампочки. Но теперь пустующая комната была освещена желтым светом абажура, свисающего с потолка, а в дальнем углу стояла раскрытая шкатулка.

– Сколько бумаг… – удивилась Ханне. – Наверное, он искал что-то.

Она подошла ближе и наугад порылась в море конвертов и листков. Квитанции за детали к тракторам, старые налоговые декларации…

– Тут какие-то диапозитивы, – сказала девушка, протягивая мне оранжевую пластмассовую коробочку с надписью «Агфахром».

– Тут только пустые коробки, – возразил я. – Он всегда вставлял фото в рамочки со стеклом. Они внизу, вместе с диапроектором.

Ханне посмотрела один диапозитив на свет.

– Ну, хотя бы в этой коробке есть и фотографии.

Я опешил. Дедушка не особо интересовался фотографией, хотя и помог мне продраться сквозь все двести тридцать страниц руководства к «Лейке». Сам он пользовался только аппаратом «Роллей», изводя в год по одной пленке, неизменно в двадцать четыре кадра. Но Ханне достала из каждой коробочки по двенадцать фотографий, обрамленных в картон. Я вытащил перочинный ножик, выковырял саму пленку и посмотрел на нумерацию кадров.

Дедушка действительно изводил всего по одной пленке в год. Но в пленках было не по двадцать четыре кадра, как он утверждал. А по тридцать шесть. Последние двенадцать он использовал во время своей тайной недели за границей.

Так вот почему мы никогда не смотрели диапозитивы, снятые в определенный год, сразу же… Когда к концу лета прибывала бандероль с фабрики «Агфа» в Швеции, дед всегда просил меня подождать, потому что ему нужно было подняться к себе и вставить фото в стеклянные рамки. Мы не халтурили. Мы доставали проектор, задергивали занавески, и в конусе пыли между нами и экраном созерцали год, прожитый нами совместно.

Ханне передавала мне диапозитивы по одному. Дедушкины фото с

воли соответствовали билетам на концерты. Дочиста выметенные тротуары и фахверковые здания ратуш. Оперные театры, кулисы в Байройте.

Я представил себе его. В ту единственную неделю в году, когда он мог разгуливать по Германии и либо понимать происходящее вокруг, либо чувствовать себя понятым, одетый в коксово-серый костюм от Андреаса Шиффера осанистый мужчина шестидесяти с чем-то лет, в окружении таких же, проигравших войну.

Мы просмотрели все остальные коробки. Похоже, все фотографии сделаны в Германии. Только одно фото было иного рода. На нем стоял номер 18b, и оно так отличалось от остальных, что, казалось, снято другим фотографом. В какой-то год, неизвестно какой, дедушка сделал один-единственный снимок пустынного невыразительного участка побережья с маленьким островком на горизонте.

– Эдвард? – тихонько позвала меня Ханне.

– А?

– Посмотри.

Я поднялся с пола и выхватил у нее из рук пять конвертов. На них дедушкиным аккуратным почерком было написано «*Вальтер*». «*Николь*». «*Альма*». «*Эйнар*». «*Эдвард*». Все конверты, кроме моего, были заклеены. Эдакие подарочные пакеты для умерших.

– Откроем? – спросила Ханне.

Мне казалось, что я держу в руках пять боевых патронов. Мамин конвертик был совсем тонким. Отцовский гораздо тяжелее. В конверте с надписью «Альма» что-то перекатывалось, какая-то книжечка, может быть.

– Ты весь в поту, – заметила Ханне. – Ты себя как чувствуешь?

Я ощутил ее прикосновение, но единственное, о чем я думал, были пять этих имен. Дедушка приготовил эти конверты когда-то давно. Ждал момента, когда я достигну определенного возраста.

Или когда он достигнет.

– Пойдем вниз, – сказал я и положил конверты на стол.

Когда мы выходили из комнаты, Ханне обернулась в дверях. Казалось, она ищет повод, чтобы задержаться тут. На втором этаже снова направилась в дедушкину спальню.

– Что тебе там надо? – спросил я.

– Так, мысль одна пришла в голову, – ответила девушка, начиная рыться в платяном шкафу. Мне было не видно, что она делает. Я слышал только, что Ханне переставила картонную коробку, а потом до меня донеслось шуршание папиросной бумаги.

– Смотри, – сказала она, подняв в руках свадебное платье. – Посмотри

на эти кружева. Какая работа! С ума сойти.

– Это, наверное, Альмино, – предположил я.

Ханне прихватила двумя пальцами рукав и натянула ткань потуже, затем откинулась телом назад и приложила платье к себе. Посмотрела сверху на себя, на то, как платье облегало ее грудь.

– Закрой глаза, – сказала она.

Я собрался было сказать «нет», но все-таки сел на кровать дедушки с закрытыми глазами. У меня было такое ощущение, будто я отправился в дорогу по пути, с которого невозможно свернуть. Я чувствовал, как что-то стучится из самой глубины моей памяти. Что-то неподобающее, что-то касающееся нас двоих.

Я слышал, как упала на пол одежда Ханне, слышал шуршание хлопка по коже и шелест шелковой ткани, слышал, как она сначала задержала дыхание, потом выдохнула, а за этим последовал шепоток ткани тонкого переплетения, перемещаемой внутри комнаты.

– Посмотри на меня, Эдвард.

Она стояла, склонившись надо мной, словно хотела сесть на меня верхом и взять меня так: лицо, черты которого было не разобрать за мелкоячеистой вуалью, туго натянутая на ключицах кожа, белый тюль на груди, волосы волнами по щекам…

Я попытался не показать своей растерянности, выдав ее за возбуждение.

Ханне выпрямилась, и внутри у меня защемило, потому что я знал, что она скоро, совсем скоро, будет стоять вот так. Пройдет от дверей к алтарю по проходу Саксюмской церкви, и я мог бы быть тем, кто будет ждать ее там. С этого момента я стал бы фермером-картофелеводом Эдвардом Хирифьеллем навсегда.

– Надень костюм, – шепнула Ханне.

Мы стояли рядом – я в костюме от Андреаса Шиффера, а она настолько поглощенная отражением в зеркале, что не шелохнулась бы, загорись дом.

– Представь, – сказала Ханне. – Как мы с тобой могли бы быть *ими*.

– Нет. Я не могу себе этого представить.

– А ты постарайся. Это ты. Каким ты можешь быть.

В том-то и дело. Она хотела заполучить меня, но не таким, какой я есть.

Я видел нас в зеркале. Видел, как она поглощает это мгновение словно марципановый торт. Видел, как мои собственные глаза пожирают мое же отражение.

Пахну́ло вечером. Из окна дедушкиной комнаты я смотрел, как скрываются из виду задние фонари ее машины. Всмотрелся в полутьму, окутавшую хуторские строения и поля. В возлюбленных у меня была гусеница, а теперь улетела бабочка.

Я подошел к шкатулке и разложил конверты веером.

«Николь». Заклеен желтым скотчем.

«Вальтер». Такой же скотч.

«Альма». Заклеен скотчем посвежее.

«Эйнар». Заклеен пищевой пленкой.

Сначала я заглянул в свой. Карта прививок. Табель с оценками за начальную школу. Заявление о нанесении материального ущерба после драки в Венахейме, когда я попортил дверь. Свидетельство о крещении. Буквы, вколоченные в бумагу на пишущей машинке, гласили: «*Эдвард Дэро Хирифьелль*». Но этого же не может быть? В налоговой декларации и во всех других случаях, когда властям нужно было от меня что-нибудь, писали просто: «*Хирифьелль*».

Подпись я узнал. Вся история нашей семьи, вытекшая из авторучки старого пастора.

Я отложил конверты в сторону и взялся листать бумаги, касающиеся хозяйства. Хотел найти что-нибудь, написанное дедушкой, что-нибудь, свидетельствовавшее о том, что дедушка был дедушкой и оставался им. Человеком с непоколебимой верой в необходимость поддерживать безупречный порядок в личном архиве и корреспонденции при помощи пишущей машинки «Адлер».

«Трактор/насадки 72–75». Руководство по эксплуатации кормоизмельчителя, который мы свезли на свалку в позапрошлом году. Светокопия рекламации на наш старый трактор «Дойц», отправленной на станцию техобслуживания тракторов в Фрун. За неделю до истечения гарантийного срока он начал застревать на заднем ходу.

«Я купил у вас “Дойтц” одним из первых и с тех пор всегда был верен этой марке; собираюсь и в дальнейшем приобретать эти тракторы, если досадная проблема с передачей разрешится к обоюдному удовлетворению».

Картофелекопалка, каждый божий литр дизельного топлива для сельхозтехники, тракторные насадки, купленные на ярмарке в Отте. Квитанции от продажи посевного картофеля винокурне в Странне. Шкатулка была полна до краев. Задумывал ли дед использовать сто кило старых бумаг в качестве баррикады от моего любопытства? Пока не смирился с неизбежным и не запер шкатулку вчера вечером?

Перочинным ножиком я вскрыл конверт Альмы. Рассказанная в письмах история продолжительной болезни. Результат рентгеновского исследования. Копия письма, отправленного ею районному терапевту.

А вот и счет после ее похорон. Кофе и булочки на пятнадцать человек в Саксюмском пансионате.

Толстенная книга для записей, которой бабушка пользовалась, по всей видимости, почти десять лет. Она завела ее в апреле 1961-го, а последняя запись была сделана в 1969-м. Я пролистывал год за годом. Больше всего записей посвящалось хозяйству. Посевной и сбору урожая. Ягнению и забою. Какие-то цифры мне сначала были непонятны, пока я не увидел, что это ее вес, каждый месяц.

Я помнил ее кожу, ее передник из грубой синей ткани. Когда-то она была дамой, умевшей сохранять стройность фигуры.

На последних страницах Альма записывала дни рождения и номера телефонов. Некоторые имена были зачеркнуты, а рядом другой ручкой написано: «*Умер*».

Я пролистнул дальше. В записях за 1967 год бросалась в глаза одна строка. Она была написана поперек листа, с самого краю, так близко к металлической скобке, что чернила окрасились ржавчиной.

«Эйнар: Леруик 118».

И это она записала в 1967 году? И никакого тебе «*Умер*». Хотя вся история нашей семьи раз за разом утверждала, что Эйнар погиб во время войны.

А не могло ли число *118* обозначать почтовый индекс Эйнара?

Я отложил книгу для записей в сторону, выдвинул ящик и вынул из него несколько обтрепавшихся бумажных свертков. Они были связаны бечевкой, а на листах белой бумаги, в которые их завернули, карандашом был начеркан год. Совершенно одинаково с 1942 года до наших дней. Дедушкина жизнь не помещалась в книгу для записей.

Так и сидел я на холодном полу – и пролистывал с конца хирифьелльскую жизнь. Все более темные годы. Отказ в возмещении ущерба от пожара на горном пастбище. Приговор по делу об измене родине в 1946-м. Я вскрывал раны, нанесенные в войну. Членские билеты в партии «Национальное единение». Толстая пачка конвертов, скрепленная иссохшей резиночкой. Свастика, орлы и штампы цензуры. Не меньше сотни. На многих наклеены красные почтовые марки с изображением солдата в немецкой каске и надписью «*Норвежский легион*». Стоимостью 20+80 эре. 20 эре почтового сбора и 80 эре на доброе дело. Я по диагонали просмотрел пару писем от его однополчан. *Фельдфебель Харалдсен*

благодарил дедушку за полную отдачу сил.

Я отложил письма в сторону. Услышал, что снизу мяукает Грюббе. Он прошелся по дому и зашел в комнату деда. Вскочил на диван, огляделся.

– Он умер, понимаешь, – сказал я, после чего взял кота на руки и пощекотал ему животик. Грюббе был сейчас нашим единственным животным – здоровенный лесной кот с такой длинной шерстью, что мы опасались, не примет ли его охотнадзор за рысь. Раньше мы держали и кур, и свиней, и кроликов, но по мере того как решения о ведении хозяйства стали все больше приниматься мной, я сократил содержание домашних зверушек, как я их называл.

Я снова встал и продолжил поиски. Наткнулся на завещание 1951 года. В разговорах со мной дедушка тот год вообще почти не упоминал. Что-то такое про какую-то операцию. Которая, вероятно, достаточно страшила его, раз он захотел известить о том, что «*все движимое имущество Альме, хутор Вальтеру по достижении им совершеннолетия. Для меня предпочтительна кремация, если возможно*».

Последнее он вообще никогда не упоминал. Хотя это было бы малоподходящей темой для наших разговоров за кухонным столом. Вообще мысль о том, что дедушка может умереть, была мне чужда. Но Раннвейг Ланнстад, должно быть, знает о том, что он предпочел бы кремацию.

Я выпрямился и посмотрел на часы. Половина первого. Мне нужно было поесть и запастись сигаретами. Бензоколонка «Тексако» в Отте была единственным заведением, открытым в такое безбожное время. Три четверти часа езды ради замороженного гамбургера, разогретого в микроволновке, и двух пачек «Пэлл-Мэлл»?

Ну нет. Еще засну за рулем, да к тому же я собирался на следующее утро в похоронное бюро к самому открытию.

Пора заняться самым трудным.

На пустой желудок я вскрыл конверт матери. Обнаружил в нем тонюсенький листочек, так обтрепавшийся, что он едва не распался надвое по сгибу. Свидетельство о крещении, выданное в марте 1945 года в Мальмё. Девочке по имени *Тереза Морель*. Той, у которой мама одолжила книгу. Ее свидетельство о крещении, *здесь?* И что с ней было такое, раз ей приходилось предъявлять свидетельство о крещении так часто, что оно измочалилось до толщины папиросной бумаги?

Датой рождения было указано 15 января 1945 года. Та же, что у мамы. В голове у меня поплыло. Я подумал, не могла ли эта Тереза сопровождать маму сюда, но в глубине души знал, что это не так.

В следующей строке сообщалось, что мать Терезы звали Франсина

Морель. Имя отца неизвестно. Место рождения – Равенсбрюк в Германии.

Ребенок, рожденный в лагере смерти.

Я ощутил какую-то не испытанную прежде дрожь. Опора стремительно уходила у меня из-под ног. Я отчаянно пытался найти что-то твердое, что-то незыблемое, и схватил в руки паспорт мамы. Когда она умерла, паспорт аннулировали перфорацией. Одна из дырочек пришлась прямо на ее фотографию, пробив щеку, но оба ее глаза я видел.

Паспорт был выдан в Париже в 1965 году. Там черным по белому было написано, что маму зовут Николь Дэро, и указан адрес в Реймсе.

Реймс? Я всегда думал, что она из Отюя.

Мама была сфотографирована строго анфас. Волосы коротко острижены, и она казалась мертвенно серьезной. Двадцать лет. Откуда такая строгость во взгляде, если мама собиралась поехать отдохнуть в Норвегию, где ей предстояло познакомиться с моим отцом?

Я снова встретился с ней взглядом. Опустил глаза на другой документ. Руки у меня дрожали. В комнате явился незваный гость – правда. В виде листочка с тремя печатями. Свидетельство о смене имени от французского органа государственной регистрации.

Тереза Морель и вправду сопровождала мать. Постоянным довеском из прошлого. Незадолго до того, как ей был выдан паспорт, она сменила имя на Николь Дэро.

Мама родилась в Равенсбрюке. Женском концлагере к северу от Берлина. Изображение расплылось перед моими глазами. Зернистая черно-белая фотография изможденных полуголых людей. «*Отец неизвестен*».

До этого момента образ матери у меня в мыслях был неизменным. Она оставалась существом в синей одежде, добротой и теплом, которые просто *были*, она была частью определенного времени, хорошей главой, которая слишком рано закрылась.

Но теперь ее прошлое явило себя и выставило собственные требования.

Последним я достал из конверта выцветшее и мятое удостоверение личности. Удостоверение личности узника лагеря Равенсбрюк на имя Изабель Дэро из Отюя. Опять это место. Как магнитное поле, из притяжения которого мне никогда не вырваться. Раскаленная точка исчезновения.

Куда девалась Изабель? Подобным удостоверением узника не будешь разбрасываться. Такие вещи либо сжигают, либо хранят как зеницу ока.

Например, в мамином конверте.

Я сообразил, что у матери, должно быть, были приемные родители.

Как и у другого человека, которого я каждое утро видел в зеркале. Как бы то ни было, один след у меня был. Один человек в целом городе.

Франсина Морель из Реймса.

Тут во мне снова всплыло то, что когда-то сказала Ханне. «*Ты не найдешь ничего, кроме всякой макулатуры, которая потом будет тебя мучить*».

Я уселся, положив на колени кипу дедушкиных писем. Штампы военной цензуры и свастики.

Меня потянуло сжечь все это, пойти на поля и заняться картошкой. Когда же я узнаю, кто *я* такой, *настоящий* я, чего во мне больше всего? Все во мне как будто закрутилось, засасываясь в огромную воронку, на поверхности которой плавала толстая пленка солдатской крови и старого ружейного масла. Такая толстая, что если б я не сумел собраться с силами и прорваться сквозь нее назад, на поверхность, я бы утонул. Только выпростав голову, я смогу выбраться на берег самим собой.

Я искал дальше и нашел нечеткую фотографию с прозеленью. Мама с дедушкой на крыльце маленького дома. Похоже, они не замечали, что их фотографируют. Мама была в косынке. Ужасно худенькая, кожа да кости.

Я поднес фотографию под самую лампу и тут увидел, что с обратной стороны к ней приклеена какая-то бумажка. Я осторожно просунул ножик между снимком и бумажкой и приподнял ее с краю. Проступил почерк Альмы.

«*…француженка*»

Бумага лопнула, и ее остатки не отдирались от клея. Я подцепил ее с другого края. Обрывки напоминали неподатливые комки снега по весне. Я осторожно соскоблил их ножом.

«Эта приблудная француженка. Апрель 1966».

Что она имела в виду? Что мама была какой-то авантюристкой?

А позже, значит, кто-то заклеил этот комментарий бумагой. Дедушка? Или это Альма сама пожалела, что написала так?

Я еще порылся в конверте, но больше ничего о прошлом матери не нашел. Только копии дедушкиных писем ленсману Саксюма, в которых он ссылался на Закон о допуске иностранцев на территорию государства.

«Николь Дэро по-прежнему проживает и работает здесь, в Хирифьелле, и никоим образом не отягощает государственную казну; соответственно, закон об иностранцах разрешает ей продление пребывания в Норвегии также и на текущий год».

Я достал лупу и внимательнее разглядел фотографию. На маме была надета невзрачная дешевая одежда. Концы волос, выглядывавшие из-под

косынки, посеклись, к груди она прижимала туго набитый пластиковый пакет.

Мама была гораздо более худой, чем на фото для паспорта. Кто такая была эта женщина, что появилась здесь с пластиковым пакетом из французского продуктового магазина, в котором лежала вся ее одежда? Альма не знала, с какой стороны подойти к фотоаппарату, насколько мне было известно. Или все-таки это она тайком сфотографировала маму? Или же снимок сделан отцом?

Нет, ведь в то время бабушка работала в Осло. Она не назвала бы маму приблудной, если б та *сначала* познакомилась с отцом в Осло, а потом приехала вместе с ним. И мама тогда не стояла бы в таком виде, будто дни напролет шла по железнодорожным путям. Объяснение состояло, должно быть, в том, что она приехала на хутор *до* того, как познакомилась с папой.

Отсюда вопрос поважнее.

Зачем молодая француженка, приемный ребенок без кола и двора, заявилась на захолустный горный хутор в Норвегии?

4

Я вымыл Звездочку под сильной струей воды из поливальной установки и поехал в Саксюм. Времени было половина девятого – рановато, конечно. Но сколько я себя помнил, трудно было заранее угадать, будет бюро «*Х. Ланнстад и наследники*» открыто или нет. Никаких передвижений за занавесками разглядеть было невозможно. Да я и не особо следил за ними. Я сторонился безмолвного холодка, которым веяло от похоронного бюро, как открытой могилы.

Дверь оказалась запертой. Я снова уселся в машину и в ожидании занялся изучением бумаг, лежавших в бардачке. Педантично сохранявшиеся талоны за обслуживание в автоцентре Лиллехаммера. Сколько мог стоить этот автомобиль? Черное купе класса S, ежегодно пробегавшее менее четырех тысяч. За одним исключением. Пробег за 1971 год составил 9000 километров.

«Я знаю, что Сверре был очень высокого мнения о Николь», – сказал старый пастор. Да уж, такого высокого, что это сказалось даже на талонах в сервисной книжке. Дедушка знал, что они собираются в поездку. Одолжил им новую машину.

Я обернулся к заднему сиденью. Вот там я, значит, и сидел. Сегодня ночью я нашел дедушкин авиабилет во Францию. В одну сторону. В купленном несколькими днями позже билете на паром был указан регистрационный номер Звездочки. Дорога домой, и нас только двое.

Я закрыл глаза и попытался вызвать в памяти те четыре дня – тщетно. Бывало, у меня всплывало неясное представление о чем-то пугающем, произошедшем в автомобиле, какой-то истеричный голос, запах выхлопных газов и старых кожаных сидений, но тот автомобиль никак не мог быть нашим «Мерседесом». В нашем «мерсе», с его пахнущими дерматином сиденьями и минорным гулом мотора, я всегда чувствовал себя в безопасности. Если память меня не подводит.

В здании похоронного бюро зажегся свет.

Никакого колокольчика на дверях. Звук шагов, поглощенный темным паласом на полу. Монотонный рассеянный свет, может быть, 1/4 секунды при настройке блендера на 2,8. Возле черного стола четыре стула. Да и стоит ли заботиться о мебели, если обладаешь монопольным правом на деревенских покойников?

Она появилась из дальнего помещения в темно-сером офисном

костюме. Обошла стойку, взяла протянутую мною руку и не выпускала ее. Ничего не произнося. Давала мне понять, что меня ждали. Сначала я подумал, что это молчание предназначено для родных любого рода покойников: навеки сломленных жизнью родителей, пришедших выбрать маленький гробик, жен тиранов, радующихся избавлению от этой скотины… Но молчание Раннвейг Ланнстад обволокло меня, словно хорошо подобранная анестезия, и я внезапно – и впервые за долгое время – ощутил некое единение с остальными жителями деревни. И другие до меня так же стояли в этой кладбищенской приемной, подавленные и охваченные горем, и я не стыдился того, что глаза у меня красные, а меня самого пошатывает после ночи, первую половину которой я копался в бумагах, а вторую лежал без сна и смотрел на часы.

Владелица похоронного бюро выпустила мою руку, пока та не успела взмокнуть, и пригласила меня присесть. Достала обтянутую кожей подставку для документов, прижала клипсой лист линованной бумаги и щелкнула шариковой ручкой в золоченом корпусе.

– Гроб, – сказал я.

Раннвейг растерялась. Снова щелкнула ручкой.

– Мне пастор рассказал, – пояснил я, – что кто-то прислал дедушке гроб.

– Да. Здесь есть гроб. То есть. Само собой. В смысле, что здесь есть гробы. Я хочу сказать, что не припомню, чтобы когда-нибудь мы сталкивались с подобной, ну, *процедурой*. Но я предложила бы сначала решить практические вопросы.

И Ланнстад вошла в привычное русло. Использовала свой опыт. Начала с простого, чтобы скорбящий не сорвался и не счел задачу непосильной. Кивнула, записывая пожелание, касающееся кремации. С памятником тоже все было в порядке, нашей практичной и предусмотрительной семьей было оставлено место на надгробии Альмы. Такого же типа, что и у мамы с отцом, из серо-голубого саксюмского гранита, – такой добывают только на выступе скалы пониже железнодорожного моста через Лауген.

– Цветы, – сказал я. – Ведь гроб должен быть украшен цветами?

– Обязательно. К тому же вокруг укладывают венки от родных и близких.

– Родных-то почти никого и нет, – сказал я. Возможно, пришлет венок из Рингебю кто-нибудь из родственников Альмы. Вот и всё. Вряд ли Общество овцеводов и козоводов пришлет что-нибудь своему номинальному члену из Саксюма.

Раннвейг выждала пару секунд, покрутила ручку в руке.

– Мы можем организовать красивые букеты. Хорошие флористы – «Цветы от Ярла». Если гроб украшен со вкусом, в гармоничной цветовой гамме, то не страшно, можно обойтись и без пышности.

– Незачем обходиться без пышности, – сказал я. – Как вы думаете, что, если вокруг гроба уложить цветы картофеля?

– *Цветы картофеля?*

– Он как раз сейчас цветет. Я могу полный багажник привезти. Красно-фиолетовые у «Пимпернельки» и белые у «Пикассо».

Раннвейг Ланнстад перехватила ручку по-другому.

– Не вижу, почему бы нет. Думаю даже, должно получиться хорошо.

– Ладно, – кивнул я.

– Ты сейчас не один там живешь? – спросила она. – С тобой есть кто-то – из близких?

«Что, и *сюда* докатилось деревенское любопытство? – подумал я. – Ей хочется выведать что-нибудь о нас с Ханне?»

– Приятели заглядывают, – ответил я вслух.

– Ты их не чурайся. Тебе тяжело будет одному справиться с этим. Особенно тяжко придется в ближайшие дни.

Тут меня резко потянуло вернуться к разговору о конкретных делах. Говорить о дедушке, а не о Ханне. И мне пришло в голову, что Ланнстад наверняка *включала в цену* этот мягкий голос, и когда она выполнит свою работу, а дедушка упокоится в могиле, ей больше не нужно будет утешать меня за деньги.

Раннвейг покрутила ручку в пальцах. По ее свежеотглаженной блузке прокатилась мелкая рябь.

– Весной семьдесят девятого года, – сказала она, – пришел автомобиль от «Грузовых линий». Доставили продолговатый ящик, сколоченный из грубо отесанных досок. В ящике оказался обернутый в парусину гроб. К одной из рукояток был крепко привязан конверт, а в нем – письмо и денежная сумма, предназначенная в уплату хранения. Это было… необычно.

– Но почему вы не рассказали об этом дедушке?

– В письме говорилось, что ему не следует знать о гробе. Было написано, что *ты* должен решить, использовать ли его.

– *Я?* Кто-то хотел поиздеваться над ним?

– Нет-нет, милый мой! Нет. Мы бы никогда на такое не пошли. Помилуй Господь! Нет. Здесь нет никакой бестактности. Совсем наоборот. Гроб-то совершенно необыкновенный. Не хочу сказать ничего плохого о

тех услугах, что мы обычно здесь предоставляем, но это самый шикарный гроб, в каком когда-либо хоронили жителя Саксюма. Он пришелся бы как раз по рангу для дорогих похорон какого-нибудь государственного деятеля.

– Это от его брата, – объяснил я. – Эйнара. Я думал, что он погиб.

Раннвейг взглянула на меня.

– Мне жаль, если из-за этого тебе стало еще тяжелее в такое время, – сказала она.

Я выпустил воздух из легких.

– Любят мои родные преподнести неожиданный подарок… А сейчас где этот гроб?

– На складе. Парусину мы сегодня утром сняли. Правду сказать, очень хотелось бы уже покончить с этим делом.

– А письмо у вас еще? – спросил я.

Так и было. Мало того, должно быть, Раннвейг еще утром положила его в свою кожаную папку. Оно было напечатано на машинке, строчки лепились одна к другой. Она протянула его мне с таким же выражением лица, какое бывало у дедушки, когда я вот-вот вытащу проигрышную карту.

«Гроб для Сверре Хирифьелля. Сам он не оповещен об этом даре, и информировать его не следует. Решить после смерти Сверре, будет ли гроб использован, должен Эдвард. Если случится такая трагедия, что Эдвард скончается раньше Сверре, я прошу, чтобы в нем упокоился Эдвард. В этом случае покажите письмо Сверре. Если гроб не будет использован, он должен быть сожжен. В присутствии исключительно сотрудников бюро. Гроб нельзя ни красить, ни покрывать лаком. Огонь или земля, ничего более».

– Вы показали это письмо старому пастору? – спросил я.

– Нет, это уж было бы слишком. Но мы, конечно, с ним очень долгое время сотрудничали. Он обычно заглядывал на кофе пару раз в неделю. Когда гроб привезли, он его внимательно осмотрел.

– Ну и..?

– Ну и что?

– Как он отреагировал?

– Он сказал: «Должно быть, это от Эйнара. Только он мог такой сделать».

Я прошел вслед за Раннвейг Ланнстад в конец коридора. На складе веяло прохладой от бетона и каменной кладки. Старые скоросшиватели, ящик подсвечников с потускневшим серебрением… На глубоких полках, в два ряда тянущихся вдоль каждой стены, стояли гробы. Большинство покрыты блестящей белой краской, несколько сосновых, пара черного

цвета. Прислоненные к стенам образцы каменных надгробий. Как оставленные на перроне смерти чемоданчики.

– Службу совершит старый пастор, – сказал я, пока мы шли по складу. – Новый вроде бы в отпуске.

– В отпуске? – удивилась Раннвейг, открывая дверь.

– Так он сказал. Что новый пастор тоже имеет право на отпуск.

– Ну, может быть. Но ведь он только-только вернулся с Родоса.

– Серьезно?

– Да. Я думаю, пастор Таллауг очень хочет взять на себя заботу о твоих родных, – сказала женщина и, включив верхний свет, положила руку мне на рукав, указав направление, куда посмотреть.

Гроб стоял на огромном столе, накрытом белой тканью, свисавшей до самого пола. Я застыл на месте, вытаращив глаза.

Во-первых, необычная форма: множество граней, бесчисленные фасетки, отражающие свет. Но что меня действительно потрясло, так это древесина. Береза мерцала янтарем. В полутемном помещении она чуть ли не сама светилась. Поверх глубокого цвета основы змеился непредсказуемый узор длинными изжелта-оранжевыми языками. Плотные скопления меняли форму и высовывали коготки, по-разному выглядевшие в зависимости от того, под каким углом я видел гроб. Поверхность крышки была исчерчена едва заметными резными квадратами, благодаря чему свет и тень ложились все новыми оттенками цвета и блеска.

Я подошел к гробу вплотную. Каждый угол на дереве был столь острым, что можно было порезаться. Крышка подогнана настолько точно, что невозможно было разглядеть щелочку между нею и нижней частью.

Сначала мне показалось, что это лакировка. Но нет, дерево было навощено и *отполировано*.

Весна 1979-го. Год, следующий за тем, когда дедушка не пустил Эйнара ко мне на десятилетие. В ответ на это тот срубил четыре дерева в березовом лесу. Для гроба достаточно.

Но этот подарок был послан не в знак примирения, сказал я себе. Гроб служил посланием. Посланием, точно рассчитанным по времени. Чтобы попасть ко мне сразу же после смерти дедушки.

– Гроб в стиле ар-деко, – сказала Раннвейг Ланнстад. – Подумать только…

Я посмотрел на нее долгим взглядом.

– Разве бывают гробы в стиле ар-деко?

– Этот, вероятно, доказывает, что бывают.

– Вы его когда-нибудь открывали?

– Мы тоже люди, – сказала Ланнстад, проведя пальцем по одной из бороздок.

Горизонтальная щелочка разрослась в зияющую черноту. Женщина без усилия подняла крышку, которая удерживалась в равновесии двумя хромированными балансирными пружинами. По всей длине в дерево была утоплена фортепианная петля из блестящей латуни, и я видел, что пазы всех шурупов выстроены в линию – достижение, стремиться к которому призывал нас учитель труда.

Гроб не был обит изнутри бархатом, как я предполагал. Он был фанерован древесиной того же рода, что и мое ружье. Похожей на свилеватую карельскую березу, но с еще более замысловатым, более необузданным узором.

Как зарево в аду. Или цветы, гнущиеся в непогоду.

*** * ***

Славное утро. Я проснулся на диване, одетый и пропотевший.

Вышел на кухню и просмотрел бумаги, которые достал накануне из дедушкиной шкатулки. Вечером я рассортировал их все, раскладывая листок за листком внахлест, пока они не закрыли весь пол в дедушкиной комнате, но нашел там только старые письма из местного отделения земельного комитета и договоры со страховой компанией. А потом просто рухнул от усталости.

Дедушка не соврал. Все, что имело отношение к семье, было собрано в тех конвертах. За одним возможным исключением. В уголке одного из ящиков я нашел небольшую связку ключей. Три блестящих ключа от навесных замков производства «*О. Мустад & Сын»* вместе с посеревшим от времени кованым ключом. Связка была прикреплена к продолговатой дощечке. Судя по виду, можно было подумать, что это ключи от домишек на пастбище или от лодки, но что-то подтолкнуло меня повнимательнее присмотреться к дощечке из поцарапанного красновато-коричневого дерева. Когда я поднес ее поближе к свету, то сразу узнал узор. Древесина грецкого ореха.

В конверте отца я нашел лишь табели успеваемости и свидетельства об образовании. Отец в числах и буквах, каким он предстал бы перед чиновником налоговой инспекции. Каким он все еще представал передо мной.

Единственным, кроме мамы, в кого бумаги вдохнули жизнь, был

Эйнар, хотя в его конверте лежало всего три документа.

Телеграмма из Парижа от 12 июля 1938 года. «*Брат мой. Узнал новость т. сейчас, был 1 мц отъезде. Скорблю отцу. Возложи цветы могилу, пож. Эйнар*».

Фотография в коричневых тонах – должно быть, его – рядом с огроменным крестьянским буфетом, богато украшенным резными завитушками. Эйнар был похож на дедушкино фото с членского билета партии «Национальное единение», но более худым. На лице странноватая полуулыбка, будто его неожиданно спросили о чем-то.

Заполненный бланк. «*Управление по делам о наследстве. Извещение приходскому священнику о смерти прихожанина. Полное имя покойного: Эйнар Хирифьелль. Время смерти: в ночь со 2 на 3 февраля 1944. Место: Отюй, Франция*». В графе, где спрашивалось, желал ли покойный быть захороненным или кремированным, стоял прочерк.

К бланку ржавой скрепкой прикреплено немецкое свидетельство о смерти, размером не больше билета рыболова. В пятом пункте причиной смерти указано: «*Hingerichtet*». Казнен. Печать с немецким орлом и свастикой.

Обойдя сарай, я подошел к столярной мастерской. Всегда она так стояла: на отшибе, с облезающей красной краской, грязными окнами и замшелой черепицей, стоит себе в одиночестве и думает свои думы. Ключ от нее все эти годы висел в шкафчике в большом доме: вроде и доступен, ан нет, низ-зя. Еще совсем мальцом я как-то отпер дверь и заглянул внутрь, но мне стало не по себе от темноты, в которой едва проступали очертания инструментов и материалов. Пыли скопилось столько, что мне показалось: на полу лежит ковер.

Дверь разбухла от сырости, но мне удалось распахнуть ее пинком. И я застыл на пороге. В мастерской пахло тленом. Окно заросло желто-коричневой жирной пленкой.

На полу я увидел следы своих же ног с прошлого раза. Следы маленьких ботинок. На столярном станке в пыли была прочерчена бороздка. Должно быть, я тогда провел там пальцем, чтобы посмотреть, какого цвета поверхность под пылью. Больше никаких следов. Если Эйнар и возвращался на хутор, сюда он не заходил.

Я принес рабочую лампу из сарая с инструментами. Приволок, разматывая, удлинительный шнур. Включившееся освещение обнажило форму и замысел помещения. Верстак, ручные инструменты на стене, материалы под потолком, почти готовый стул в углу. Из-за слоя пыли все было похоже на фотографию с эффектом сепии.

Я снял две бутылки с подоконника и смахнул пыль с этикеток. «*Льняное масло #8*». «*Шеллак #2*». Содержимое в них давно спеклось в осадок цвета кости. Растворитель испарился, а остатки краски в банке корочками налипли на стекло. Из-за пыли я чихнул, взметнув при этом новое облако пыли, после чего чихнул снова и попытался поменьше шевелиться. Любое мое прикосновение открывало пятнышко цвета.

Отъезд на Шетландские острова не был спешным. Пол был выметен, никаких опилок, никаких стружек в укромных уголках под верстаком, все инструменты висят на своих местах.

Потом я посмотрел в окно. Увидел тот же вид, что наблюдал и Эйнар.

Если раньше я думал о том, что из-за слоя пыли на окнах нельзя заглянуть *внутрь*, то теперь я подумал, что *двор* тоже выглядит расплывчатым из заросших окон.

Я принес маску от пыли и веник и вымел самую одиозную грязь. Помыл окна и поставил стремянку под самую стреху – там, где находилось отверстие токораспределителя. Провода были обрезаны, и их концы скрюченными пальцами загибались к небу. Я заизолировал удлинительный шнур и подсоединил ток. Через окошко было видно, как включились лампочки.

Там хранились инструменты, которые нам вполне бы пригодились. Ленточная пила с темно-зеленой лаковой отделкой «под молоток». Фуганок. Полный набор ручных инструментов. Стамеска, отвертки, пилы. Я включил токарный станок, и он зарычал. Внушительная машина с холстинными ремнями и до блеска отполированными маховиками, с прилипшими к высохшему жиру старыми опилками, обратившимися в пыль. Шпиндель дрогнул, пару секунд пахло паленым, а потом он крутанулся и засвистел, рассекая воздух.

Однажды, заигравшись, я сломал красивый стул и сказал, что, если б у нас был токарный станок, мы могли бы сделать новый. Дедушка на это ответил, что нам никакого токарного станка не нужно. Провозившись с часок, он заменил две округлые точеные ножки стула грубыми четырехгранными.

Так столярничал дедушка. Шляпки гвоздей на виду. Все *слишком* крепкое. Словно он не хотел подражать кому-то вполне определенному.

В одном из шкафов стояли в ряд старые книги. «*L’Art du Menuisier Ebéniste. Anatomie du Meuble*». «Искусство столяра-краснодеревщика. Анатомия мебели». Рабочие чертежи мебели. Замысловатые конструкции со множеством деталей. По сорок ящичков у комодов. Круглый шкафчик с раздвижными дверцами из тончайших пластин.

Самым захватанным изданием был каталог парижской мебельной выставки 1925 года. Текст был на французском языке, и меня приятно пощекотало то, что я почти все понимал. На первой странице была изображена девушка – возможно, из племени фавнов. С корзиной цветов в руках, в развевающемся платье она резвилась на лугу вместе с антилопой.

Я уселся с книгой там, где пригревало восходящее солнце. К лесу, хлопая крыльями и каркая, пролетела ворона.

Здесь и он сидел. Именно *здесь*. Может быть, слышал, как над сосновым лесом, из которого он был приговорен мастерить светлую мебель, взлетают вороны. Птицы из того же вороньего рода, что только что пролетела здесь. Он сидел и мечтал. О великолепной мебели в стиле, подобного которому я не встречал. Вероятно, я даже за всю свою жизнь не встречу людей, которые *владели бы* такой мебелью. Фасоны, декор и узоры с каждой страницей становились все более виртуозными. А ведь был человек, пытавшийся превзойти их. Повсюду на свободных местах Эйнар рисовал собственные идеи. Он соперничал со стилем, который и без того уже был рискованным: штрихами набросал другую древесину, поменял рисунок на дверцах из матового стекла, заменив кое-где травление в виде тюльпанов замысловатыми геометрическими узорами.

На отдельном листке он начертил план березового леса. Обозначил расстояние между стволами. Написал, как поступать с молодой порослью. «*Пересаживать A, D и E раз в полтора года. B и C раз в пять лет*».

Я открыл «*Anatomie du Meuble*». На первой чистой странице было написано: «*Эйнар Хирифьелль, Париж 1933*». Ну и почерк! Строгий и четкий, с косой черточкой в букве Х, тянущейся через всю фамилию. Это ведь и моя буква. Моя фамилия, которую я прежде видел замаранной в коричневое из-за войны, была здесь искусно выписана твердой рукой.

Мы могли бы жить, как нормальная семья. Вместе встречать Рождество, наслаждаясь сигаретным дымом и рассказами о далеких путешествиях. Мы могли играть под столом, дергая за юбки взрослых, стоявших у раздвинутых занавесок в ожидании появления во дворе машин, зарегистрированных не в нашей деревне.

Что требуется, чтобы и я мог писать фамилию *Хирифьелль* с такой же гордостью?

Я резко оттолкнул книгу от себя. Дедушкину действительность составляли день, навстречу которому он просыпался, и земля, которую он обрабатывал. Почему бы и мне не быть таким?

Я попробовал эту возможность на вкус: будто нет никаких конвертов в шкатулке. Будто не присылали гроб с Шетландских островов. Будто я могу

по-прежнему наблюдать, как на лугах пробиваются побеги, выходить каждое утро в поле на «Дойтце», помытом накануне вечером…

Ложь может действовать подобно водке, подумал я. Нужно все время пить, чтобы скрывать от самого себя, что ты пьешь. Но, может быть, и правда в чем-то схожа с ней. В том, что испить ее надо до дна.

*** * ***

– К сожалению, этот человек не значится в списках населения. На Шетландских островах нет Эйнара Хирифьелля.

Ответы зарубежного отдела справочной Управления связи звучали холодно и категорично.

– Но, – сказала женщина в трубке, – это не значит, что и человека такого нет. Или не было.

– Есть его почтовый индекс в Леруике, – сказал я. – Сто восемнадцать. Это не поможет?

– Когда это было? – уточнила женщина. Она говорила по-столичному, но в ее фразах слегка проступал говорок Трёнделага.

– В шестьдесят седьмом году, – ответил я.

– Больше двадцати лет прошло, – сказала она без всякого сарказма.

Я представил себе карьерную лестницу в ее учреждении. Нечто вроде разницы в отделах по обслуживанию фотографов-любителей и фотографов-профессионалов в «Фотосервисе Осло».

– Попробую выяснить, – пообещала моя собеседница. – Я вам перезвоню. На это нужно время.

Я положил трубку и взял в руки фотографию мамы с отцом. Сказал себе, что или фотографию, или телефон нужно перенести в мой домик. Уселся на ступеньках лестницы и открыл альбомчик из столярной мастерской. Изображения парижских улиц.

Билет на «*Носферату*» в «*Le Grand Rex*». Очевидно, большой кинотеатр, на билете значилось 48-е место в 60-м ряду.

Фотография просторной мастерской, четверо мужчин в рабочей одежде вокруг гигантского шкафа. Снимок крупным планом молодого парня в рабочем халате – он дурачился, замахиваясь стамеской. Подписано: «*Шарль Б.*». На следующем снимке мужчина с прямым пробором, в круглых очках. «*Рульман*». На письменном столе у него угольник и наброски дивана.

На двух следующих фото был плот с двумя мужчинами в пропотевших

рубахах. «*Бонсержан и Э. Хирифьелль в Габоне, 1938. Подписан договор с Лакруа о ежегодных поставках 300 m^3 бубинги*».

Альбомчик для рисования, датированный 1926 годом. Сколько ему тогда было лет? Двенадцать? Уже тогда он рисовал городские улицы и великолепные дома, а еще просторные гостиные с величественной мебелью. На обложке в конце альбома – памятка для себя.

– Убирать в хлеву без напоминаний.

– Не обращать внимания на Сверре, когда он задирается.

– По 30 мин. тренировать чистописание и чертежное написание букв.

– Помогать маме, когда ей одной приходится делать тяжелую работу.

– Сделать одну резную вещицу вручную.

– Не меньше часа тренироваться в соединении ласточкиным хвостом или внакрой.

– Хорошо вести себя за столом. Убирать за собой.

– Прежде чем мастерить новые вещи для хозяйства, предлагать починить старые.

Я представил себе нас двоих вместе на хуторе. Как это могло быть, если б братьями были *мы*.

Часом позже зазвонил телефон, резким металлическим звоном.

– С вами говорит Регине Андерсон из зарубежного отдела справочной Управления связи. Извините, что это заняло так много времени. Вы *уверены*, что индекс Леруик сто восемнадцать имеет отношение к человеку, которого вы ищете?

– Совершенно уверен.

– Проблема в том, что это никак не может быть его адресом. В шестьдесят седьмом году в Леруике было всего восемьдесят почтовых ящиков. Почти все письма доставлялись прямо адресату по фамилии и адресу. Но я выяснила другое. *Леруик*, сто восемнадцать – это был номер телефона парикмахерского салона на улице Сент-Суннива-стрит.

– Парикмахерского салона?

– Да. «Мастера Сент-Суннивы». Это возле перекрестка с улицей Короля Хокона. Я посмотрела карту.

– Гм, – сказал я мрачно. – Ну что же, спасибо за ваши усилия.

На этом месте Регине Андерсон выдержала искусственную паузу. Вступление к представлению, которое было призвано служить противовесом дням, заполненным неблагодарными и скучными запросами в зарубежный отдел справочной.

– Из разговора с вами я поняла, что это важно, – сказала она, – и

попросила коллегу из «Бритиш телеком» в Абердине поискать в архивных записях. Он выяснил кое-что интересное.

– И что же?

– Этот номер парикмахерский салон получил в тридцать седьмом году. Но в течение двадцати одного года, с сорок шестого по шестьдесят седьмой год включительно, в телефонном каталоге Шетландских островов с номером Леруик, сто восемнадцать было зарегистрировано *два* абонента. Один – «Мастера Сент-Суннивы». А вторым был некий *Э. Хирифьелль*.

У меня засосало под ложечкой.

– Значит, в телефонном каталоге Шетландских островов на букву Х он значился под номером *Леруик, сто восемнадцать?* – уточнил я.

В трубку мне было слышно, как шелестят бумаги с отметками о ежедневных поисках среди иностранных четырнадцатизначных номеров.

– Да, – сказала Регине, – но только до шестьдесят восьмого года.

«Наверное, в 1967 году местонахождение Эйнара разузнала Альма, – подумал я. – А на следующий год, когда родился я, он удалил запись о себе из каталога».

– Вы меня слушаете? – спросила Андерсон.

– Да. Да, конечно. А салон тоже тогда закрылся?

– Нет, он работал еще до семьдесят пятого года. Но тогда произошла интересная вещь. Обычно старые номера не присваивают новым абонентам в течение трех лет, потому что многие еще помнят их и звонят по ним, полагая, что прежний абонент им все еще пользуется. Так вот, этот номер вообще не оставался бесхозным. Он был перерегистрирован на женщину по имени Агнес Браун с адресом улица Сент-Суннива-стрит. Очевидно, она жила на втором этаже, как раз над бывшим салоном.

– Должно быть, она была его владелицей? – предположил я, представив себе, что эта женщина, может быть, была замужем за Эйнаром, а позже он выехал оттуда.

– Вероятнее всего. Потому что эта Агнес Браун все еще числится в каталоге на этот год. Тот же адрес, тот же номер, только начальные цифры другие с тех пор, как телефонные станции автоматизировали.

– Да что вы говорите…

– Немного странно, что она не сменила номер. Пенсионеры же обычно не любят, чтобы им названивали с утра до вечера?

– Может быть, она ждет звонка от какого-нибудь конкретного человека…

– Ну да, для этого и существует телефон, – согласилась Регине Андерсон. – Дать вам ее номер?

– Да, пожалуйста, – сказал я. – В вас пропадает детектив.

– А вот и не пропадает, молодой человек. Я уже тридцать девять лет работаю в справочной.

Я впервые набирал заграничный номер телефона. На линии слышалось низкое жужжание. Словно сигналы с трудом пробивали себе дорогу под Северным морем. На другом конце раздался звонок – не такой, как у норвежских телефонов, а звонкое дребезжание.

Я не клал трубку, ждал.

Ответа не было.

Я повесил трубку и бесцельно походил по дому, думая об этом телефонном номере. Спустился вниз, взял дедушкин атлас, сравнил расстояния. Я знал, что когда-то Шетландские острова входили в состав Норвегии, и теперь понял почему. От Бергена до Леруика было ближе, чем от Абердина.

Тут послышался звонок телефона. Я стремглав взлетел по лестнице и схватил трубку.

– *Yes*, – сказал я. – *Hello?*

– Что? – отозвался голос на другом конце.

– Да?

– Это Раннвейг Ланнстад звонит. Это ты, Эдвард?

– А… Здравствуйте.

– Здравствуй. Ммм… мне очень жаль, но, увы, возникла одна проблема.

Она рассказала, что использовать гроб не получится. Он слишком широк для печи крематория. Вероятно, гроб был сделан по английским меркам – его ширина составляла ровно четыре фута.

«*Люди с мозгами не будут мерить в футах*», – говорил дедушка.

– Кстати, ты собирался положить вместе с ним в гроб нож? – спросила Ланнстад.

– Ему этого хотелось бы.

– Мы могли бы, конечно, положить нож в гроб, хотя это и не по правилам. Но кремировать с ножом – ну, ты же понимаешь…

С час я бродил по хутору, думая, как же быть. Потоптался среди ягодных кустов, наелся вволю, глядя вдаль, на поля, на столярную мастерскую.

«Огонь или земля. Ничто другое».

Я снова позвонил в похоронное бюро.

– Это я. А в церкви мы можем воспользоваться этим гробом? И достать его перед кремацией? Так можно?

– Но ведь, – сказала Раннвейг Ланнстад, – тогда у нас останется использованный гроб.

– Привезете его сюда, в Хирифьелль. Вместе с ножом.

– Эдвард… При моем роде занятий редко задаешь вопрос *зачем*, но, по-моему, сегодня мне придется это сделать.

– Гроб понадобится позже, – сказал я.

*** * ***

Я знал, что пастор живет в тупике возле закупочного кооператива, в черном одноэтажном домике, окруженном мохнатыми елями. Вероятно, когда он только поселился здесь, это были елочки, которые наряжали к Рождеству. А теперь они заняли весь участок. Толь на крыше порос мхом, водостоки забила хвоя. Его «Ровер» стоял на своем месте под навесом, но, когда я позвонил в дверь, он не вышел. Я обошел вокруг дома и нашел его в саду.

– Кто такая была Тереза Морель? – спросил я.

Пастор поменял позу на продавленном шезлонге.

– Твоя мать была твоей матерью, – сказал он, показав мне на сложенный шезлонг, стоявший возле водосточной трубы. Я разложил этот шезлонг и сел напротив него. Он пил что-то из литровой бутыли и предложил мне. Чтобы не показаться невежливым, я не стал отирать горлышко перед тем, как отпить из нее. Апельсиновый сок, густой и сладкий.

– Почему вы сразу всё не рассказали? – спросил я.

– К горю не примешается других чувств, если у тебя есть точка опоры. Я подумал, что тебе лучше потом узнать об этом. В роду Хирифьеллей похороны никогда не были простым делом. О гробе-то ты в любом случае узнал бы. Но я раздумывал о том, что ты знаешь, а чего не знаешь о вашем прошлом. И как много ты *хочешь* знать. Для правды небольшая задержка бывает полезна.

За цветастые сиденья, на которых мы сидели, задевали травинки.

– Мне кажется, для нее настало время сейчас, – сказал я.

– Твою бабушку звали Изабель Дэро, Эдвард. Она родила твою мать в Равенсбрюке, перед самой капитуляцией. Должно быть, они потеряли друг друга, потому что твою маму удочерила француженка, и твоя мать росла в уверенности, что и на самом деле является дочерью этой женщины. Когда ей было семнадцать, она нашла документы, свидетельствовавшие, что это

не так. В двадцатилетнем возрасте она сменила имя на Николь Дэро.

– Это дедушка рассказал?

– Нет, Вальтер. Мне нужно было заполнить свидетельство о твоем крещении, и для этого мне нужны были удостоверения личности и личные идентификационные номера. Тогда и всплыла эта история. Я увидел ее старые документы.

– А куда девалась моя настоящая бабушка?

– Этого я не знаю. Но если ей пришлось томиться в лагере и потерять ребенка, вряд ли это могло не сказаться на ней.

Я рассказал пастору о бумагах из шкатулки и о фотографии матери.

– Чего я не могу понять, – сказал я, – это зачем мама приехала именно *сюда?*

– Этой тайны они никому не раскрыли. Вальтер стоял на том, что она была туристкой.

– В таком случае она первая и последняя, кто отправился в туристическую поездку с целью повидать задворки Саксюма.

– Не стоит недооценивать деревню. Вифлеем тоже не был столичным городом.

Я огляделся в поисках камешка или еще чего-нибудь, что можно вертеть в руках, но ничего подходящего вокруг не нашлось. Сам не заметив этого, я сцепил пальцы и так и сидел, но расцепил их, когда заметил это.

– Интересно, почему она выбрала имя Николь, – сказал я.

– Кто знает…

– В свидетельстве о крещении мамы написано, что имя отца неизвестно. Когда вы с ней виделись, она уже выяснила что-нибудь?

– Я этого не знаю, к сожалению.

– Вы ведь правду сейчас говорите?

– Я всегда говорю правду. Просто не всегда говорю ее всю.

– Я съездил посмотреть гроб, который прислал Эйнар, – продолжил я. – Я думаю, он приезжал сюда на мой день рождения, когда мне исполнилось десять лет, и тогда же срубил деревья, из которых сделал гроб…

Таллауг смотрел на заросший газон.

– Надо же! – сказал он с удивлением. – Единственное, что мне известно, – это что Эйнар возвращался в Саксюм за год до того, когда родился ты. На, попей еще соку. И я *вправду* собирался рассказать тебе об этом в свое время.

*** * ***

Летом 1967 года Эйнар возник на пороге пасторского дома. Сам же Магнус Таллауг спокойно попивал кофе и почитывал газету в полной уверенности, что Эйнар погиб в 1944 году. Не говорил бы тот на гюдбраннсдалском наречии – священник не узнал бы его, потому что лицо его было изрезано морщинами, как кора остролиста. Здоровый и спорый парень, починивший распятие и запрестольный образ для Саксюмской церкви, стоял перед ним оборванный, весь дрожа. Состарившийся не по возрасту, с телом, напоминавшим коровью шкуру, наброшенную на стожар. Пастор увидел в нем глубоко страдающего человека. Годы недосыпа, однообразного питания и экономии мыла. Единственным, чем Эйнар отличался от обычного бродяги, были его ухоженные волосы.

В конце концов Магнус вытянул из него, что с самой войны он жил один на Шетландских островах.

– Но мне же прислали извещение о твоей смерти, – сказал священник.

– Хотел бы я, чтобы это было правдой, – ответил Эйнар. – Но мне нужно встретиться с девушкой, которая приехала в Хирифьелль.

Во дворе стоял помятый серый автомобиль с английским номерным знаком, такой же покоробленный и израненный, как брат моего деда. Пастор-то думал, что Эйнар наведался в Саксюм в последний раз повидать родной дом, и переспросил насчет цели его приезда. Но нет, он приехал ради *Николь*. Он уже побывал в Хирифьелле, однако убрался оттуда, потому что Николь – мама – видеть его не желала. Таллауг спросил почему, а Эйнар ответил, что это пусть останется между ним и Господом.

– В таком случае именно я и могу вам помочь, – сказал пастор. – Со мной вы настолько близки к Всевышнему, насколько это возможно для живущего. Так что расскажите, для чего вам требуется помощь.

Эйнар растерялся. Он явно никакого плана заранее не составил, а заглянул к Магнусу потому, что это был как бы такой светоч, в присутствии которого хитроумные идеи зарождались сами по себе.

– Можно попросить у вас лист бумаги и карандаш? – сказал дедушкин брат, подумав. – Попробую написать ей.

В Эйнаре пастор увидел явление, с которым крайне редко встречался в Саксюме. Эйнар стал верующим. Но наполнявшая его вера в Бога выражалась не в совместных песнопениях или подношении живых цветов в корзинах. Она была твердой, как камень, исполненной муки и раскаяния. Однако Эйнар отказывался рассказать, что за отчаяние терзает его.

В тот же день должен был собираться приходской совет, и священник предложил гостю поесть бутербродов, приготовленных по этому случаю, а сам вышел сварить еще кофе. Когда он вернулся с кофейником, Эйнар уже заглотил всю еду, словно голодал неделю, что, впрочем, хозяин дома счел вполне возможным. Потом брат дедушки сел за письменный стол пастора, написал письмо и отправился восвояси.

Будучи священнослужителем в Гюдбраннсдале чего только не увидишь, подумал Таллауг. Но этот эпизод пробудил в нем – по его собственным словам – *потребность посмотреть, не сумеет ли Церковь, постаравшись, облегчить страдания паствы.* И на следующий день он сел в свой «Ровер» и отправился в Хирифьелль. На первый взгляд казалось, что на хуторе никого нет, ни души не видать. Но пастор услышал голоса на огороде. Моя мать с Эйнаром стояли под сливовым деревом. Они разговаривали по-французски, и очень громко. Голоса были взвинченные, но не гневные. Когда Магнус подошел к ним, они замолчали. Мама сделала перед ним книксен и обменялась с ним парой вежливых слов по-норвежски, но потом сразу ушла в маленький дом. Пастор прогулялся по хутору с Эйнаром. Тот сказал, что мама в конце концов «поняла, в чем состоит ее благо», но Таллауг так и не понял, о чем это. Братья, похоже, так и не помирились, потому что Свeрре и Альма вместе с Вальтером уехали на горное пастбище.

О жизни Эйнара пастор мало что узнал – только то, что тот поселился на Шетландских островах. Где он живет, осталось невыясненным. Эйнар скороговоркой упомянул только два места, Скаллоуэй и Анст. Название Скалловей священник слышал и раньше, этой гаванью на Шетландских островах во время войны пользовались норвежские транспортные суда; но чтобы выяснить, что Анст – это самый северный из островов, пустынный и почти безлюдный, ему пришлось потом заглянуть в атлас. Таллауг заикнулся было о том, что Шетландские острова – странный выбор для человека, походившего в мастерах у краснодеревщика Рульмана, но не сумел выжать из Эйнара ни подробностей его жизни после 1942 года, ни что у него общего с моей матерью, ни почему ему необходимо обращаться к ней с письмом, чтобы она согласилась с ним поговорить.

Эйнар был рассеян, держался странновато, и вскоре беседа стала такой же односложной и неловкой, как и в пасторском доме. Но у Магнуса создалось впечатление, что в нем и в Николь сквозит нечто общее, что-то такое недосказанное в них обоих. Когда священник уезжал, Эйнар остался на дворе один, он стоял и смотрел в сторону леса. А потом из маленького дома снова вышла моя мать.

*** * ***

– И вы собирались сохранить это в тайне? – спросил я.

Мой собеседник снял очки и потер глаза.

– Я считал, что правду тебе лучше узнавать малыми порциями, – сказал он, снова водрузив очки на нос. – По шаткой лестнице быстрым шагом не поднимаются. Но теперь я рассказываю тебе абсолютно все, что знаю.

Я выдернул из земли травинку.

– Вы сказали про его волосы. Что они были ухоженными.

– Да, я обратил на это внимание. А в остальном он был весь жалок, оборван. В уродливых желтых резиновых сапогах. До этого я в последний раз видел его расфуфыренным и галантным, он тогда приехал из Парижа тридцатых годов.

Я рассказал пастору об Агнес Браун и «Мастерах Сент-Суннивы».

– Как вы думаете, из-за чего они с дедушкой стали такими недругами? – спросил я. – Тут ведь дело не только в войне?

Магнус допил остатки сока.

– Давай я сначала задам тебе вопрос о тех четырех днях, – сказал он. – Они мучают тебя, потому что ты страшишься *того, что* случилось, или потому, что ты *не знаешь,* что случилось?

– А какая разница?

– Еще какая! Для многих удобнее жить с правдой, которую они сами сляпали. Пусть там концы с концами не сходятся и полно белых пятен, но и так сойдет. Многим этого хватает на всю жизнь.

– Я уже принял решение, – сказал я. – Расскажите мне всё, что знаете.

– Видимо, поначалу раздор между братьями Хирифьелль посеяли политика и имущественные права. Я думаю, разлад вспыхнул с новой силой после несчастья в семьдесят первом году, к тому же он поменял направленность. Ибо кровь – не вода, в этом и состоит глубинная суть противостояния. Прости меня, что я даю волю беспочвенным рассуждениям, но я думаю, что Эйнар знал, как случилось, что твои родители погибли, но не хотел рассказать.

Дрожь пробежала у меня по лбу, передернула веки и покатилась дальше, охватив все тело. Подреберье свело в узел, а потом что-то во мне надорвалось, и все новые мысли окрасились раскаянием. И зачем я поддался своему самонадеянному любопытству? Словно я ради забавы разобрал какую-то драгоценную вещь и понимаю, что собрать ее заново не

в состоянии…

Пастор выпрямился.

– Ты просил меня рассказать все, Эдвард. Это тяжело принять. И это еще не конец. Ты должен справиться с этим. Ты должен все камни переложить в свой рюкзак.

– Почему, – пробормотал я, – вы так думаете об Эйнаре?

– Он не приехал на похороны. Или его не желали здесь видеть, или он не нашел в себе сил приехать. И то, и другое говорит в пользу того, что он был как-то замешан в этом деле, потому что раньше был просто одержим желанием встретиться с твоей матерью.

– Может быть, его не известили, – предположил я.

– Я не думаю, чтобы его требовалось известить, – возразил мой собеседник, после чего рассказал, что дедушка, из которого обычно слова не вытянешь, потребовал, чтобы моих мать и отца похоронили в одном гробу с общим надгробием, хотя они и не были женаты. Когда гроб опустили в могилу, они с Альмой упали на землю и рыдали в три ручья. – Вообще-то это нормальная человеческая реакция. Но я слышал, что Сверре, всхлипывая, все повторял имя Эйнара, обращаясь к земле. Произносил что-то вроде *«проклятый лес»*. Все снова и снова. Чередуя негодование и сочувствие. Словно он хотел и наказать брата, и примириться с ним.

– Так и сказал – *проклятый лес*?

– Несколько раз.

– Он имел в виду лес карельских берез?

– Нет. Было такое впечатление, что это он о том месте, где погибли твои родители и где пропал ты.

Я поднялся и пошел к забору. Дрожь в веках прекратилась. Но я знал, что теперь все будет не так, как прежде.

– А позже он на кладбище не появлялся? – задал я новый вопрос. – Эйнар, я имею в виду.

– Нет. Я следил за могилой, ее только один человек навещал.

– Дедушка?

Пастор покачал головой.

– Он не таков был, знаешь ли. В семьдесят первом снег выпал рано, и всю зиму только узенькие следы были протоптаны к их могиле. Альма.

– Дедушка по-другому поступал, – сказал я. – Он топил горе в работе.

– А ты? – спросил Магнус. – Ты как поступаешь?

Я сглотнул. Рассудил, что немного в жизни встречается таких поворотных пунктов, когда ты обращаешь взор к небу и обещаешь себе, что с этой минуты все будет иначе. Но и самые искренние обещания

постепенно забываются, и клятвы следует давать, пока тебе еще больно. Моя голова и мои привычки толкали меня к тому, чтобы быть как дедушка, скрывать свои переживания. Но мое тело хотело совсем другого. Оно хотело, чтобы я сорвался и зарыдал, чтобы рвал и метал, совершал опрометчивые поступки, хотя бы ради того, чтобы показать: мне не все равно, я не лишен чувств. Потому что я осознал: больше всего мне не хватает умения по-настоящему прочувствовать утрату.

Прошла, может быть, минута, а может, десять. Я все стоял у забора. А старый пастор все сидел в шезлонге. Смотрел на меня так, будто я был его любимым домашним животным, которое придется умертвить. Будто он неохотно примеривается: сколько раз придется ударить, прежде чем я упаду.

– Теперь лишь один камень остался, – сказал он.

– Выкладывайте, – отозвался я и поплелся к нему.

– Плохо только, что он из всех самый тяжелый и угловатый. Неразрешившаяся история твоей матери.

– Что за история?

– Я уже сказал, что Эйнар, будучи у меня, написал Николь письмо. Когда писал, он подложил под бумагу номер приходской газетки. Мы в то время могли позволить себе печататься на плотной глянцевой бумаге. Когда я потом убирал за ним, то увидел: он так давил на карандаш, что некоторые слова на газете можно разобрать.

Священник поднялся. Вслед за ним я вошел в дом и проследовал через попахивающую плесенью кухню в кабинет – тесный, потому что вдоль всех четырех стен высились книжные полки, где исписанные на машинке листы со множеством внесенных от руки поправок высовывались из промежутков между обложками книг и скоросшивателей. С трудом опустившись на колени, Таллауг извлек с полки коричневую папку. Внутри лежал старый номер приходской газеты.

– Я хранил ее здесь, – сказал он, – на тот маловероятный случай, если кому-нибудь из рода Хирифьеллей захочется поглубже покопаться в прошлом.

Солнечный свет падал наискось, и буковки отбрасывали крошечную тень. С годами волоконца бумаги расправились, но, плотно прижав лист к оконному стеклу, я смог различить слабые отпечатки аккуратного почерка Эйнара. Строчки пересекались, слова накладывались одно на другое, но кое-что проступало с достаточной четкостью. На свободном участке под рисунком, изображающем Саксюмскую церковь, я увидел два имени. Сначала *Оскар Рибо*, рядом год – *1944* – и *Изабель Дэро*.

– Кто такой Рибо? – спросил я.

– Я не знаю, – сказал пастор и выдернул волосок из носа. – Может быть, я буду строго наказан за то, что скажу сейчас, ведь я приоткрываю дверь, которую твой дедушка двадцать лет держал закрытой, вероятно, не без причины. Посмотри внимательнее и увидишь, что одно слово на газете отпечаталось три раза.

– Какое слово? – задал я очередной вопрос, поворачивая листок.

– Там, там и – вон там.

Я проследил за пожелтевшем ногтем на указательном пальце Магнуса, которым он водил по слабым отпечаткам Эйнарова карандаша.

Повторялось слово «*l’héritage*». Что-то про наследство.

– От кого? – удивился я.

Старый пастор откашлялся и дал мне понять, что в этом деле он, возможно, слишком уж ретиво исполнял роль духовного наставника. В тот день 1967 года Магнус попытался разобрать, что же написал Эйнар, посыпав на газетный лист золы. Велико же было его изумление, когда он обнаружил, что это касается наследования имущества, принадлежавшего семье Дэро. Похоже было, что речь идет о ценностях, то ли в денежном выражении, то ли в том, что эти вещи были дороги как память, но священник понял так, что речь идет о чем-то, возраст чего исчисляется столетиями. Однако буквы все время сливались одна с другой, и было не ясно, то ли мама может знать, где искать это имущество, то ли Эйнар считал, что она является наследницей. Как бы то ни было, пастор истолковал это таким образом: мама собиралась спокойно жить на хуторе, а Эйнар пробудил в ней иные мысли.

– Я думаю, что Эйнар подготовил почву для той фатальной поездки во Францию в семьдесят первом году, – сказал Таллауг, складывая газету назад в папку. – Не имею представления, о каком наследстве идет речь. Но я случайно услышал слова Эйнара, сказанные твоей матери под тем сливовым деревом. Французским я владею так себе, но это соответствовало тем предложениям, которые тогда можно было разобрать на газетном листе. Эйнар сказал, что *все наследство сохранно и его хватит заполнить грузовик*.

– Так что, нам надо было съездить на ферму в Отюй? Откуда ведут свой род Дэро?

– Похоже на то.

– Вы думаете, Эйнар еще жив?

– Вполне возможно. Я же вот живу. Тело его было изношено, но я видел в нем ту одержимость, которая помогает прожить и сотню лет. А ему

еще нет и восьмидесяти.

– Я все-таки не могу понять, почему мама приехала именно в Хирифьелль.

– Этого и я не понимаю. Но я обязан тебя предостеречь. Ведь сначала у твоей матери была фамилия Морель. Сменила ли она фамилию *с целью* предстать законной наследницей или впервые услышала о наследстве от Эйнара, – этого я не знаю.

*** * ***

Дома меня ждала белая «Манта». Трава доходила ей до колпаков на колесах. Капот был горячим. Ханне сидела в обрезанных джинсах на застекленной веранде и, почесывая комариный укус на загорелой ляжке, читала учебные материалы о комбикормах для поросят. Грюббе дремал на подушке, прикрыв мордочку лапой.

– Хочешь красной смородины? – спросила Ханне, кивнув в сторону миски и литрового мерного стакана, до краев полного ягод.

– Не откажусь, – сказал я.

– Ключ был на том же месте, – сообщила она.

– Теперь только ты о нем знаешь, – ответил я, снимая джинсовую куртку. Пригляделся к тому, как по-новому моя подруга выглядит здесь. Ханне Сульволл как возможность. На это лето. На остаток года. На остаток жизни.

Она снилась мне накануне ночью. Стояла ко мне спиной, загорелая, молодая, упругая во всех местах, позвоночник как только что скрученный канат, но, обернувшись, оказалась морщинистой и угрюмой, похожей на Альму.

Я отбросил воспоминание о сновидении. Вскрыл письмо, адресованное дедушке. Из службы качества сельхозпродукции. Ежегодная инспекция посевов картофеля с девяти часов в следующий понедельник.

– Пастор рассказал, что Эйнар приезжал сюда и искал маму, – сказал я, отложив письмо.

– Это когда же?

– В шестьдесят седьмом.

Ханне долго смотрела на меня. Потом встала, обхватила мою голову руками и посмотрела мне в глаза.

– Голубчик ты мой, – сказала она. – Достань калькулятор. Прошло двадцать четыре года. Закончилось все плохо и мрачно. Господи! Оглянись

вокруг! Лето, ты только что унаследовал хутор, и у твоей дамы сердца созрела яйцеклетка.

– У моей дамы сердца? – криво улыбнулся я.

– Если захочешь.

Я поцеловал ее, и она наполнила мою миску красной смородиной.

– Скажу тебе две вещи, – сказала Ханне. – Любишь ты копаться в себе и терзаться. Если ты отправишься на розыски и *не* выяснишь, что же случилось, то всю оставшуюся жизнь будешь выглядеть так, будто играешь заключительную партию мирового чемпионата по шахматам. Твои родители умерли, Эдвард. Правда в том, что их не вернешь назад. *Это* и есть самая важная истина, ты и сам знаешь. Ты должен принимать то новое, что плывет к тебе в руки.

Она налила на смородину густых желтоватых сливок. Через пару секунд ягоды начали лопаться и расплываться красными облачками.

Грюббе почуял запах. Потянулся и зевнул – так, что обнажились клыки.

– Кошкам нельзя молоко, – сказала Ханне, когда я взял картонный пакет со сливками и отлил немного в блюдечко.

– А сливки? – уточнил я.

– Это все равно. У них от этого желудок болит.

Я все-таки налил коту сливок. Он принялся лакать их, водя хвостом из стороны в сторону.

– Мне нужно съездить в Отюй, – сказал я. – И в Реймс.

– Реймс? Это где?

Я рассказал девушке о Франсине Морель.

– Господи боже, Эдвард! Сверре еще не предан земле. Уж если ехать, так в какое-нибудь приятное место. Ушел человек, бывший для тебя точкой опоры. Зачем тебе дополнительно омрачать свою жизнь?

– Но ей много лет. И она единственная может рассказать мне о матери.

Ханне намотала прядь волос на средний палец.

– *Это* я могу понять, – сказала она. – Но ты сначала хоть письмо ей отправь.

Я имел что сказать, но это было не к месту и не ко времени. Потому что касалось слова, трижды процарапанного на листке из приходской газетки за 1967 год. *Наследство.* И еще одного слова, такого чуждого этому жаркому норвежскому лету: *Равенсбрюк.*

– Послушай, – сказала Ханне, отложив учебные материалы в сторону. – Овцы пасутся в горах. Грюббе проживет без нас. Может, после похорон съездим куда-нибудь?

– Это куда же?

– На юг, например. Или к нам на дачу, в Южную Норвегию. Почему бы нет? Солнце и вода. Давай. Люди *так делают*.

– Идем, – сказал я на следующий день, когда солнце стояло в зените. – Я тебе что-то покажу.

Мы подошли к сливовым деревьям. Завязи уже не были такими твердыми – они свешивались с веток почти сплошной стеной, обещая сладкий урожай. Мы смотрели на зеленую листву и все эти плодики, которые скоро нальются соком и цветом. Но Ханне думала о будущем, а я о прошлом.

Она улеглась в траву.

О, Хирифьелль! С тобой. Плодородной, как земля, на которой ты лежишь.

Но я не мог здесь остаться.

Я взял ее за руку и отвел в березовый лес. Подвел к самому большому дереву с грубым стволом, затянутым в железное кольцо, напрягшееся до такой степени, что и сам металл не знал, сколько он еще выдержит. Там мы оба легли на землю и посмотрели наверх, на листву.

Девушка приподнялась, так что ее тело образовало дугу, касающуюся земли затылком и пятками, и смогла стянуть с себя одежду, после чего такую же дугу образовало теперь ее нагое тело.

– И ты тоже, – сказала она. – Ну, иди…

*** * ***

Случалось, я представлял себе похороны. Я всегда представлял их себе зимой, в декабрьскую предрождественскую оттепель. Я стоял бы рядом со Звездочкой, один на парковке перед Саксюмской церковью, соскребая лед со стекол под одну из дедушкиных кассет с записями фон Караяна. Вьюга задувала бы в старый парадный костюм, попахивающий пылью, я оставался бы последним возле церкви, долго стоял бы у машины, глядя, как снег накрывает могилу белой периной…

А тут лето выдалось жарким, и я сидел в новом костюме, купленном нами в Лиллехаммере. Ханне – по левую руку от меня, в сером платье, которое мы купили в ту же поездку. Ингве – справа, у него не было недостатка в костюмах и раньше, он мог выбирать.

Гроб из свилеватой березы стоял в центре, окруженный со всех сторон массой картофельных цветов. Поднявшись на рассвете, я два часа срезáл их

серпом. Все сорта картофеля с наших полей провожали дедушку в могилу, и у каждого сорта были цветы своего цвета, даже «Беата» послала свой букетик. Полированное дерево сияло и отбрасывало отблеск с каждой новой свечкой, зажженной служителем.

Времени было без десяти час. Одно окно было распахнуто, и под плывущие под сводами церкви звуки трио-сонат я начал прислушиваться к шагам по гравию. Меня регулярно посещала мысль, не случится ли невероятное и не возникнет ли в дверях Эйнар? Каждое утро и каждый вечер я звонил Агнес Браун – и каждый раз вешал трубку, не дождавшись ответа. Я мог бы послать ей письмо, но план был уже готов, и этого не понадобится.

Тут я услышал звонок велосипеда и шорох покрышек по гравию, а потом через окно до меня долетел звук прерывистого дыхания. Что-то стукнуло о стену церкви, я повернулся к двери – и вот входит он.

Бормотун.

Потный, в сером бомбере из плащевки и лоснящихся нейлоновых штанах. Он перевел дух, бормоча себе под нос. Ингве с Ханне переглянулись, а Бор, озираясь, остановился среди прохода. Отер пот со лба, сунул руку в штаны и поудобнее уложил яички.

Из трубок органа волнами накатывала музыка.

Новые шаги, торопливые. Мать Бора выскочила с паперти и ухватила его за полы куртки. Бор вывернулся и двинулся вперед. Я потер веки пальцами.

– Ингве, – шепнул я. Мой приятель нагнулся ближе. – Поможешь мне?

– Ладно. Выведу его.

– Нет. Скажи его матери: пусть он сядет здесь, впереди.

Но они уже уселись – свободных мест было более чем достаточно. Горстка человек, зашедших просто поглазеть, да еще племянник Альмы. Тут зазвенели колокола, органист перевернул нотный листок, и из ризницы явился старый пастор. У него была Библия с выпадающими из нее страницами. В черном облачении, статный и бледный, он прошествовал к гробу.

Мой взгляд упал на запрестольный образ, который Эйнар реставрировал в 1940 году. Трудно было поверить, что он был разбит вдребезги: линии плавные, четкие, нигде не прерывающиеся.

Я вслушивался в речь священника. Слушал, не сорвется ли Таллауг, по мере того как он, распаляясь, говорил все более высоким слогом и, наконец, заявил, что «Господь подверг *Сверре Хирифьелля тяжелейшим испытаниям»*, а потом зарядил о грехе и о самопостижении, о ненависти и

о милосердии. Его слова эхом отдавались от стен почти пустой церкви.

Тут я задумался о неухоженной могиле матери и отца, о том, какой жалкой она выглядит под порыжевшими стебельками и мхом, и заметил, что пастор закончил, только когда настала тишина, такая явственная, что, кажется, ее можно было потрогать.

Гроб был таким тяжелым, что нести его пришлось восьмерым. Ханне, Ингве и церковный служитель шли с моей стороны; Раннвейг Ланнстад, ее сын и служащие, нанятые из похоронного бюро в Харпефоссе, – с другой.

Мы вышли из машины, миновали голубой детский велосипед Бора и, завернув за угол, вышли из тени. Нас встретило раскаленное летнее солнце, лучи которого глубоко проникали в свилеватую березу, так что ее поверхность переливалась, и в руках у нас словно мерцал мираж.

Но мы направлялись не к могиле. Мы двигались к старому похоронному фургону бюро, «Мерседесу», которым они, собственно, больше не пользовались. Потому что дедушке придется отправиться сначала в другое место. На кремацию в Лиллехаммер.

И тут все смешалось и поплыло у меня перед глазами, как это было, когда я смывал свастику растворителем. Ноги подо мной подкосились, когда мы проходили мимо нагретой солнцем церковной стены и от нее пахнуло дегтем. Может быть, это память о запахе с похорон мамы и отца настигла меня, и когда я увидел их могилу выше по склону, в иссохшей и поросшей увядшей зеленью земле, украденной дьяволом, меня подбросила какая-то сила. Я будто разделился надвое: один нес гроб, а второй проваливался сквозь прожитую жизнь, пока не упал перед высеченными в камне датой и двумя именами. Перед ними, я знал это, мне придется держать ответ.

5

– Бронировать? – спросила Ханне. – Сказали, что по этой цене осталось только два места.

Я стоял с телефонной трубкой в руке и чувствовал, что разрываюсь. Она звонила с благими намерениями и хотела мне только добра. Но я наконец уяснил для себя смысл фото мамы с отцом возле телефона. Это была не просто фотография. Это был вопрос, ожидавший, когда его зададут. Захочу ли я пойти против течения и выяснить, почему они погибли?

– Нет, Ханне, – ответил я. – Не стоит. Как-нибудь потом.

– Я к тебе приеду, – заявила она. – Ты сам не свой.

– Нет, – сказал я. – Я к тебе приеду. Завтра. А сейчас не приезжай.

Я повесил трубку, вышел и опустил шлагбаум. Завел старый «Дойтц», подъехал к штабелям дров и наполнил прицеп. Ель и осина длиной по шестьдесят сантиметров. Подъехал к полю с «Пимпернелькой», соскочил с трактора и, пока тот рычал на холостом ходу, оглядел место. Решил проехать немного дальше, примерно до середины поля – оттуда будет лучше всего видно дома на хуторе.

Под моими ногами, в земле, шел рост. Солнечный свет, вода и чернозем: такой же бесконечный процесс, как звездочетство.

Я сгрузил дрова и начал их укладывать. Привез еще пять кубов и хотел поднять основание повыше, так что под конец, чтобы дотянуться доверху, пришлось влезть на прицеп. К вечеру было сложено отличное ровное основание из уложенных крест-накрест полешков.

Вернувшись на двор, я осторожно подвел лобовой погрузчик под паллету с гробом. Приподнял ее, осторожно двинулся прочь со двора и свернул прямо на поле, как сворачивал с плугом. По боковинам гроба шуршала картофельная ботва. Когда я опускал гроб на основание, поленья закряхтели.

Я принял душ, побрился и переоделся в парадный черный костюм. Попил воды из уличного крана, такой ледяной, что заломило в висках, и глянул вдаль, на поле, где на закатном солнце гигантским драгоценным камнем сиял гроб.

В одиннадцать часов я взял со стола в гостиной туго завязанный матерчатый узелок. По окончании кремации я попросил, чтобы меня оставили одного в помещении с урной. Там я высыпал пепел деда в пакет.

Холодные как лед пальцы задрожали, когда в воздух поднялось облачко пыли, и я понял, что это *его* я переместил. Из кармана пальто я достал другой пакет с пеплом.

Они были разного цвета: тот, который принес я, был темнее, и в нем порошок мешался с хлопьями. Но это ничего, здесь же были только дедушка и я, в этом слабом свете, падающем из высоких окон, в холодном воздухе священного камня. Я поискал книгу нужного размера. Его любимыми писателями были Томас Манн и Гюнтер Грасс, но еще более затрепанной была другая книга – я поднес ее к печке и, прочитывая по странице, сжигал, собирая пепел в железное ведро.

Не дедушка был похоронен в присутствии старого пастора и Раннвейг Ланнстад. В землю Саксюмского кладбища я закопал 469 зачитанных страничек из книги Джона Стейнбека «*К востоку от рая*».

Еще пели птицы, пока я поднимался к тому месту с дедушкой в руках. В этом состоянии он весил килограмм, но груз, который я нес, был тяжелым, как валун. Когда я поднял крышку гроба, чуть блеснули балансирные пружины, когда-то смонтированные Эйнаром. На уровне груди я уложил в гроб костюм, сшитый у Андреаса Шиффера в Эссене, на уровне бедер – русский штык. Пока еще можно было что-то разглядеть, я развернул тряпичный узелок и высыпал сверху дедушкин пепел, и пусть это была просто пыль, но он, будто живой, предстал передо мной, в последний раз посмотрел мне в глаза и остался доволен увиденным. Он был и жив, и мертв: мертв, как на негативе в «Лейке», а жив, потому что я знал – ему бы это понравилось. Под конец я взял те билеты на концерты и выпустил их из рук над гробом. Они плавно опустились в него птичьими перышками в поиске местечка, где бы им упокоиться.

Я поджег смолистые корешки во всех углах основания костра. Они заскворчали, пламя побежало вверх по поленьям, и от них зажглись новые языки, принявшиеся лизать гроб со всех сторон. Свилеватая береза, запылавшая в тот же день, когда была срублена.

Вдруг я увидел маленькое резное изображение в уголке гроба. Белка, закрывающая мордочку хвостом. Костер запылал, и белка исчезла в пламени, медленно распространявшемся кверху и образующем рамку по краям гроба. Он стоял, охваченный огнем, бросавшим теперь отсвет далеко по картофельному полю, разгоравшимся все сильнее и сильнее, так что мне пришлось отступить подальше, чтобы не опалить брови.

Дрова затрещали. Взметнулись языки пламени, замерцав на березе золотистым узором, отражавшим другой золотистый узор, пока гроб вдруг не почернел от сажи. Секундой позже этот траурный покров загорелся, а

затем раздался продолжительный треск: это огонь разгорался во всю свою мощь, и пламя сожгло пламя.

И я заключил договор со своим горем. Я должен стать человеком, на которого мертвые могут положиться.

III
Остров буревестников

1

Разбудило меня не солнце, разбудили меня Шетландские острова. В половине пятого я уже был на палубе. На окрашенных в белое перилах блестели капельки воды – должно быть, ночью мы попали в дождь.

Иногда в этих местах проплывали рыбачьи лодки. А больше ничего видно не было, пока в тумане не возникла полоска суши. Из ее контуров вырос Леруик. Бесцветные склоны превратились в зеленые поля. Темные комочки стали домами и портовыми кранами.

В моем распоряжении была неделя – столько хутор простоит без моих трудов. И трудов Ханне. Упаковав вещи в машину, я заехал к ней. Она подумала, что я хочу сделать ей сюрприз – отправиться вместе с ней отдыхать на юг. Прощание получилось немногословным и скомканным, горьким и полным недомолвок, висевших в воздухе.

– Не вляпайся там во что-нибудь, – едко бросила она.

Паром резко качнуло: мы причалили. Я ехал позади грузовика, мимо плаката «*Добро пожаловать в Леруик. Помните о левостороннем движении» н*а норвежском и английском языках. Как будто это наша колония.

Я свернул на английскую сторону дороги и, лишь проехав несколько километров, справился со страхом столкнуться с кем-нибудь лоб в лоб. Дальше я ехал наугад, пока не очутился у смотровой площадки. Лесной пейзаж, как у нас дома, только зелень ярче. Такой же вереск. Такие же овцы. Поля на склонах – их единственное отличие от наших в том, что они резко обрываются в море.

Запахи и звуки совсем не такие, как в лесу. Соленая вода с примесью рыбьих потрохов и густого угольного или торфяного дыма. Крики морских птиц, гул прибоя у спускающихся к морю скал. С одной стороны Северное море, с другой Атлантический океан настойчиво вздымались у берегов, будто я находился в осажденной крепости.

Я стоял, приглядываясь и принюхиваясь к морю. Холодный соленый ветер. Свежий, хотя и пронизывающий. Он мне и нравился, и не нравился, напоминая мне чернозем, готовый уступить место чему-то новому.

Чего-то не хватало. Чего-то, что я ожидал, хотя и не мог бы сказать, чего именно.

«Ага!» – сообразил я, двинувшись дальше. Деревьев нет. Ни одного-единственного. Только низкий кустарник, каменные домики и пастбища.

Ни единой тощей осинки.

Как столяр мог выдержать *такое?*

Я купил карту и сел в машину. Шетландские острова походили на разбитую бутылку – крохотные шхеры и островки, осколками разбросанные у побережья.

Два названия, которые разобрал пастор. Анст и Скаллоуэй. Самый северный из островов и городок под Леруиком.

Выбирая для себя маршрут, я вдруг сообразил, что только что впервые разговаривал по-английски. «*A map for Shetland Islands, please. Yes. Thank you*».

Это оказалось легко. Каждая победа – победа над Ханне и дедушкой. «*Не вляпайся там во что-нибудь*»? Конечно, я прогуливал уроки английского, но осваивал язык иначе. Английскому меня учили Джо Страммер и Шейн Макгоуэн[11]. Учили серебристый стереокомбайн «Пайонир» и тексты песен, вложенные в конверты долгоиграющих пластинок. Для покупки карты моих знаний оказалось достаточно.

Но, как я понял, к поездке на Шетландские острова мне лучше было научиться древненорвежскому. Карта пестрела названиями из другого времени, времени плавания на деревянных ладьях и конных походов по узким тропам. *Wick* – норвежский *vik*, залив. *Voe* – *våg*, залив пошире. *Skerries* – *skjær*, шхеры. *Swarta Skerries* – черные (*svarte*) шхеры, *Out Skerries* или *Haf Skerries* – самые дальние (*ytterste*) в море (*hav*).

Мой метод не слишком упрощал поиски. На карте было десять-двенадцать портовых бухт – *Хамнаво* и еще больше песчаных заливов – *Сэндуик*, а островки носили названия прибрежных (*Иннер Холм)*, или дальних (*Аутер Холм)*, или еще они назывались вытянутыми (*Линга)*.

На Ансте и вовсе все названия были норвежскими. *Братта*. *Хамар*. *Литл Хамар*. *Фрамигорд* – хутора близ дороги. *Таинг оф Ноустигарт* – коса в море возле Нордигарда.

Я не мог понять, чем притягивало парижанина Эйнара это место, где, кажется, все было поименовано викингом в эпоху саг. Ведь он еще подростком потерял интерес к тому, чтобы делать простые деревянные шкафы для крестьян побогаче… Теперь ему было хорошо за семьдесят. Какие первые слова говорят человеку, которого родные не видели долгие годы? Вызвала ли в нем смерть брата хоть какие-то чувства?

Мне вдруг захотелось бросить все – и пусть будет, как раньше. Моя «Лейка» лежала рядом на пассажирском сиденье, и последним запечатленным на ней изображением было дедушкино лицо. Я вспомнил его слова, сказанные вроде бы той осенью, когда я прочел «*События года*».

– Посадочный картофель, – сказал он.

И по тому, как дед выпрямился, оставив работу, как изучающе посмотрел на меня и как произнес эти слова, я понял, что он давно готовился сказать мне это, когда я «достаточно подрасту», что он пригляделся ко мне и счел, что это время настало. Мне-то казалось, что я ничего необычного не делаю, но, может быть, в моих движениях проступила та уверенность, которая и позволила дедушке выпрямиться и сказать:

– В каждой картофелине сидит другая картофелина. Вся картошка, которую мы сейчас сажаем, это, собственно, одно и то же растение. Только если размножать картофель *семенами*, вырастет другое растение. А та, что мы сажали в прошлом году, и вся, что посадим в следующем, – это все одна и та же картошка. Да, посадочная картошка гниет. Но все равно новая – это просто новые побеги старой. Они не просто состоят в родстве, они и *есть* одно и то же.

В тот год я начал курить и, конечно, курил дедушкин табак.

Теперь я стащил с себя анорак и достал из багажника шоколадку. В коробке с провиантом в дополнение к консервам и картошке у меня было двадцать марципановых батончиков, двадцать плиток молочного шоколада и десять пакетиков арахиса. А еще инструменты и запчасти к машине. Шкатулка с разными разностями, объяснения которым я не нашел. Важнейшие документы я сфотографировал и сделал бумажную копию кадра 18b, единственного, не вписывающегося в дедушкины фотографии из Германии.

Я жевал шоколад и уговаривал себя, что надо идти до конца. Внезапно ветер стих. Может быть, не стоило влезать в неприкасаемый запас уже в первый день?

Над океаном сгущались серо-черные тучи, подползавшие все ближе. Дома непогоду можно было предсказать заранее: перед этим всегда становилось тепло и душно, и я предполагал, что ливень настигнет Шетландские острова к вечеру. Но буря налетела со скоростью разъяренного быка. Снова поднялся ветер, а еще через полчаса, на обратном пути в Леруик, в парикмахерский салон Агнес Браун, мне пришлось включить «дворники» на полную мощь.

*** * ***

Когда в 1975 году парикмахерская «Мастера Сент-Суннивы»

закрылась, они, похоже, просто заперли дверь за последним посетителем и подмели пол, а на следующий день не открылись. Так шли годы, пока я не заглянул внутрь через пыльные окна. На входной двери висел выцветший плакат с рекламой продуктов для волос «Велла», на котором красовался профиль женщины с волнистой укладкой. На столике – пожелтевшие выпуски газеты «Шетланд таймс», высохшие настолько, что бумага трубочкой скрутилась на свету. Остальное рассмотреть было трудно. Лишь едва проглядывали стоявшие в центре огромные голубые фены. По краям умывальников – старомодные флаконы с шампунем. Салон напомнил мне столярную мастерскую Эйнара. Заброшенность и нетронутость.

Встав у стены под козырьком крыши, я повернулся лицом к улице. Струи дождя рикошетом били от асфальта. Была пятница, и народ закупался к выходным. Не обращая внимания на дождь, все спешили по своим делам, закрыв голову капюшонами дождевиков.

Вокруг меня стояли серо-коричневые каменные дома с палисадниками. По пути сюда я проехал мимо высоких зданий со шпилями и круглыми окошками свинцового стекла на улице Кинг-Харальд-стрит. Они напомнили мне за́мок на обложке «*Баллады о Робин Гуде*» у нас дома.

И вот я оказался на Сент-Суннива-стрит, с маленьким парикмахерским салоном, куда ходили постоянные клиенты. В одном окошке над салоном горел свет. Я открыл металлическую калитку, зашел в крохотный неухоженный садик и похолодел, прочитав на латунной табличке у двери: «*Агнес Браун*».

Я нажал на кнопку звонка трижды. Ничего. Одно окно было приоткрыто. Я немного отошел от стены под дождь, задрал голову и крикнул: «*Hello!*» Никакого ответа.

На другой стороне улицы в магазине одежды женщина с кудрявыми рыжими волосами занималась починкой прорезиненного рыбачьего комбинезона. Она использовала набор «Тип-Топ», такой же, как у меня дома, с помощью которого я латал велосипедные камеры.

– *The hairdresser*[12], — сказал я, кивнув в сторону салона.

Разглядывая меня, женщина опустила тюбик с клеем на колени.

– Тебе вроде рано еще стричься?

Я засмеялся.

– *Мне нужно найти Агнес Браун*, – сказал я.

– Она уже много лет никого не подстригала. Иди на Сент-Магнус-стрит или Кинг-Эрик-стрит. У них хорошие мастера.

– Сколько вы за него хотите? – спросил я, показывая на комбинезон.

– Он еще не готов.

– Когда будет готов.

– *Еще не знаю,* – ответила женщина, поднеся его поближе к лампе под потолком и, вероятно, подсчитывая, сколько придется скинуть из-за прорехи. – *Зависит от того, сколько у тебя в твоем pung,* – сказала она.

– А?..

– *Ты ведь норвежец, да?*

– Ну да.

– Как вы называете штуку, в которой носят деньги?

– Бумажник, – сказал я.

– *Бамашник? – неуверенно повторила моя собеседница.* – Мы говорим *кошелек – pung,* – сказала она, употребив слово, бытующее и в норвежском языке тоже.

Совершив покупку, я сказал:

– Я не собираюсь стричься, мне нужна Агнес Браун.

– *Такая приятная пожилая леди…* Говорят, в молодости победила на конкурсе красоты. Но я ее давно уж не видела. Она держится особняком.

Понимать эту женщину было легко. Я думал, акцент Шетландских островов похож на шотландский, но он мало отличался от того, что я слушал в машине по радио Би-би-си.

– Вы не знаете норвежца по имени Эйнар Хирифьелль? – спросил я. – Он переехал сюда во время войны.

Женщина покачала головой.

– *Прости, нет.*

– А еще кто-нибудь живет в квартире над салоном?

– По-моему, Агнес всю жизнь жила одна, – сказала моя собеседница, неторопливо сворачивая комбинезон. Она улыбалась так открыто и безмятежно, будто не сейчас – еще рано! – но *в следующий раз* меня здесь будет ждать приятное предложение.

Так непривычно, что людям неизвестна твоя предыстория. У нас в деревне я постоянно был начеку: стоило мне зайти куда-нибудь, как вокруг словно полюса аккумуляторов начинали искрить. Здесь, на Шетландских островах, я чувствовал себя таким же свободным, как в горах.

По наитию я открыл записную книжку.

– Тут у меня номер телефона Агнес. У вас ведь есть здесь телефон?

– Ну конечно.

– Не могли бы вы набрать этот номер? Если она ответит, спросите, пожалуйста, нельзя ли к ней зайти.

Женщина вышла в служебную комнату и позвонила. Высунулась оттуда.

– Не берут трубку, – сказала она.

– Позвоните еще раз, – попросил я, после чего пересек улицу и подбежал к калитке, ведущей на задний двор. Некоторое время я смотрел на открытое окно и ждал. Но телефон у Браун не зазвонил – ее квартирка была такой маленькой, что звонок точно было бы слышно.

Проходя в калитку, я услышал дребезжание, доносившееся из салона. Я заглянул в окно. Около кассового аппарата с выдвинутым ящиком названивал серый телефон.

Я сел в машину. Пастор упоминал Скаллоуэй. Именно из этого порта норвежские рыбаки, участники Сопротивления, во время войны совершали рейсы в оккупированную Норвегию. Через десять минут я уже припарковался, надел непромокаемый комбинезон и осмотрелся по сторонам. Скаллоуэй состоял из нескольких улочек по берегам узкой бухты – *wick*.

Вот, значит, куда занесла его жизнь… За пустынное серое море. От неразрешенных раздоров с дедушкой. Да, в общем, и со мной получилось так же.

Какое занятие мог найти себе столяр в этой рыбацкой деревушке, которую география случайно сделала одной из важнейших баз во время войны? Я попробовал представить себе те годы. Тот же ландшафт, такая же погода, только всегда их ночной вариант.

Указатель на другой стороне улицы гласил: «*Royal Mail*». Как же я раньше не подумал об этом!

Я зашел внутрь. Внутри было полно народу, но на почту было как-то совсем не похоже. Скорее, на книжный магазин: ряды стеллажей с запылившимися романчиками в бумажных обложках и газетами в коробках из-под апельсинов. Единственным, что соответствовало вывеске, были два пластмассовых ящика. Желтый ящик с письмами, на которых почтовые марки еще не были проштемпелеваны, и красный с входящей почтой. Сначала показалось, что все роются в письмах наобум, но потом я догадался – очевидно, те, что забирали по нескольку писем, завозили их соседям по дороге домой.

Я подождал, пока красный ящик почти не опустел и народ не разошелся, и подошел к начальнику почты, лысому мужчине, сортировавшему комиксы.

– Эйнар Хирифьелль, – сказал я тихо. – Норвежец. Он живет здесь, в Скаллоуэе?

Начальник почты посмотрел на потолок. Так делают, когда считают в уме. Подошел парень заплатить за какие-то книги, покосился на меня.

Я пожалел, что задал этот вопрос. Начнут болтать, и, может быть, сплетни дойдут до Эйнара раньше, чем я доберусь до него. Не хотелось бы встретиться с ним под звуки оркестра и под взглядами толпы. Я хотел бы постепенно приглядеться к нему, чтобы ничто не мешало мне составить свое мнение.

– Нет, – сказал начальник почты. – Но после войны кое-кто из норвежцев тут остался. Хотя большинство забрали своих подруг с собой и уехали домой, в Норвегию. Спрошу у Лисе, – добавил он, снимая телефонную трубку.

Через пять минут я угодил в мягкие объятия местной жительницы Лисе Робертсон, пышущей здоровьем женщины в цветастом пиджаке и практичной обуви. Наполовину норвежка, она не впервые рассказывала о том, что происходило на Шетландских островах во время войны. Ее повествование звучало как строго отрежиссированная радиопередача. Должно быть, она шлифовала его с 1945 года и теперь могла в соответствующих местах изложить подробности о том, как норвежские рыбаки курсировали между Скаллоуэем и Норвегией, переправляя в одну сторону оружие, взрывчатку и саботажников, в другую – беженцев, а над ними кружили немецкие истребители, через просветы в тумане поливая их пулеметным огнем.

Мы прошли вдоль берега и остановились перед скульптурой, изображающей рыбацкую лодку на гребне волны. Под девизом норвежского королевского дома «Все для Норвегии» шли в два ряда имена норвежских моряков, погибших во время войны.

– К норвежцам на Шетландских островах всегда относились хорошо, – сказала моя новая знакомая. – Это же тоже была *Норвегия*. И называлась эта группа островов Хьялтландом, пока не отошла к шотландцам в тысяча четыреста семьдесят втором году.

Она рассказала, как это случилось: король Дании отдавал замуж дочь, не сумел выплатить приданое и в качестве части его отдал Шетландские острова. Для островитян настали тяжелые времена. Шотландцы отменили законы викингов и обратили свободных мужчин в арендаторов земли. На острове Йелл господин заставил сорок рыбаков выйти в море в непогоду. Непогода разгулялась в шторм, и тридцать четыре семьи потеряли отцов и сыновей. Так что слово «*Норвегия*» всегда находит отзвук в сердцах жителей Шетландских островов; оно будит память о временах, когда они были свободны.

– А потом началась война, – сказала моя спутница, показав мне пирс с названием *Принс-Олав-слипуэй,* – и откуда ни возьмись, у нас снова

появились норвежцы. Приплыли через море на рыбачьих лодках. Смельчаки, какими мы их себе и представляли. Молодые и бесстрашные. Немцы разбивали их лодки в щепки, но скандинавы не сдавались. Чинили лодки в местной мастерской и на следующую ночь снова выходили в море.

– Подождите, – остановил я ее. – Вы говорите, они ходили на деревянных лодках?

– Я сказала, на рыбачьих лодках.

– Но они же деревянные?

– Да.

– А чинили их здесь?

– Прямо вон там, – сказала Лисе, показав на покосившееся строение у набережной. – Их всех встречал Джек. – Она кивком указала на мужчину в рабочем комбинезоне. Этот мужчина нес к мастерской деревянный ящик, видимо, очень тяжелый, потому что когда он поставил его на землю и пошел дальше, его шаг сразу ускорился.

Следом за ним мы вошли внутрь. Под стук стамесок и визг ручных шлифовальных машин Лисе Робертсон уговорила Джека принять нас в его тесном кабинете.

Проведя там четверть часа, мы узнали только одно. Но это было важно.

Эйнар Хирифьелль появился здесь в 1942 году и полностью овладел мастерством судостроителя.

– Поначалу он вообще не имел представления об этом ремесле, – сказал Джек. – Но научился ему на удивление быстро. Насколько я понял, он вообще-то был столяром-краснодеревщиком. Просто поразительно, как споро он управлялся с починкой разбитого корпуса. И еще они делали хитроумнейшие тайники для оружия. На вид вроде бочка для рыбы, а внутри зенитный пулемет, который можно развернуть за две минуты. Но в сорок третьем году немцы бросили на них еще больше самолетов и стали топить каждую вторую лодку. Им пришлось прекратить выходы в море до тех пор, пока американцы не прислали им противолодочные катера.

Я вопрошающе наклонил голову.

– Ну что столяру делать на стальном судне, – пояснил Джек.

– Ах так, – сказал я. – Куда же он тогда делся?

– Болтался без работы. Брался за всякую мелочовку. Сколачивал ящики для сетей в обмен на табак. А потом пропал куда-то. Вроде бы нанялся к какому-то богатею на Ансте.

– На Ансте?

Джек поскреб щетину и повторил:

– На Ансте.

Я показал фотографию, сделанную дедушкой.

– Это Анст?

Мой собеседник взглянул на нее и пожал плечами.

– Во всяком случае, это Шетландские острова, – сказал он.

Я ждал, что он скажет еще.

– Потому что построек никаких не видать, – сказал Джек.

Механики стали собираться по домам. Один за одним тяжелые токарные и сверлильные станки выключались и затихали в облаке пахучего машинного масла. Джек выразительно покосился на часы взглядом, говорившим, что скоро ему придется звонить домой и объяснять, почему он, хозяин мастерской, опаздывает к обеду.

Я уже пошел к выходу, но обернулся и спросил:

– Не знаете, во время войны он не ездил во Францию?

Джек покачал головой.

– Норвежцы тогда много чего делали, о чем никто не знал. «*Ask no questions and you will be told no lies*»[13], – говаривали они.

Скаллоуэй был все так же тих. К моему отъезду пятничное расслабленное настроение разогнало всех по домам. Единственным признаком жизни служила светящаяся вывеска почты.

*** * ***

Чем дальше на север, тем меньше машин. Вскоре «самое северное» стало важнейшим, а затем и единственным эпитетом придорожных заведений. Добравшись до «Самых северных в Великобритании рыбы с картошкой» в Брее, я выключил «*Brownsville Girl*» и зашел внутрь.

За едой я думал о родном хуторе, опустевшем впервые за сто пятьдесят лет. Сидевший на крылечке Грюббе понял, что я собираюсь уезжать, и не дал себя погладить.

В дальнем конце сарая для инструментов стояла телега, на которой в Хирифьелль приехали мои прародители, чтобы начать возделывать землю. Когда я уезжал, здания съеживались, стараясь втиснуться в зеркало заднего вида. Изображение тряслось, когда я ехал по скотной решетке, а потом опустил шлагбаум и свернул на областную дорогу. Пересекая горы, я как будто уезжал от себя прежнего, но теперь, за поглощением чужой пищи, мое прежнее «я» словно бы вернулось, и я задумался, пытаясь вспомнить, не забыл ли я опустить шлагбаум возле скотного мостика.

Вдоволь наевшись жареной картошки и ощущая во рту ее вкус (похоже, сорт «Астерикс»), я заменил кассету, вставив группу «Клэш», и поехал дальше. Как раз успел на ходящий в Йелл паром «*Бигга»,* оттуда промчался мимо самого северного паба В*еликобритании.*

Анст встретил меня редким дождиком, но желтый комбинезон не дал мне промокнуть. Я стоял на носу парома «*Гейра»* и ощущал толчки стального корпуса, приближающего меня к цели. Дождливый, пустынный клочок земли в океане, отполированный солеными ветрами, так же, как и Йелл, абсолютно безлесный.

Я оглянулся и осмотрел автомобильную палубу. На Анст плыли только внедорожники. Семейные автомобили остались на Йелле. Рядом с «Коммодором» стояли «Бедфорд», облезлый «Лендровер» и «Тойота Хайлакс», на багажной сетке которой были сложены ловушки на краба.

В Хайлаксе сидели двое бородатых мужчин и поглядывали в мою сторону. Вот водитель наклонился ближе к соседу, чтобы лучше его слышать. У меня возникло ощущение, что разговор касался меня.

Еще пара минут – и мы на месте. Мне бы вернуться к машине, но я засмотрелся на одинокого старикана с тросточкой, ожидавшего паром на причале вАнсте.

Мы съехали на берег. Старикан уселся на пассажирское сиденье «Лендровера».

Здесь абсолютно все было *самым северным в Великобритании.* Самая северная школа. Самая северная гостиница. Самая северная автобусная остановка.

Я подъехал к *самому северному в Великобритании магазину,* в котором все еще светились лампы дневного света. Набрал немного еды и баночного пива. Развлекаясь чтением непривычных этикеток, увидел, что тут торгуют и крепкими напитками. Семейство из трех человек уже заканчивало закупаться на выходные, и я поторопился успеть в кассу до них.

На кассе стоял веснушчатый парень в сером рабочем халате. Когда он уже пробил с половину моих покупок, я задал ему вопрос об Эйнаре Хирифьелле, ровно теми же словами, что и на почте.

Продавец отреагировал странно. Замер, занеся руку, чтобы пробить цену, покосился на меня и спросил:

– А он не в Норвике разве?

Теперь странно отреагировал я. Уронил бумажник на пол, замялся.

– А Норвик, – брякнул я, – это где?

– Прямо по дороге, – сказал продавец, показав на север.

Семейство позади меня начало разгружать тележку. Малыш клянчил

конфеты.

– Вы знаете Эйнара? – спросил я, собирая сдачу. – Он здесь закупается?

Похоже, продавец меня не понял. Я начал было снова, но замолчал и пошел в машину изучать карту. Не нашел места с названием Норвик. Может, я не разобрал произношения этого человека?

Подождав, пока не уйдет та семья, я вернулся с картой в руке. Но продавца за кассой уже не было. Он ушел в служебное помещение позади молочного прилавка. Дверь туда осталась открытой. Он стоял спиной ко мне и говорил по телефону.

Подождав немного, я покинул магазин. Огляделся. Омытый дождем остров был безмолвен: усыплен поздним временем и, возможно, скепсисом.

Кое-что из разговора я уловил. То, из-за чего мой план показался мне шапкозакидательским и эгоистичным.

Может быть, я неправильно расслышал. Жужжание вентилятора над молочным прилавком заглушало разговор. Но продавец сказал: «*The Norwegian*». А потом что? Ждет – *waiting* или разыскивается – *wanted?*

Или он сказал то, что я и подумал сначала, но тут же отбросил как маловероятное: что, мол, *он наконец приехал?*

Прозвучало это как предупреждение, из тех, что заставляют черепаху спрятаться в панцирь. Может быть, Эйнар и не хотел никого видеть. Завоевав для себя фуганком и рейсмасом место под солнцем в Париже, он, возможно, превратился в угрюмого старикашку. Из тех, кто не откроет двери, если постучать. До сих пор я пер напролом, в уверенности, что историю его жизни тоже можно узнать в справочном. Но с тех пор как мне исполнилось десять лет, много воды утекло. Его жизнь могла круто измениться.

Нет, сказал я себе. У человека, который валит березу лучковой пилой, сколачивает из нее гроб и отсылает его своему брату, жизнь меняется потихоньку, если вообще меняется.

Я ездил и ездил, и все не мог найти этот Норвик. Но внезапно мне показалось, что я узна́ю место, виденное на дедушкином снимке. Я свернул по узкой дороге в глубь острова, вглядываясь в открывающиеся пейзажи. Что толкнуло пожилого фермера, не интересующегося фотографией, остановиться и сфотографировать *определенный* участок ничем не примечательного берега?

Дорога вела к южной оконечности острова. Я вышел, надел свой анорак и попытался сориентироваться на местности. Закапал мелкий дождик, потом прекратился, а я все продолжал выискивать вид, уже

зафиксированный на фотографии.

Из-за горки затявкала собака. Потом лай послышался ближе. Мимо меня с высунутым языком и безумными глазами пронесся и пропал вдали мокрый пойнтер с серыми пятнами на шерсти. За ним по склону торопилась, задыхаясь, худющая женщина. Она бежала прямо ко мне и сначала расстегнула куртку, а потом снова ее застегнула. Суетилась сильнее, чем псина.

– Она туда побежала, – сказал я по-английски, указав направление.

Женщина истово почесала воспаленную, покрытую коростой кожу на левой руке.

– Здесь поблизости норвежец не живет? – поинтересовался я.

– *Never heard of one*[14].

Хозяйка сбегала за собакой, вернулась и покачала головой. Отдышалась, достала пачку «Салема» и, затянувшись, отломила тлеющий кончик, после чего положила сигарету назад в пачку и опять почесала руку.

– Не знаете, где это? – спросил я, протягивая ей фотографию.

Она кивнула. Пробормотала: «*Хаф-Груни*» и показала на остров, который было едва видно на краешке фото.

Тут вернулась собака – она вильнула хвостом, задев мою ногу, и от нее во все стороны полетели брызги. Хозяйка надела на пса ошейник.

– Ты не суеверный? – спросила она, оттащив от меня пойнтера.

– *Да в общем-то нет,* – сказал я.

– Раньше люди думали, что с Хаф-Груни по ночам переплывает пролив на лодке дьявол. Перевозит гроб – кто-то видел, как тот торчит из лодки.

Я посмотрел на женщину. Потом на фотографию.

– Гробы, – сказал я. – Там жил кто-то, кто сколачивал гробы?

Местная жительница не ответила. Она извлекла из пачки недокуренную сигарету и собиралась закурить, но тут пойнтер снова бросился прочь.

– А где это, Норвик? – крикнул я ей вслед.

Она повернула голову и сказала:

– Там, где гробы.

Карта к этому времени успела сильно помяться. Я был уже недалеко от острова, который хозяйка собаки назвала Хаф-Груни, – он лежал на полпути между Анстом и соседним островом Фетлар. Порывы ветра трепали бумагу. Я повесил «Лейку» через плечо и пошел к берегу.

Подойдя к кромке воды, я почувствовал, что земное притяжение толкает меня вперед, так что пришлось выправиться, как стрелке между полюсами компаса. Местность теперь приняла внятные очертания. Горный

склон справа обрел нужную высоту, бухта слева – ожидаемый мной изгиб, и я очутился внутри фотографии.

Здесь он стоял. Дедушка.

Инстинктивно я опустил глаза, будто ожидал увидеть его следы. Да *вот же* они, я их узнал по тому виду, который позволило запечатлеть фокусное расстояние на его фотоаппарате «Роллей».

Но это только еще больше все запутывало.

Ведь вокруг не было ни единого жилья. Только дорога, море и убогий сарай для лодок из серого гранита.

Из багажника я достал дедушкин бинокль. Немецкая оптика развеяла все сомнения.

Хаф-Груни необитаем. Даже остатков каменной кладки не видать.

*** * ***

Теперь оставался только Норвик. Было уже поздновато, чтобы стучаться к людям, представляться и спрашивать об Эйнаре. Я продолжал ездить по острову, хотя бы ради того, чтобы получить представление о его размерах и найти место, где я смог бы заночевать в машине.

И вот я нашел Норвик. Никакого указателя тут не было, но мне, норвежцу, он и не требовался. Потому что когда я добрался до северной оконечности острова, мне открылся тот же вид, который побудил кого-то в древние времена дать самой северной бухте название Северная бухта – Нордвик.

Открытый морю берег, о который с гулом бились волны, шесть-семь домишек на склонах. Маленькое кладбище на мысу у самой воды.

Меня пробила какая-то животная дрожь. Внезапное осознание того, что наступил момент истины. Он был тут, близко. Я толкнул металлическую калитку и зашагал между надгробий вперед, к тому из них, которое было не таким, как все.

Гроб из свилеватой березы отправился через Северное море.

В качестве благодарности вернулось надгробие из серо-голубого саксюмского гранита.

2

Июль 1986-го. Я помнил этот месяц. Дедушка как раз вернулся из центра, Звездочка тяжело оседала на задние колеса. Обычное дело зимой: он возил в багажнике мешки с песком, чтобы лучше цепляли шипованные покрышки. Но сейчас там лежало надгробие. Мне он объяснил тяжесть в багажнике тем, что лопнула задняя рессора – нужно будет починить ее в Лиллехаммере, а он как раз собирается туда на ежегодное собрание Общества овцеводов и козоводов, которое в этом году состоится чуть раньше обычного.

В тот год отсюда дедушка и звонил. Может быть, из телефонной будки у парома. Не признавшись, что похоронил своего брата. После этого мы и отказались от почтового ящика в центре и стали пользоваться тем, что стоял у обочины областной дороги.

Я уселся на кладбищенскую скамеечку. Долго разглядывал надгробия. Обветрившиеся, заросшие мхом. Каждое из них – напоминание обо всем том, что я хотел узнать. Правду об отце и матери. У каждого из тех четырех дней было свое надгробие, покосившееся и мрачное. Чуть в стороне – ржавый крест. Чтобы помнил, чем может оказаться наследство. На краю поля зрения – выпуклый камень, а под ним – ответ на то, почему, почему, *почему* Эйнара нужно было скрывать от меня. Прямо у моих ног – маленький белый камень со стершимися датами, под которым погребен ответ на то, как встретились мама с отцом.

Но больше всего места на кладбище занимал подавлявший все остальное монумент над могилой, открывшейся мне, пока я там сидел: памятник пустоте внутри меня.

Я подошел к надгробию Эйнара и присел на корточки. Погода в Норвике была такая суровая, что даже кладбищенские цветы приходилось закреплять. Перед надгробиями в грунт были вбиты маленькие железные колышки, а к ним прикручены букеты. На могиле дедушкиного брата ветер трепал растрепанный обрывок желтой ленточки. Чуть в стороне по направлению ветра на траве веером рассыпало несколько оранжевых тюльпанов. Сначала я подумал, что их принесло с другой могилы, но потом разглядел среди стеблей ту же желтую ленточку.

Совсем недавно кто-то принес цветы на могилу Эйнару.

Я собрал тюльпаны, связал их в букетик и поднялся. Цветы колыхнулись на ветру, но теперь, казалось, ветер хочет не разбросать их, а

дунуть на лепестки, чтобы распространить семена.

*** * ***

Урчал примус, горя голубым пламенем.

Я устроился на привал с видом на кадр 18b той самой пленки. Поел горохового супа, привалившись спиной к заднему колесу. Отсюда видно было только лодочный сарай у линии прибоя – больше ничего. На склонах холмов блеяли овцы, в остальном же никакой живности не было. Времени было почти одиннадцать часов, и я замерз и устал, как собака. Паромы еще ходили, и конечно, самым разумным было бы погрузиться в машину, заселиться в дешевую гостиницу в Леруике, а наутро отправиться к Агнес Браун.

Моим глазам было на чем отдохнуть. Хаф-Груни. Крошечный островок среди пролива. Что Эйнар на закате перевозил на лодке гробы, вполне соответствовало моим представлениям о нем, но чтобы он там *жил* – не может быть. Однако пересуды поселили его на этом плоском безлюдном острове…

Туман понемногу садился. Я достал «Лейку» и спустился к воде. Нашел заросшую тропинку, которая вывела меня к лодочному сараю. Подошел к нему с подветренной стороны. Низенький сарайчик был сложен из гнейса и крыт ржавыми листами гофрированной жести. Стены уходили на несколько метров в море, чтобы в сарай можно было заплыть прямо на лодке.

Над водой выступало несколько плоских камней – они вели за угол. Я прошел по ним, держась за подвешенный под крышей канат, и обошел торцевой конец. Сарай закрывала огроменная деревянная дверца, растрескавшаяся и размахрившаяся от воды и ветра. Посередине я различил очертания нарисованного облезшей белой краской огромного креста. Море плескалось прямо у моих ног.

А на щеколде висел норвежский, мустадовский, навесной замок.

Я вскочил в машину. Дрожащими руками вытащил из багажника карманный фонарик и связку ключей, найденную в шкатулке.

Оглядел дорогу, прислушался, нет ли кого. Снова сбежал вниз. Ухватился за канат и под плеск волн под ногами подтянулся к дверце.

Постоял не шевелясь. Тело била дрожь.

Ключ скользнул внутрь. Легкий щелчок – и блестящая дужка отскочила кверху. Зажав фонарь под мышкой, я поднял щеколду, отодвинул

дверцу и пробрался внутрь.

Вечерний свет упал на старую гребную лодку, покачивающуюся на воде внутри сарая, в этом замкнутом продолжении моря. Внутренняя часть сарая стояла на сухой земле, образуя своего рода грот едва ли с метр высотой, и там я разглядел что-то белое и продолговатое. Я прикрыл за собой дверцу, чтобы меня никто не увидел, и включил фонарик.

Конус света высветил частично разбитый белый гроб.

Я не знаю, сам ли я закричал или *услышал* крик. Сердце мое забилось, как кролик, который понял, что его зарежут. Свет не двигался по растрескавшемуся гробу, и я не решался пошевелить фонарем, как будто в страхе перед тем, что в темных углах сарая таятся другие ужасы.

Я испугался того, что могу увидеть. Что в гробу окажется полусгнивший труп. Не труп с костями и поеденной червями кожей, но труп, который я никогда не сумею похоронить. Правда, которой мне не вынести.

Я осторожно пробрался мимо лодки. Головной конец гроба был разбит. Боковые доски остались целы, но на стыках расползлись, и весь гроб перекосился. Я сдвинул крышку в сторону.

Рыболовные сети и обломки досок.

Почему бы и не хранить их в гробу? Раз уж он уже сколочен. Как знак различия между освященной землей и возделанной землей…

Формой этот гроб походил на тот, что был сделан для дедушки, но выглядел откровеннее и проще. Его единственным украшением служила тонкая полоса орнамента, напоминающего плетеный шнурок, вдоль крышки. Я посветил фонариком на лодку. Угольно-черная, огромная и грубая, почти как спасательная шлюпка. Для перевозки гробов места достаточно.

Фонарь кругами осветил каменные стены. Выцветшая куртка. Свернутые в бухты канаты. Чумазые канистры из-под мазута, ржавый ручной инструмент. Весла.

Сквозь непрестанные удары волн я расслышал звук автомобильного двигателя, снижающего обороты. Выключил фонарик, вышел наружу и внимательным взглядом посмотрел на дорогу. Сквозь туман просвечивала пара лобовых огней.

Приостановившись ненадолго рядом с «Коммодором», машина прибавила скорости и удалилась.

Чуть позже я раздвинул дверцу пошире, впустив в сарай больше света. Сплошная сырость, у камней плескалось море. Плавно покачивающуюся лодку держало несколько склизких веревок, размахрившихся и

зазеленевших.

Теперь я разглядел слово на передней части корпуса. Сначала мне показалось, что там написано «АТНА», но потом я увидел очертания пятой буквы. Лодка называлась «*Патна*». Видимо, она принадлежала Эйнару. В таком случае она простояла здесь пять лет и не пострадала. Древесина разбухла, и доски плотно прилегали друг к другу. А снаружи лодка обросла ракушками.

Далеко посреди пролива я различал контуры Хаф-Груни. От него до лодочного сарая расстояние было кратчайшим. Если даже остров считается необитаемым, это, может быть, не значит, что он совсем *пуст?*

Ворочать лодку было тяжело: она глубоко сидела в воде и поскрипывала от малейшего прикосновения. Я взял пеленг на выступ, вырисовывающийся на фоне неба, встал так, чтобы Хаф-Груни оказался у меня за спиной, и начал грести. Никогда мне не попадалась такая неповоротливая лодка, но при этом она оказалась просто невероятно устойчивой, так что, может быть, каботажные лодки специально строят такими. Немного строптивыми.

Чем дальше, тем шире раскрывался вид на Анст. На самом краю мыса стояло несколько хорошо освещенных домов, и по мере того, как я отходил дальше от берега, становились видны огоньки других жилищ.

Я скинул обувь и остался босиком, чтобы почувствовать, если сквозь днище вдруг начнет просачиваться вода. Но этого не произошло. Несмотря на то что лодка была крепкой и грубой, я догадывался, что построил ее Эйнар. Самый умелый столяр в нашем роду. Я помнил то несгибаемое упорство, которое ощутил в березовом лесу, постоянное соперничество двух братьев и собственную склонность вставать на сторону Эйнара, когда я сердился на дедушку.

Над водой разнесся рев лодочного мотора. Я поднял весла и осмотрелся. Либо на той лодке не был зажжен фонарь, либо она находилась позади Хаф-Груни. Звук отражался от поверхности воды и окружающих островов, и в какой-то момент мне показалось, что его источник мчится прямо на меня, но потом его направление изменилось, и шум начал стихать. В конце концов я перестал его слышать.

Остров был уже близко. Я снова проверил, в правильном ли направлении двигаюсь, и погреб энергичнее через ночное море.

Хаф-Груни вырос в размерах. Вскоре мне стал слышен плеск волн у прибрежных камней. Сквозь тучи пробилась луна. Издали остров казался плоским, но берег, к которому я приближался, был метров пять-шесть в высоту. Вокруг торчали острые выступы скал.

Нужно найти место поудобнее.

Вскоре я увидел отмель, веслом прощупал дно, закатал штанины и выскочил из лодки. Но она выровнялась на иной манер по сравнению с тем, как я привык, и я неловко плюхнулся в воду, едва сумев достать ногой дно.

Неуклюже двигаясь в воде, я принайтовил лодку, стащил с себя анорак и побрел к острову. Попил из лужицы. Сел на траву.

Накатила усталость.

Рано утром я сошел на берег в Леруике. А теперь сижу здесь. Если так дальше пойдет, подумал я, послезавтра я окажусь на Южном полюсе. Вытащил из анорака размокшую шоколадку. *Вот теперь* можно уже откушать неприкосновенного запаса.

Огоньки на Ансте отбрасывали на морскую поверхность длинные желтоватые пятна света. Дожевывая последнюю дольку шоколада, я видел, как зажегся еще один огонек, послабее. Его свет не достигал моря – должно быть, он зажегся на доме, стоящем в стороне от берега.

Хаф-Груни зарос высокой жесткой травой. Я отошел подальше от воды и вскарабкался на высоченный камень.

Вид на ночь и ветер. Больше ничего.

Я снял с себя брюки, отжал их, хорошенько выкрутив, снова натянул на себя, негнущиеся и липнущие к телу, и пошел собирать плáвник для костра. Меня начал пробирать холод, и я принялся искать местечко, лучше укрытое от ветра.

Если на Хаф-Груни вообще было укрытое от ветра место.

Я обошел весь остров кругом. Ничего, кроме камешков, лужиц, неба над головой и моря вокруг. Я развернулся, двинулся к южному берегу и оказался возле склона, вдоль которого уже проходил, думая, что он кончается крутым обрывом прямо в воду.

Но нет, прямо под собой я увидел крышу дома. Ее плоская форма выделялась на фоне окружающей обрывистой местности, которая, казалось, оставалась такой уже десятки тысяч лет.

Два, нет, *три* маленьких каменных домика. Небольшой сарай для лодок у самой воды.

Ничего этого с Анста не видно.

Я осторожно спустился туда и остановился между домами, а потом подошел к самому большому и порылся в анораке в поисках связки с ключами. Она обнаружилась в комке склеившихся с шоколадной оберткой мокрых бумажных фунтов.

3

Изнеможение или предчувствие толкнули меня постучаться в дверь заброшенного дома и крикнуть: «*Эй?*»

Я не знаю. Может быть, меня окликнул дух Эйнара – его голоса я не услышал, но тем не менее он там был. Я медленно переступил порог. В пустой прихожей мои движения отдавались эхом – в эту ночь я словно ощущал его присутствие.

– Я пришел, Эйнар, – пробормотал я. – Не знаю даже, хотел ли ты, чтобы я пришел. Но думаю, что да. Ты побывал в Хирифьелле, когда мне было три года, и тогда ты обо мне и не знал. Я пришел слишком поздно, но сейчас я здесь. Так покажись мне, как сумеешь.

Окна были закрыты ставнями, и в этой полутьме я продвигался вперед, нащупывая путь протянутыми к стене руками. Ощутил слабый запах копоти, нашел очаг и руками прошелся по кирпичной кладке.

Вот он. На полке. Коробок. Я потряс его. Тот же славный звук, что и в Норвегии. Спички.

Огонек высветил стол и диван. Книжную полку под окном – и больше ничего. Я огляделся в свете гаснущей спички. Чиркнул новой и нашел желтоватую стеариновую свечу, но растопить очаг было нечем. Не было ни кровати, ни хотя бы одеяла. Я замерз и надеялся найти что угодно мягкое и сухое; в конце концов сорвал с окна занавеску и закутался в нее.

Я уже засыпал, как вдруг подскочил на месте.

А лодка-то! Она все еще пришвартована в месте, где я высадился. Я понятия не имел, полная или малая сейчас вода и не унесет ли лодку в море. Я поскорее натянул на себя мокрую обувь, мокрые брюки и мокрый анорак и выскочил из дома.

Лодка покачивалась на волнах перед каменистым берегом, как будто говоря мне: «Добро пожаловать к нам». Промелькнули огоньки одинокого автомобиля на далеком Ансте.

Из последних сил я на веслах обогнул остров. Едва не напоролся на острые камни у причала. Попытался отпереть сарай для лодки, но не нашел ключа и просто причалил ее к двум полусгнившим палам.

В ту ночь мои сны замкнулись в кольцо.

Я стою в большом зале рядом с одетой в платье женщиной. Свет из высоких окон растягивает наши тени на полу. Мы безмолвны. Словно ожидаем, что музыка пригласит нас на танец.

Мы ровесники, и все же она взрослая, а я – нет. Мы обнимаем друг друга, но не ощущаем прикосновений; она для меня будто воздух, и я для нее тоже.

Что-то не так.

Что-то не так с нами обоими.

И тут ее образ начал расплываться. Платье поначалу сохраняло очертания тела, но вот его тонкая ткань стала бесформенной и сплелась в охапку лоскутов. Я подставил локоть и подхватил его за талию – и вот уже стою один с платьем мертвой женщины.

Я проснулся, задаваясь вопросом: этот танец только начинается? Или он никогда не остановится?

Снаружи доносились удары прибоя о скалы Хаф-Груни. Я снова заснул.

*** * ***

Мутноватый свет сквозь щелки в оконных ставнях. Одежда мокрой кучкой на полу.

Я поднялся. Сон еще трепетал во мне. Как запечатлевшийся на сетчатке фантом, медленно пожираемый дневным светом.

Мир вокруг был сер. Солнце пыталось пробиться сквозь эту серость. К сараю для лодок вела заросшая дорожка из нескольких каменных плит, а лодка лежала там, где я ее принайтовил. Ветер утих, но на скалах перед навесом все равно бурлили буруны.

Я открутил гайки-барашки, закреплявшие ставни изнутри, а затем пошел на улицу и снял их. Посмотрел снаружи, как в дом проникает свет, и мне вспомнилось, как я включал лампу в столярной мастерской.

Потом я подошел к входной двери. Взялся за ручку и сказал себе, что я – Эйнар Хирифьелль.

Дверь открылась туго, заскрипев. Едва заметные следы прежней жизни. По низу стены, где дедушкин брат скидывал с себя обувь, ободралась краска.

Стало немного понятно, как проходили его дни. Проснуться в маленькой спальне за кухней, где на грубо сколоченном топчане лежал старый пружинный матрас без простыни. Помятый таз для умывания и зеленый жестяной кувшин. Полотенце, кусок засохшего мыла.

Перевернутый кофейник. Завтрак в одиночестве. В сером сумраке одинокая табуретка у кухонного окна. Вид на птичий базар на соседнем

острове.

Мебель Эйнар сделал сам – по стыкам было видно. Но она была простой, как верстак. В свой собственный дом элегантность и вдохновение он не пустил.

Топил Эйнар торфом. В ящике возле плиты я нашел несколько высохших черных комков. Пол был протерт ногами от кухни до гостиной, где он, должно быть, ложился прикорнуть на диванчик, поставив чашку на низенький столик.

На подоконнике – радиоприемник, популярный в Норвегии в пятидесятые годы. В коричневой плетеной посудине прокуренные трубки. Видимо, все оставалось нетронутым с тех пор, как он умер.

Я сел прямо у входной двери, в полутьме. В дверь задувал ветер.

Эйнар Хирифьелль. Между камнями и морем. Между дождем и ветром. Суровое небо над бесконечно усталым человеком.

Порыв ветра взъерошил мне волосы. Дедушка, видимо, поменял замки после похорон. Но почему он фотографировал с Анста, а не прямо здесь, и почему участок не продали?

Я замерз. В прихожей я нашел вылинявшую серо-зеленую куртку. Надел ее, а также заляпанные маслом рабочие штаны и потрескавшиеся бледно-желтые резиновые сапоги. «*В остальном он был весь жалок, оборван*, – сказал пастор. – *В уродливых желтых резиновых сапогах*». Я побродил по крохотному дворику. Все равно что набрести на огороженное пастбище и вдруг узнать, что оно принадлежит кому-то из родственников. Наполовину мое, наполовину чужое.

Нужно найти ключ от сарая, сказал я себе. Затащить туда лодку. Чтобы меня не засекли. Не придется точить лясы. Не придется слушать, что остров вообще-то мне не принадлежит.

Под водосточными трубами стояли деревянные бочки, полные дождевой воды. Я нагнулся к воде и начал пить – выплевывал ниточки водорослей и все пил, пил… Тут я услышал лодочный мотор.

Я поскорее присел на корточки. Надеялся, что это просто рыбак проплывает с другой стороны острова. Но рев мотора усиливался, и вскоре я уже разглядел нос лодки, огибавшей выступающую скалу. Перед «*Патной» она остановилась*, покачиваясь на волнах.

*** * ***

Она стояла, опираясь коленом на банку и положив руку на румпель

маленькой обшарпанной деревянной лодчонки со старым подвесным мотором в сорок лошадиных сил. Моего возраста, в стеганом жилете. Она заметила «*Патну*», убрала рукой волосы со лба и взглянула в мою сторону.

Когда я поднялся во весь рост, она вздрогнула. Но не поприветствовала меня – просто стояла и смотрела. Будто перед свежеокрашенным домом, раздумывая, хорошо ли получилось. Потом дала газу и направила лодку по широкой дуге, так что солнце светило ей в спину, когда она повернула к берегу. Причалив возле сарая, сошла на берег.

От травы вокруг нее поднимался пар. Девушка была не особенно высокой, немного грубо сложенной, с темно-каштановыми кудрявыми волосами. Внешность, не приметная в толпе. Но что-то витало вокруг нее, появившейся из блистающего моря. Она приближалась без улыбки и, остановившись в паре метров от меня и спросив, что я тут делаю, тоже не стала улыбаться.

– *Came yesterday evening*[15], – ответил я.

– Знаю, – сказала она. – Я спросила, что ты *делаешь* здесь?

Звонкое «р». Долгие и глубокие «о». Не такие, как на диалекте Шетландских островов. Шотландия, она говорила, как говорят шотландцы. Голос не соответствовал ее лицу. Она выглядела беззащитной, а голос был как у директора банка.

– Приглядываюсь, – ответил я.

– *Is that so-o-o*[16], – она сделала шаг поближе, – вы в Норвегии называете полночь вечером?

Я стал подыскивать слова. Неправильно было сказать «*evening*»? Нужных слов я не нашел и спросил:

– *What do you mean?*[17]

– Ты приплыл сюда уже после двенадцати. Я гуляла и видела, что ты уже на полпути сюда.

– Откуда ты знаешь, что я норвежец? – поинтересовался я. – По выговору?

– Н-ну-у, – протянула она, проходя мимо меня. – Ты разговариваешь, как врач-иностранец.

– И поэтому ты догадалась, что я норвежец?

– Нет, – сказала девушка и перевела взгляд с меня на строения. – Потому что на Ансте возле сарая для лодок стоит автомобиль с норвежскими номерами.

Взгляд ее карих глаз был тверд, словно они были созданы, чтобы мерить взглядом, а не восхищаться. У нее была манера чуть прищуривать

их перед тем, как сказать что-нибудь. Когда я рассказал ей, что Эйнар мой родственник, она как будто расстроилась, но это впечатление тут же рассеялось.

– Ты же мог подождать рассвета, – сказала девушка. – Попросить кого-нибудь перевезти тебя на нормальной лодке.

Я пожал плечами.

– Так почему ты поплыл ночью? – допытывалась она.

– *To let the river run its course*[18], — сказал я.

Незнакомка усмехнулась, но снисходительно, показывая, что моя реплика неуклюжа, но все же приемлема. Может быть, я выразился глупо и помпезно. Врач-иностранец вряд ли сказал бы так.

– А ты, – спросил я, – ты здесь часто бываешь?

Она передернула плечами и неспешно двинулась к дому, не глядя, следую ли я за ней.

«И что теперь? – подумал я. – Сесть и сделать вид, будто я очень занят?»

– Бываю иногда, – сказала она, когда я нагнал ее. – Хожу по берегу с корзинкой, смотрю, может, выбросит что интересное приливом.

– Ну и часто выбрасывает?

– Случается, – кивнула девушка. – Но ты в корзинке не поместишься.

Бедра у нее были широкие, и брюки туго их обтягивали. Ляжки толстые, грудки маленькие, но лицо чувственное, а ее самоуверенная манера держаться заставила меня поплестись за ней. Как только секундой позже я осознал, что произошло, то ужасно разозлился на себя.

– А чей этот остров? – поинтересовался я, когда мы подошли к дому.

Девушка нахмурилась, разглядывая кованый ключ в двери, – вся связка раскачивалась на ветру.

– Ну, *теперь*, – пояснил я. – когда он умер.

– Этот остров принадлежит семье Уинтерфинчей, – сказала она. – И всегда принадлежал.

– Они живут на Ансте?

– В Эдинбурге. Иногда приезжают на лето.

– Ты их знаешь?

– Все знают семью Уинтерфинчей, – равнодушно произнесла девушка и прищурила глаза, разглядывая прихожую. Сделала шаг назад, не оборачиваясь, и показала на крышу. – Знаешь, зачем ее так укрепили?

А я и не заметил. Покрытием служила толстая каменная плитка, затянутая сверху металлической сеткой.

– Сетка защищает от брызг, – сказала моя собеседница. – Чтобы

плитку не сорвало. Интересно, как тут бывает в шторм. Наверное, самые высокие волны бьют под самые окна.

Она стояла так близко, что я прочитал выпуклые буквы у нее на пуговицах. «*Кордингс*». Я никогда не слышал о марке «Кордингс», но у меня появилось подозрение, что это было не дешевле «Лейки». Я пытался зацепиться за что-нибудь в этой девушке, что как-то объяснило бы мне ее. Она казалась старше меня, но не прожитыми годами. Будто была из другой эпохи.

Наконец я нашел подходящее понятие. Она была *леди*. Спокойные и решительные движения, элегантная манера, с которой она вышла из лодки, легкая избалованность, скрывающаяся за сдержанным выражением лица.

Она подошла к одной из хозяйственных построек. Подергала навесной замок.

– Как это вышло, что у тебя есть ключи?

– Дома были, – сказал я. – Наверное, мой дедушка сменил замки, когда приезжал сюда похоронить его.

– Я думаю, они здесь годами не появлялись, – заметила местная жительница. – Я о Уинтерфинчах.

– Эйнар арендовал у них остров? – уточнил я.

– Можно и так сказать, полагаю. Почему ты ходишь в его одежде?

Сразу дает отпор. Отвечает вопросом на вопрос. Знать, девушке приходилось постоять за себя, а один из ее приемов – дать другому почувствовать себя простаком.

– Свою промочил, – объяснил я. – Больше не нашел ничего.

– Неудивительно. Он в этой одежде и ходил.

– Так ты его знала? – вырвалось у меня. – Ты знала Эйнара?

Она повторила его имя. Произнеся его как *Аайнарр*.

– Я его иногда видела, когда была младше. *An unken body.*

Тут она сообразила, что я ее не понимаю.

– *Unken.* Чудак. Одиночка, – пояснила она. – С такими не водят знакомство.

– Я тут говорил с одной женщиной, – сказал я. – Суеверные люди вроде бы считали, что тут живет дьявол. Мол, когда наступало время кому-нибудь умереть, он перевозил через пролив на гребной лодке гроб.

– Не дьявол. *Смерть*.

– Смерть?

– Да. Из-за гробов. *Аайнарр* делал гробы. Отвозил их на лодке на Анст, а оттуда похоронное бюро Леруика переправляло их дальше. Эта небылица возникла из-за того, что поначалу у него была совсем маленькая лодка, и

гроб в ней помещался только внаклонку, так что один конец высоко выступал над бортом. Местные-то понимали, что это не один и тот же гроб он перевозит, а вот приезжим это было в диковинку. Ну а потом он себе эту раздобыл, – сказала девушка и посмотрела на «*Патну*». – На ней места для гроба больше чем достаточно.

– А друзья у него были? – спросил я. – Или он только с сотрудниками похоронного бюро имел дело?

– Я и вправду понятия не имею. – Моя собеседница неспешно двинулась к лодке, но остановилась, не подходя близко, будто что-то останавливало ее. – Вероятно, построена она была для лова сельди.

– Это как?

– А вот смотри, как она грубо сколочена. Это чтобы ее не разбило, когда надо пристать к борту большого корабля. Китобои тоже на таких ходят. Типичная конструкция для лодок подобного размера на Шетландских островах. Здесь, на Ансте, сотни таких разом оказались ненужными, когда сельдь прекратили ловить в прежних объемах.

Девушка не отрывала взгляда от лодки.

– Подумать только, что он умер под ней, – добавила она.

У меня кольнуло в груди. Не только от того, что она сказала, но и потому, что я и не задумывался о том, как умер Эйнар. Представлял себе, что он заснул, как дедушка, и его душа покинула тело.

– Ты что, не знал? – удивилась моя собеседница, отступив на пару шагов.

Я покачал головой.

– Так он тебе *родственник?*

– Ну, разумеется, – сказал я. – Но он и мой дедушка с войны не разговаривали друг с другом.

– Почему?

– Они… – Я замолчал, а потом попросил: – Расскажи, как он умер.

Девушка плотнее запахнулась в жилет.

– Пять лет назад мимо проплывал рыбак. Увидел, что лодка вытянута на берег. Подумал, что *Аайнарр* занимается ее починкой. Но когда рыбак возвращался с уловом, лодка лежала вверх килем, а над ней на ветру раскачивались стальные тросы лебедки. Оказалось, лодка опрокинулась и упала на него.

У меня все сжалось внутри. Мне казалось, я слышу удар. Дерева о камень. Дерева о кости. Больше никого на острове. Потом только ветер. Заунывный траурный марш по Эйнару Хирифьеллю.

Я вдруг ясно представил его себе. Паренька, для которого Хирифьелль

тесен. Выращивающего лес свилеватых берез. Доверенный мастер в мебельном ателье мирового класса, которого посылали в Африку, чтобы добыть там лучшую, *самую лучшую*, древесину бубинги.

– Так он умер в одиночестве? – переспросил я.

Просто чтобы не молчать. Во мне вспыхнули сочувствие и преданность, но их не на кого было обратить, и они походили на птицу, бьющуюся о стены в запертом доме.

– *Аайнарр* всегда был в одиночестве, – сказала девушка. – Это уж я могу сказать. Люди привезли пастора. Лодку снова спустили на воду.

Я невольно искал глазами пятна крови на камнях, хоть и знал, что их смыло первым же дождем после смерти Эйнара. Прямо под ватерлинией я разглядел шляпки латунных гвоздей. Следы починки. Последние удары молотком мастера-краснодеревщика.

Я отбросил эти мысли.

– Почему его считали… как ты его назвала?

– *Unken body?*

– Да, именно.

Моя собеседница пошла к своей лодке. Только когда мы отошли от «*Патны» на приличное расстояние,* она сказала уже гораздо мягче:

– Не люблю плохо говорить о людях. Но он уже умер, и раз уж ты спрашиваешь…

– Да?

– О нем рассказывали одну историю. Будто он убил целую семью во Франции.

– Убил? Зачем?

– Да от жадности. Вроде речь там шла о чем-то, что стоило целое состояние.

*** * ***

Умирает человек. Оставляет после себя инструменты, книги и одежду. Но он оставляет и другие следы.

В одежном чуланчике я нашел коробку патронов для дробовика. Вероятно, чтобы стрелять время от времени морскую птицу. Самого ружья не было. На книжной полке лежали несколько пожелтевших номеров газеты «Афтенпостен» конца семидесятых. Стихи Улава Хауге. Несколько старых романов на французском. Один из них был зачитан так, что обложка протерлась до тканевой основы: «*Лорд Джим*» Джозефа Конрада.

Под романами была полка со словарями. Французские, конечно, но кроме них еще и чуть ли не всех европейских языков. Польский, венгерский, немецкий, чешский, румынский… Изданные сразу после войны. Я достал французско-русский «*Словарь Ларусса*». Хорошо послуживший, в потрепанной обложке. Но никаких записок, никаких пометок на полях.

Я выглянул в окно. Волны, поднятые лодкой местной девушки, улеглись. И хотя я и был рад компании, я с нетерпением ждал, когда же она уйдет. Она так хорошо знала тут все, и даже мельком оброненные ею слова говорили о том, что у меня нет права находиться в этом месте. А ведь ключи были у меня. Ключи посланца мертвых на Хаф-Груни.

Радио затрещало, когда я повернул выключатель. Сквозь этот треск проступил голос.

– *А теперь прогноз погоды на участке побережья от Линдеснеса…*

Аккумулятор продержался несколько секунд, а потом голос метеоролога пропал, сменившись постепенно утихшим свистом. Колесико настройки было закреплено намертво. Радио оказалось навечно настроено на норвежское государственное вещание на длинных волнах.

От голода у меня кружилась голова. В кладовке я нашел несколько заржавевших консервных банок. «*Jenkins' Cod Cakes*». Может быть, Эйнар собирался поужинать ими, но тут на него опрокинулась лодка.

Во мне все еще отзывались слова девушки. «*Да от жадности*». Наверное, это было как-то связано с наследством.

Я растопил плиту. Торф плохо разгорался, но я все же согрелся. Вскипятил воды и вывалил туда рыбные фрикадельки. Сел, глядя в окно.

«Я думаю, Эйнар знал, как погибли твои родители, но не хотел рассказывать об этом», – сказал старый пастор.

Может быть, я сидел на кухне убийцы мамы и отца. Но я хорошо знал, как распространяются сплетни. Обрастая все более страшными подробностями. То, что случилось на самом деле, едва разглядишь в тени.

Я вышел наружу. Несмотря на то что с Анста дом не был виден, а на обрывистом берегу Фетлара жили только птицы, во мне жило ощущение, что за мной наблюдают, то ли издали, то ли совсем наоборот. Будто изнутри за мной следил глаз, принадлежащий кому-то наблюдающему за мной и мне неизвестному.

Мы с той незнакомой девушкой не назвали друг другу своих имен. Но она рассказала, что выросла на Ансте и учится в Англии, а сюда приехала на летние каникулы.

– Завтра утром загляну, – пообещала она, – посмотрю, как у тебя дела.

Не проболтаюсь, что ты тут хозяйничаешь.

Девушка завела навесной мотор, но тут же остановилась.

– Ты осторожнее, – сказала она, кивнув на лодку Эйнара. – Здесь шторм может налететь в пять минут. Слышал, что случилось тут с двумя девушками в тысяча семьсот сорок пятом году?

Я покачал головой.

– Они вышли отсюда на веслах и поплыли туда, – сказала местная жительница, показав на соседний остров. – Он называется Уйея. Тут поднялся ветер, их унесло в открытое море и прибило к берегам Норвегии.

Она рассказала, что в те времена на Хаф-Груни выпускали пастись коров. В море девушек унесло на обратном пути отсюда, и они выжили, потому что у них было с собой молоко. Шторм пронес их через все Северное море, и они выбрались на берег острова Кармёй. Вышли там замуж, родили детей.

– Поэтому, – сказала моя собеседница, – если собираешься пересечь пролив со стороны Хаф-Груни, смотри в обе стороны, как когда перебегаешь шоссе. Заскакивай в лодку и греби что есть силы. А то придется тебе жениться на острове Кармёй. А было бы жаль.

Тут она наддала газу, выровняла лодку и взяла курс на Анст.

Я продолжил поиски, но мои мысли постоянно возвращались к ней. «*Но ты в корзинке не поместишься*». Она произнесла так задорно, будто эхо отбросила.

Притяжение принимает разные обличья. В этой девушке оно проявлялось в форме уверенности в себе. В ее манере держаться, будто она не знающий сомнений посланец, за спиной которого сотни невидимых боевых кораблей.

Я не мог разобраться в своих чувствах. Незнакомка пробудила во мне нечто, наличия чего я в себе и не подозревал. Потребность показать, кто я такой на самом деле, дать понять, что я умею многое, а не только переминаться в желтых резиновых сапогах перед каменным домишкой, с трудом подыскивая слова.

Я отпер одну из хозяйственных построек.

Ручные орудия для обработки земли. Лопата и вилы. Лом и кувалда. Ржавая стальная проволока, неровная после многоразового скручивания и распрямления. В вилах недостает зуба, мотыга насажена на самодельный черенок. Должно быть, Эйнар выращивал овощи для себя. Чтобы не заболеть цингой.

У стены громоздился штабель торфяных брикетов размером с кирпич, черных и жирных. Если не считать радио, на острове не было ничего,

изобретенного после 1900 года.

И еще кроме странного сооружения в углу. Прикрученного к деревянной паллете мотора от мотоцикла «Нортон». Между двух бегунков натянут обтрепавшийся приводной ремень, исчезающий внутри динамо-машины. Самодельный электроагрегат. Оттуда по полу был пущен провод, протянутый наружу через отверстие в стене. Я прошел вдоль него до другого сарая и отпер его.

*** * ***

Его столярная мастерская. Оборудованная так же, как в Хирифьелле. Токарный станок установлен на том же месте, ручные инструменты на инструментальной доске расположены так же, и точно так же обрисованы карандашом их силуэты. Те же пометки на пузырьках с льняным маслом. Облезлые кисти в стеклянных банках со скипидаром. Шурупы и гайки в круглых жестяных банках от табака. Эйнар курил только трубочный табак марки «Данхилл Эрли Морнинг».

Вскоре я заметил, что эта мастерская все же отличалась от мастерской на хуторе. Все вещи стояли на тех же местах, но обставлена она была *строже*. Стамески висели настолько ровно, что казались насечками на линейке. Лекала для фрезеровки были уложены, словно дорогие фарфоровые тарелки в буфете богатого дома. Ничего случайного, никаких деревянных фигурок, ни следа задора, который демонстрировали эскизы Эйнара дома: там он не изобразил ни одной детали, не попробовав по-разному видоизменить ее.

Я вытер пыль со столярного верстака. Мне и самому были знакомы душевные терзания, и я пытался справляться с ними, занимаясь тяжелым трудом. В таком суровом спартанском жилье не было места для разгула фантазии, для радости творчества. Это был алтарь искупающего вину.

За что он наказывал себя? Похоже, столярничанье не было его целью. Сосредоточившись на сложной работе, он отгонял от себя тяжелые мысли. Ток от агрегата давал свет для работы и приводил в движение станок и те инструменты, которые невозможно было использовать, применяя только силу рук. И всё. Он даже в жилой дом не провел электричество.

На стеллаже у другой стены хранился материал – дуб, сосна и множество не знакомых мне пород. Ящик обрезков темной древесины, треснувший ружейный приклад. У самого пола – светлые, почти светящиеся доски.

Я взял рубанок, закрепил заготовку в станке и прошелся по ней несколько раз, глядя, как скручивается спиралью стружка. Смочил слюной большой палец, потер им поверхность и стал смотреть, как проступает узор.

Свилеватая карельская береза. Хирифьелльская береза. Вспыхнули годовые кольца, но не сразу – жидкость впитывалась в дерево секунду, а то и дольше. Казалось, от моего пальца зажигались огоньки.

Я попробовал представить себе, как Эйнар работал. О чем он думал.

Первое у меня более-менее получалось. А вот его *мысли* оставались большой черной дырой.

А ведь это была его жизнь. Каждое утро просыпаться у моря, где погода меняется ежечасно. Жизнь с трубкой «Данхилл Эрли Морнинг» и с тайной.

Я снова попытался *увидеть* его внутренним взором, будто держа в руках «Лейку» и пытаясь разглядеть ту самую мелкую подробность, которая открыла бы мне, что это за человек. Этот каменистый островок в морской пучине, ежедневно терзаемый дождями и штормами. Эта уютная мастерская, освещенная желтым светом лампы, согретая маленькой металлической печью.

И один Эйнар Хирифьелль среди всего этого.

Я стал искать дальше. Отодвинул деревенский лоскутный коврик, поднял люк земляного подпола на кухне, заглянул за шкафы, поискал, не отходит ли какая-нибудь доска, но ничего не нашел. И только вернувшись в столярную мастерскую и переставив несколько ящиков с лаком и олифой, обнаружил связку писем. Адресованных мне.

Эйнар посылал мне письма на каждый мой день рождения и к каждому Рождеству. А дедушка упорно отправлял их назад.

Изящный почерк, знакомый мне по парижским записям, стал размашистее и жестче, но остался таким же ровным, как будто дедушкин брат, закончив предложение, проводил скальпелем по линейке, обрезая верх и низ строки. Иногда он писал мое имя на французский манер.

«Желаю тебе, Эдуар, счастливого Рождества и веселого Нового года. Надеюсь, подарок тебе понравится. Всего тебе наилучшего в 1976 году. Привет от Эйнара».

Подарок. Никогда я не получал никаких подарков.

Каждый год он писал примерно одно и то же. Бесстрастные слова, ни намека на что-то общее между нами.

Под шкатулкой лежало нечто, завернутое в порванную блестящую бумагу. Сквозь прорехи был виден узор в клетку. Шахматная доска. На

петлях посередине, с местом для фигур внутри. Белые клетки из свилеватой березы, черные из грецкого ореха. Соединения подогнаны точь в точь, дерево навощено до блеска. Вдоль продольной стороны вырезаны буквы – так ровно, что они могли бы составить строку в печатной книге.

«Эдварду от Эйнара в день конфирмации».

На оберточную бумагу был сверху наклеен бланк с адресом и норвежскими почтовыми марками. Посылка была отправлена назад из Саксюма 12 апреля 1982 года.

Имя Эйнара, написанное дедушкиным почерком.

«Эйнар Хирифьелль

Хаф-Груни, Шетландские острова».

Внутри шахматной доски, среди фигур, лежали три газетные вырезки. Когда я вынимал их, на пол вывалился прямоугольный кусочек картона.

Французское удостоверение личности, выданное в 1943 году оккупационными властями. Оттиск свастики на прикрепленной скобками фотографии на паспорт. Эйнар, каким я его помнил по фото из найденного дома конверта. Забавная прическа у него тут – боковой пробор, а на лбу плоские завитки.

Но имя человека на фотографии было не Эйнар Хирифьелль. Его звали Оскар Рибо, он родился в Париже, а по профессии был *ébéniste* – столяр-краснодеревщик.

Рибо. Я видел это имя раньше. На отпечатке записки, которую Эйнар написал маме в кабинете пастора. Рядом с именем Изабель Дэро.

Я еще раз посмотрел на фотографию. Это *точно* был Эйнар. Вопрос, почему здесь его звали Оскаром Рибо, вскоре уступил место более насущному. А именно, зачем Эйнару было хранить здесь, на Хаф-Груни, вырезки из французской местной газетки, «Ле курье пикар», за сентябрь 1971 года. За дни, следующие после смерти моих родителей.

Заголовок «*Touristes décédés à Authuille. Un enfant disparu» тянулся через три столбца. «*В Отюе погибли туристы. Пропал ребенок».

Я читал новость о смерти мамы и отца. Я читал о том, что тогда произошло, с точки зрения местного журналиста, не имевшего представления о том, что потом будет напечатано в «*Событиях года: 1971»*. Это был пятничный выпуск газеты, еще суток не прошло после их гибели.

«Вчера утром был объявлен в розыск трехлетний ребенок, пропавший в окрестностях Отюя. Тела его погибших родителей, туристов из Норвегии, были обнаружены в лесистой местности к северу от деревни. Они утонули в одной из многочисленных запруд на реке Анкр. Осмотр тел позволяет предположить, что они наткнулись на один из неразорвавшихся

газовых снарядов и упали в воду, потеряв сознание. Ребенок, мальчик, предположительно потерялся до или после этого, и вчера на его поиски вышло множество людей.

Несчастье случилось ночью или ранним утром. Повсюду в лесу установлены щиты, предупреждающие об опасности, и остается непонятным, почему пострадавшие оказались в этом месте. То, что находиться там опасно, всем известно: в нынешнем году это уже третий случай в нашем округе, когда неразорвавшиеся снаряды времен Первой мировой войны привели к человеческим жертвам».

Последняя вырезка из субботнего выпуска. В ней сообщалось, что, когда газета была подписана в печать, меня все еще не нашли. Приехал родственник из Норвегии и опознал погибших.

Дедушка, видимо, взял с собой наши фотографии. Потому что в газете был снимок, на котором я стою перед амбаром в Хирифьелле. На другом фото была женщина в полицейской форме. Подпись под этим снимком сообщала, что ее зовут *Ж. Берле,* а в самой статье она рассказывала, что поисковики со специально обученными собаками искали норвежского мальчика с пятницы, беспрестанно, безрезультатно, в том числе и на дне реки – там, где утонули его мать и отец. Искать было трудно, сказала она, вода мутная от ила, а в лесу земля скрывает снаряды.

Последняя вырезка была из вторничного номера, когда все уже закончилось. Во всяком случае, для поисковиков.

«Пропавшего норвежского ребенка обнаружили в понедельник утром в приемной врача в прибрежном городке Ле-Кротуа. В полиции предполагают, что ребенок был похищен, но не раскрывают подробностей расследования. Объяснений тому, как мальчик очутился так далеко от места исчезновения, не выдвигалось. Состояние ребенка не вызывает опасений, на нем обнаружено лишь несколько мелких ссадин».

Меня пронзила дрожь. Словно все произошло заново. Я-то воображал, что Анкр – большая и чистая река вроде Лаугена, но теперь мне явилась окончательная истина. Смерть застала моих родителей в стоячей илистой воде. Вот как было дело.

Сначала я попробовал убедить себя, что все объясняется безобидно: что Эйнар услышал о их смерти и поэтому заказал французские газеты. Но страницы смялись и пожелтели, по краям размахрились, а заметки были жирно обведены шариковой ручкой.

Он там бывал. Главное, искал ли он что-то или бежал от чего-то?

Или это он убил их во Франции…

«Лес к северу от Отюя». До сих пор я думал, что они погибли на

открытом месте, на заповедном поле боя, сохраняемом как музей под открытым небом. Но если верить газете, это была густая чащоба.

Может быть, на похоронах мамы и отца дедушка не просто в сердцах помянул *проклятый лес*. Этот лес должен существовать в действительности. Где-то недалеко от Отюя.

Я отогнал от себя эти мысли. Продолжил поиски – нашел ключ от сарая, расчистил место между бухтами видавших виды канатов с дырявыми сетями и затащил «*Патну» внутрь*. Погода все время менялась. Тепло сменилось сильными порывами ледяного ветра, поднялась крутая волна. Часом позже ветер утих и засияло солнце. Прошел грибной дождик. Потом ливень в три ручья – и снова солнце.

Время от времени проплывала рыбачья лодка, но всегда с другой стороны острова.

Я снова зашел в столярную мастерскую и долго стоял, разбираясь в своих предчувствиях и прикидывая возможности. Мог ли хозяин этой мастерской убить моих отца и мать?

В первую секунду эта мысль вызвала к жизни мстительность, в следующую – жалость.

Пастор сказал, что Эйнар стал верующим. «*Его вера была твердой, как камень, исполненной муки и раскаяния*».

Но ведь к пастору он явился уже в 1967 году, подумал я. Эйнар терзался раскаянием задолго до встречи с моей матерью, а значит, *до* ее гибели в 1971-м.

«*Да от жадности*».

Я не нашел и следа жадности на Хаф-Груни. Монастырь какой-то.

4

Я поднял весла и посмотрел в сторону анстского берега. Она должна жить где-то недалеко. Если, конечно, не привыкла к очень дальним полуночным прогулкам. «*Этим летом буду здесь*», – сказала она. Живет дома с родителями, наверное. Мне совсем не хотелось стучаться в дверь, чтобы ее родители мне открыли. Кроме того, я не видел дома, который подходил бы ей, – только жилища старых холостяков, у которых в саду стоят бочки с дизельным топливом и ловушки на краба.

«Патна» скрипнула. Было все еще противно пользоваться лодкой, задавившей Эйнара насмерть. Пока я подгребал к сараю и затаскивал туда лодку, надо мной кружило несколько чаек. Я открыл «Коммодор», натянул на ноги сухие кроссовки и пристроил «Лейку» через плечо.

Погода снова поменялась. Дневной свет вдруг резко потерял яркость, будто солнце обернули в пергаментную бумагу. Землю окутал молочно-белый туман. Он то сгущался, то редел, пропуская на несколько минут ослепительно-сухие солнечные лучи, и я уже не чувствовал связи между местами, которыми шел. Постоял минутку возле развалин каменного дома, а в следующую минуту уже оказался на тесной дорожке между забором и дорогой. Мимо с ревом промчался оранжевый «Воксхолл».

Время от времени я брал «Лейку» в руки и делал снимки. Но я больше не чувствовал в себе прежней неодолимой тяги, гнавшей меня по миру, чтобы ловить его в аппарат, и подсказывавшей, что ничто не должно остаться незапечатленным. Все, что попадалось мне здесь, было так переменчиво, и мне теперь почти *не хотелось* узнать, что из этого настоящее, а что – нет. Мне не хотелось, чтобы проявочная эмульсия хранила готовый ответ. Который ждал бы меня по возвращении домой и, может быть, противоречил бы тому, что я предпочел запомнить.

Но вот я увидел кое-что. В кристально четком проблеске между ватными облаками тумана. Деревянный дом. Первый, увиденный мною на Шетландских островах. Высокий и просторный, трехэтажный, стилем резко отличающийся от своего окружения. Плоская крыша, большие окна. Выкрашенный в светло-желтый цвет фасад обрамляли высокие колонны, а широкая лестница, защищенная от непогоды застекленной надстройкой, заканчивалась широкой двойной дверью из сияющей коричневой древесины. Вокруг участка тянулась высокая кованая ограда, покосившаяся и ржавая. Вид из самых верхних окон был, должно быть, великолепен: ведь

дом стоял на самом краю утеса, нависающего над морем.

Я подошел поближе, и когда туман снова на мгновение разошелся, увидел, что в доме никто не живет. Трава вокруг выросла высокой и густой. Два окна были разбиты, боковая дверь забита досками.

Когда я толкнул кованую калитку, она заскрипела. Когда-то дом окружала широкая ровная рамка белого, как мрамор, щебня, но теперь края неряшливо заросли травой. Каменные ступени крыльца расползлись в стороны, и в щели между ними проросли кустики.

Теперь ясные промежутки стали длиться дольше. Я запрокинул голову и посмотрел на верхние этажи. Дом был таким большим по площади – вряд ли во все его внутренние помещения попадает свет.

Тут меня как будто что-то толкнуло. Неприятное ощущение, что я, поддавшись азарту, позволил себе лишнее. Я обернулся. На гребне горы позади меня стояли глазевшие в мою сторону мужчина с мальчиком. Фермеры. Резиновые сапоги, плащи, пастушья собака на поводке.

Я кивнул им и поднес «Лейку» к глазам, якобы занимаясь делом. Но им было все равно, и они пошли себе дальше.

Как быстро распространяются слухи в таком месте, как это? Со скоростью ветра. Быстро, во всех направлениях, всем. Все, должно быть, проходили мимо синего «Опеля Коммодор» с норвежской регистрацией. Гребная лодка покойника снова спущена на воду. Кто-то хозяйничает на острове, который десятилетиями заселял *an unken body.* А теперь этот *кто-то* заявился шпионить сюда.

Я подошел ближе к стене дома и двинулся вдоль нее. Я шел, и рев океана все усиливался. Вскоре мне не стало слышно своих шагов, а когда я свернул за угол, грохот стал оглушающим. В тридцати метрах подо мной волны бились о скалы.

И тут сзади меня возникла она.

– Ты откуда взялась? – удивился я.

Девушка не ответила и только показала большим пальцем, что нам надо возвращаться.

– *This is private property*[19], — сказала она, когда стена приглушила грозный шум волн. Сегодня на ней был новый жакет, несколько строгий, серо-зеленый твидовый жакет с красной подкладкой снизу воротничка и с глубокими вытачками на пояснице, туго обтягивавший попу. Сегодня она торопилась и застегнула жакет на ходу.

– Это что за дом? – спросил я.

– Это не дом. *It is Quercus Hall.*

– *Квэ…* как?

– *Квэркус*. Дуб. Каркас сложен из дуба.

– Ты живешь *здесь?*

Она покачала головой и продолжила идти, пока мы не подошли к калитке.

– *I am just taking care of the house*[20], — сказала она, запирая за нами. – Он принадлежит семье Уинтерфинч.

Я обернулся – хотел еще полюбоваться огромным исхлестанным непогодой домом.

– А где живешь *ты?* – поинтересовался я. – Раз уж ты увидела меня здесь.

Она покосилась на тропинку в траве. Та вела к маленькому каменному домику, окруженному стеной из гранитных плит.

– Почему ты вчера не сказала, что живешь на их земле? – задал я новый вопрос.

– Посторонним такие вещи не выкладывают, – сказала она. – Мне разрешено пользоваться домиком и лодкой в обмен на то, что я присматриваю за большим домом.

На запястье у нее были старинные мужские часы, и теперь она бросила на них нетерпеливый взгляд.

– Что люди говорили об Эйнаре? – продолжил допытываться я. – Или, точнее, в каком это году он якобы кого-то убил?

– Я больше ничего не знаю, – сказала девушка. – Мне надо в Леруик. Успеть на автобус.

Точно как вчера, она двинулась дальше, не посмотрев, иду ли я следом, и точно как вчера, я поплелся за ней.

Что-то тут было не так. Из того, что она сказала. Что-то уже шипело, как подожженный запал. Так бывает в горах. Чувствуешь поблизости, еще не видя его, оленя-вожака с огромными рогами, и внезапно он оказывается рядом, когда меньше всего этого ждешь. А сезон не охотничий, и в магазине карабина нет патронов, так что единственное, что ты уносишь с собой, это *встряска*.

– Могу подвезти тебя в Леруик! – крикнул я ей вслед. – Если хочешь.

*** * ***

Ее звали Гвен Лиск, а в Леруик ей нужно было, чтобы купить пластинку группы «Ранриг» «*The Cutter and the Clan*». Она выросла на севере острова, но ее родители несколько лет назад уехали отсюда. Как я

понял, раньше Уинтерфинчи приезжали сюда на лето, и она тогда убирала в доме, стирала и покупала продукты. *Теперь* ее единственным постоянным заданием оставалось время от времени обходить чердак с фонариком и сообщать, не потекла ли крыша.

– Ну и, понятно, это надо делать в дождливую погоду, – сказала она, когда мы уже стояли на пароме. – А дождь идет каждый день. Я люблю дождь.

– А что ты изучаешь, когда живешь на большой земле? – спросил я.

– Экономику. *Numbers and figures*[21].

Когда Гвен рассказывала о себе, ее предложения сокращались наполовину. Когда мне было трудно понимать ее, она не пыталась объяснить диалектные слова. Но, как я понял, жила она в Абердине.

– Ну, и как они? – продолжал я расспросы. – Уинтерфинчи. Почему они сдавали жилье Эйнару и почему ничего не сделают с домами?

– *Слушай*, – сказала моя спутница, – я не могу обсуждать работодателей. *It is not done*[22].

Мы съехали с парома «*Гейра*», и на полпути, в Йелле, воздух стал сырым и холодным. Не спрашивая разрешения, Лиск повернула выключатель обогревателя на полную мощность, сдвинула сиденье назад и стянула с себя твидовый жакет.

Теперь ее тело было видно лучше. Бледное, слегка бесформенное, но когда она поворачивалась на сиденье, в его изгибах сквозила такая жадность, что я поймал себя на том, что не могу оторвать от нее взгляд. И эти ее узкие глаза, в которых читалось абсолютное равнодушие к чужому мнению… Она производила впечатление обладательницы острого ума.

«Куда меня тянет?» – спросил я себя.

На пароме «*Бигга*» мы купили шоколада в автомате. На стене висела афиша с объявлением о выступлении на Фетлар танцевального ансамбля «*Hjaltadans*» под музыку фольклорной группы «*Fullsceilidh Spelemannslag*».

– У нас в Норвегии это так же называется, – сказал я. – Но это не мое.

– Танцы?

– Никогда, – покачал я головой и снова почувствовал себя дураком.

– Тебе бы побывать здесь во время Ап-Хелли-Аа, – сказала девушка, вытаскивая плоскую красную пачку сигарет с мордочкой маленького черного котика на обертке и этикеткой «*Крейвен А*».

Она предложила и мне, вот я и стоял с шоколадкой в одной руке и сигаретой в другой. Ну, что, наверное, Гвен была моей ровесницей. Двадцать пять лет максимум. Куря, она всегда прижимала локоть к телу. С

каждой затяжкой переводила глаза к горизонту, а потом подносила руку к плечу, каждый раз одинаковым движением, так что тлеющий огонек показывал назад. Позитура, заставлявшая немного выпятить бедро.

Даже это ей удавалось. Элегантно курить на пароме, курсирующем между Шетландскими островами.

– Ты говорила про какое-то Хелли-Аа, – сказал я.

– Встреча Нового года. В память о древних скандинавах. Шлемы с рогами и масса пива. Люди сколачивают маленькие корабли викингов, спускают их на воду и поджигают горящими стрелами.

– Ты говоришь *люди*, – сказал я, оглядываясь в поисках пепельницы.

– Да, – кивнула она и легко отступила на полшага назад, позволив ветру за кормой сдуть пепел с сигареты. Я попробовал повторить ее движение, но шагнул не туда, и угольки полетели на анорак.

– Так ты считаешь себя жительницей Шетландских островов или уже нет? – поинтересовался я.

– Никем я себя не считаю, – сказала моя собеседница, после чего снова затянулась и кинула сигарету в море.

«Бигга» ткнулся в причал на главном острове. За время пути Гвен немного оттаяла, но она все время сворачивала разговор на меня, а не на себя.

– А есть в Леруике какой-нибудь архив? – спросил я, когда мы двинулись дальше. – Ну, где хранится имущественная документация и тому подобные вещи…

– А зачем тебе?

– Спросить, есть ли какой-нибудь договор, касающийся Хаф-Груни. Раз уж дома стоят нетронутыми со всем имуществом, я думаю, может, Эйнар *владел* островом на самом деле.

– Тебе надо к шерифу.

– Что еще за шериф?

– Да. На Шетландских островах полиции нет. И архива тоже. Всем занимается офис шерифа.

– Сходишь со мной? – попросил я. – Туда бы лучше с переводчиком.

– Ты вполне понятно изъясняешься. Любому в Леруике приятно встретиться с настоящим норвежцем.

– Да мне, собственно, не из-за языка нужен переводчик. А больше – чтобы правильно задавать вопросы.

– *Oh please, I’ve told you this*[23]. Так нельзя, я же работаю на них. *It is not done.*

*** * ***

Все здания в Леруике пропитались дождевой влагой, потому что дождевой шквал, застигший нас на Йелл, сначала пронесся здесь. Интересно, хоть один дом на Шетландских островах когда-нибудь высыхает как следует, подумал я, чапая в офис шерифа на улицу Кинг-Эрик-стрит.

Перед входом я остановился, разглядывая табличку. Дома меня наши представители власти только раздражали. Респектабельные и самодовольные. Норвегия лыжников. Норвегия мореходных училищ. Но та Норвегия, остатки которой я нашел здесь, была скособоченным доморощенным пережитком всего, что я любил в своей родной стране. Что норвежские корни проникли глубоко, я давно уже уяснил, глядя на реющий повсюду синий флаг с белым крестом[24]. Но я никак не ожидал, что под гербом шерифа увижу древний норвежский девиз.

«Законом должна страна строиться».

И вот я стою перед стойкой в архиве, и одну из стен там почти полностью занимает карта Шетландских островов. Глодая булочку с изюмом, в комнату не торопясь зашел мужик в коричневом жилете, с блестящей макушкой.

– *Sir,* – сказал он. – *May I be of assistance?*[25]

Я подошел к карте и показал на Хаф-Груни.

– Меня интересует, кому принадлежит этот остров, – сказал я по-английски. – Один человек по имени Эйнар Хирифьелль…

– Простите?

– Х-и-р-и-ф-ь-е-л-л-ь. Мой родственник. Он жил на Хаф-Груни почти сорок лет. Возможно, после войны он получил британское гражданство.

Мужик откусил от булочки еще кусочек и уставился на желтую вазу с пластиковым цветком, стоящую на стойке.

– И теперь вы хотите знать, кому принадлежит остров?

– Да.

Он вытащил толстую книгу в тяжелом переплете, с захватанными распухшими страницами. Отошел к архивному ящику и ловко пролистал папки пальцами обеих рук, закусив булочку в зубах. Стальной ящик клацнул, захлопываясь, и служащий открыл следующий. Теперь под мышкой у него была зажата папка. И он выудил еще одну.

– Гм, – сказал чинуша, после чего положил папки на стойку поближе к себе и отхватил порядочный кус от булочки.

– Да? – встрепенулся я.

– Имя ваше, будьте любезны. И документ.

Я протянул ему водительские права. Он с подозрением стал разглядывать штамп автоинспекции из поселка Отта.

– Значит, вас зовут Эдвард… *Хирифьелль*… – проговорил служащий. – Извините, если неправильно произношу фамилию.

– Да. Это я.

– А второе имя у вас есть?

– Нет.

– Я интерпретирую это как «да», поскольку у вас совпадает личный регистрационный номер. Я сделаю вам копию этого акта. Право на Хаф-Груни перешло от мистера Эйнара Хирифьелля Эдварду Дэро Хирифьеллю пятого ноября тысяча девятьсот семьдесят первого года.

Я почувствовал, куда течет кровь в каждом из моих кровеносных сосудов.

– В семьдесят первом… – пробормотал я.

– *Yes, indeed*[26]. Но передача имущества вступала в силу лишь после его смерти.

– Так я владею островом? – уточнил я, посмотрев на карту на стене.

– И да, и нет. Надо еще соблюсти определенные формальности. Вы можете видеть здесь первоначальный контракт, – сказал чиновник и вытащил из папки листок, верхнюю часть которого занимала шапка: «ООО Уинтерфинч».

На пожелтевшей бумаге четкими машинописными буквами сообщалось, что Эйнар Хирифьелль и его *descendants*[27] получают право проживания на Хаф-Груни и единоличного владения землей и строениями *until the end of time*[28]. Арендная плата с них не взимается. Единственное, что могло бы сделать этот контракт, не имеющий срока давности, недействительным, это *act of God*[29].

Под строкой «*As witness the hands of the parties*»[30] я увидел ровную подпись Эйнара с наклоном вправо. Рядом большущими корявыми буквами было написано: «*Дункан Уинтерфинч*». Этот Дункан так давил на перо, что бумага порвалась.

Договор был заключен 3 августа 1943 года.

Я вопросительно посмотрел на мужчину за стойкой. Тот бросил взгляд на текст и доел остатки булочки с изюмом.

– Для своего времени весьма щедрый договор, – сказал он. – Никто ведь не знал, чем кончится война. Многие опасались, что вся Европа

окажется германской территорией. Жилье в Великобритании, пусть и убогое, все же было билетом на свободу. Теперь-то, конечно, это выглядит несколько – как бы это сказать? – окрашенным изолированным положением этого места.

– Что значит «*act of God*»?

– Все, что неподконтрольно человеку. Землетрясение. Извержение вулкана. Погружение острова в море. – Служащий почесал лоб над бровью. – Но вот тут есть документ, который все осложняет, – сказал он и взял в руки другую бумагу. И на ней шапка гласила «ООО Уинтерфинч», но дизайн ее был более современным. – Один адвокат опротестовал правомерность имущественного акта, когда господин Хирифьелль умер. В случае, если кто-либо предъявит права в соответствии с этим актом, будет подан встречный иск…

– И кто же этого добивается?

– Адвокат семьи Уинтерфинч в Эдинбурге. Они считают договор недействительным, поскольку у мистера Хирифьелля не было детей.

– Он мой двоюродный дедушка, – сказал я. – И я, выходит, его наследник первой очереди.

– *Descendants* означает, в соответствии с этим контрактом, детей или внуков. *Sorry about that*[31].

Чиновник пошел снимать копии. Потом он заверил их подлинность печатью. Мягкий «тюк» по подушечке, жесткий «тюк» по бумаге на столе. Желтый пластиковый кармашек для защиты от нескончаемого шетландского дождя. Получите, пожалуйста, и отмашка рукой на прощанье.

Я взялся уже за ручку двери, когда служащий, окликнув меня со своего места, поднял в воздух лист бумаги, чтобы мне было видно.

– Это, собственно, к нашему архиву отношения не имеет, – сказал он. – Но, может быть, вам пригодится.

Я подошел к нему.

– В семьдесят первом году, – сказал он, – когда мистер Хирифьелль как раз собирался передать права вам, кто-то в офисе, видимо, помогал ему разобраться в бумагах. Вот посмотрите.

Листок в клетку, на нем карандашный рисунок круглого стола. Под ним список материала для него с указанием длины.

– Не там, – сказал мой собеседник. – На обороте.

Я перевернул лист. Памятка. Написана дрожащей рукой, неровным почерком – но *точно* Эйнаровым. Памятка, составленная битым жизнью человеком на Хаф-Груни перед важной поездкой в Леруик. «*К шерифу. Не забыть паспорт. Акт. Письмо Эдварду, чтобы ночевал хотя бы одну*

холодную неделю. Банковский перевод в цветочный магазин».

*** * ***

Я нашел ее в музыкальном магазине «*Клайвз рекорд шоп*» на центральной улице. Она просматривала полку с пластинками в жанре соул. Одна пластинка была, видимо, отложена для нее: на прилавке лежал заклеенный скотчем пластиковый пакет с надписью «*Гвен*» красным фломастером.

Я немного порылся в пластинках, ощущая, как в руках постепенно копится тяжесть винила, а потом перекинул стопку на прежнее место и занялся следующим рядом. Мысли на место не вставали. Я нашел два макси-сингла группы «Погс», но не стал покупать.

«Банковский перевод». Эйнар имел в виду цветочный магазин в Саксюме? Просил их украсить могилу моих родителей? «*Хотя бы одну холодную неделю ночевал?»* Я не понимал смысла этого предложения. Вероятно, он собирался вставить его в адресованное мне письмо, давным-давно перехваченное дедушкой.

Гвен разглядывала следующую стопку. Из пары ободранных колонок неслось «*Half a world away*» в исполнении «Ар-и-эм». Девушка приподняла одну пластинку, перевернула другую и прочитала текст на обороте. Споро и решительно – она знала, чего хочет. Провела рукой по виску, убрала с него прядь мелко вьющихся волос. У нее была красивая спина.

– Будешь покупать что-нибудь? – спросила Гвен и вытащила из стопки долгоиграющий диск Марии Макки.

Я пожал плечами.

– У меня нету… – сказал я, подыскивая слово и одновременно пальцем описывая круги.

– *Record player*[32].

Я кивнул.

– Гм, – сказала Лиск. Словно разом открыла и закрыла что-то.

А я купил «*Fairytale of New York*» на двенадцатидюймовом сингле. В надежде на то, что и здесь приличные люди, имеющие проигрыватель, пускают к себе домой, чтобы ты мог переписать пластинку на кассету. Потом мы шли вдоль набережной со своими покупками в руках, и Гвен спросила, заходил ли я к шерифу. Я рассказал, что Эйнар перевел остров на меня, когда мне было три года. Но что Уинтерфинчи оспаривают законность этого.

– Можно было ожидать, – сказала она и ограничилась этим.

Я хотел сказать, что нам бы поехать на Анст, а ей бы пригласить меня к себе, выпить чего-нибудь горячего, пока ее новая пластинка крутится на проигрывателе. Но я чувствовал, что пора мне уже потуже натянуть тетиву.

– Поэтому, – сказал я, – я первым же паромом отправлюсь в Эдинбург. Искать семью Уинтерфинч. Не беспокойся. Я им не скажу, что познакомился с тобой.

Она собралась было сказать что-то, но не стала. Шла впереди, зная дорогу. Мы приближались к автобусному вокзалу «*Вайкинг бас стейшн», где была припаркована наша машина, и тут из вытяжки на нас потянуло незнакомым запахом. Жирным, но утонченным.*

«Раба. Индийский ресторан».

Мы остановились, как по команде. Я увидел наше отражение в витрине ресторана и подумал: *«Господи!*» Только увидев нас обоих рядом, я сообразил, насколько элегантно одета моя спутница. И какое жуткое впечатление я произвел бы на членов обеспеченного эдинбургского семейства. В грязных черных джинсах «Ливайс», в анораке с набитыми битком карманами и с такими волосами, будто я три дня подряд копался в земле.

– Эдуард, – сказала Гвен. – Ты так же давно не ужинал по-настоящему, как не менял одежду?

– Увы, – кивнул я. – Я не могу туда зайти… в таком виде.

Она нагнулась к раструбу водосточной трубы, набрала в ладонь воды и прошлась пальцами по моей челке.

Ко мне прикоснулась девушка. Девушка, называющая меня *Эдуардом. Короткое мгновение, на которое из туч выглянуло полуночное солнце*. На улице Леруика.

– Снимай анорак и бери его под мышку, – велела моя новая знакомая. – Ты немножко обтрюханный, но сойдет и так. Это все-таки не Бибендум.

– Какой Бибендум?

Но она уже толкнула дверь.

Через пять минут мы сидели за столиком, держа в руках меню в обложке из вишневой искусственной кожи. Когда дверь на кухню открывалась и выпускала к столикам индийца в белой рубашке, к нам плыли вязкие ароматы.

Гвен стряхнула со щеки что-то невидимое и встретилась взглядом с официантом, который тут же поспешил к нам. Как она это делает? Я еле осмелился войти, она же прямо от входа заставила крутиться вокруг нас двух официантов. Отказалась, все так же без улыбки, от предложения сесть

за стол посреди помещения – пришлось им поскорее убрать неаккуратную груду посуды с только что освободившегося углового столика, заменив скатерть: «*With new linen, please*»[33].

– Что ты любишь, *Эдуард?* – спросила Гвен, когда столик был готов.

– Я не знаю, – сказал я и тихонько рассмеялся. Мне постоянно приходилось смотреть на ее лицо, чтобы помнить, что мы ровесники и что внешность у нее, собственно, вполне рядовая.

– Что смешного?

– Я раньше не был в ресторанах.

– *Не поняла…*

– Таких, как этот. Только в кафе. И в лавке фиш-н-чипс в Брее. Самый северный фиш-н-чипс в Великобритании.

– Ну, какой же это ресторан, – сказала девушка. – Скорее, зал ожидания.

Тут подошел официант, щуплый мужичок с зачесанными со лба волосами. Я растерянно пялился в меню. Гвен резко захлопнула свое.

– Мне, пожалуйста, только корму с креветками. А вот *этот джентьмен* желает на первое суп маллигатони, на первое горячее – цыпленка по-раджастански, а на второе горячее – пасанду из баранины. И еще для нас обоих пешаварский нан, саг бхаджи и дал тарка. Две разных пакоры, разрежьте пополам. Да, хлебцы поппадум, разумеется, и разные чатни к нему. Ему безалкогольного пива, он на машине. Подливайте, когда будет кончаться, его мучит жажда. Мне бокал красного вина, есть у вас хорошее «Бароло»? И видите, нам нужна пепельница? О’кей? Прекрасно.

*** * ***

Когда молодая девушка носит старые поцарапанные мужские часы, за этим кроется какая-то история. Во всяком случае, когда эта молодая девушка натягивает на часы рукав, стоит кому-нибудь посмотреть на них. У меня было чувство, что Лиск может прикрыть рукавом куда более важные тайны, чем часы.

– Что ты пытаешься найти? – спросила она. – Это состояние? Из-за которого, как говорят, Эйнар убил ту семью?

Я покачал головой.

– Нет. Я даже не знаю, что там было.

– Так что же ты *тогда ищешь?*

Этот вопрос засел во мне крепко, как бородавка в коже. Я никогда ни с

кем как следует не обсуждал его. Даже с Ханне, которая всегда, стоило заговорить о 1971 годе, отворачивалась.

Может быть, дело тут было в том, что Гвен – посторонний человек. Что между мной и саксюмскими сплетнями пролегло Северное море. И кто-то вдруг проявил интерес к моему прошлому. При этом Гвен походила на камень, глубоко ушедший в землю. Мне захотелось немножко поорудовать ломом, посмотреть, где его получится подковырнуть.

– Когда я был маленьким, – сказал я, – мы с мамой и отцом поехали отдыхать. Я потерялся, а через четыре дня меня нашли.

– Представляю, как обрадовалась твоя мать, когда ты нашелся.

– Мама умерла. И отец тоже. Меня растил дедушка.

Лиск как раз расстилала салфетку на коленях, но застыла с зажатой в руке белой накрахмаленной тканью, не завершив движения.

– *Господи,* – сказала она, замерев, а потом положила салфетку на стол. – Так ты сирота?

– Вероятно, кто-то нашел меня и не знал, что со мной делать.

На мужских часах, которые в тот момент были мне видны, протикало полминуты. Я не заикнулся о том, что Эйнар, возможно, связан с этой историей. Не рассказал о газетных вырезках. А Гвен, когда обрела дар речи, не сделала то, чего я ожидал, – не связала мою историю со слухами об Эйнаре. Нет, она как будто ввела всю информацию в счетную машину.

– Не может быть, чтобы все произошло именно таким образом, – сказала она. – Четыре дня не могли пройти просто так. Нашедшие тебя либо сразу же связались бы с полицией, либо намеренно прятали бы тебя дольше.

Я посмотрел на нее. Впервые мне встретился человек, который на самом деле пытался найти *логику* в моем исчезновении. А не хоронить его в вязком забвении, не делать вид, что ничего, собственно, и не случилось.

– Ты *сначала исчез*, так что они погибли, разыскивая тебя? – уточнила Лиск. – Или вы были вместе, и ты единственный остался в живых?

– Вероятнее всего, первое, – ответил я. – Иначе зачем бы им ходить по подлеску, в котором полно старых снарядов?

– Гм, – сказала Гвен. Я видел, что она продолжает размышлять.

– Странно, что мы оказались там рано утром, – добавил я.

– Дети рано просыпаются, – заметила моя собеседница. И добавила через пару секунд: – Так говорят.

– Может быть, кто-то мечтал о ребенке, – сказал я, посмотрев на нее. – Я иногда представляю себе, как это могло быть. Если б я рос в другой семье и ничего об этом не знал.

– Ты узнал бы, – возразила Лиск. – Раньше или позже ты заметил бы что-нибудь.

Как мама у *своей* приемной матери, подумал я.

– Ты ничего не помнишь? – спросила Гвен.

– Помню, что кто-то ссорился и кричал. Что я сидел в машине. Потом что-то такое с игрушечной собачкой. Она виляла хвостиком, если нажать в определенном месте. Но я не знаю, настоящее это воспоминание, или я это придумал. Мне было всего три года. Или почти четыре. Я родился в начале года.

– Я многое помню из того времени, когда мне было четыре, – сказала девушка.

Индиец принес первое блюдо – сочащуюся жиром лепешку с тмином и керамические мисочки с оранжевым и зеленым соусами. Я присмотрелся к тому, как ест моя собеседница, и стал делать так же. Когда язык ощутил этот спектр вкусов, я впал в гипнотическое состояние. Вот пища, скрывающая глубокие смыслы.

Как скрывала свои Гвен, казалось мне.

Она сходила в *уборную* и наложила макияж, едва заметным слоем. Вернувшись, села на другое место – на трехместный диванчик спиной к стене. Стена была декорирована темно-красными обоями со сложным узором, а над Лиск висела картина, изображающая охотников, отгоняющих тигров от слона. Вероятно, она сознательно выбрала это место. Вписала себя в декор, зная, что в окружении охотников выглядит более женственной.

– Я все же не понимаю, – сказала Гвен. – Если какой-то псих собирается похитить кого-то, каковы шансы, что он окажется именно *там?* Что ему представится такая возможность? Вероятность такого составляет, должно быть, один к миллиону.

– Что-то такое с тем местом, – сказал я. – Тем местом во Франции.

Девушка смотрела на меня. Молча, серьезно. Выжидающе.

Я подумал: «А, плевать, была не была!»

– Во время войны домой пришло извещение. О том, что Эйнар был застрелен где-то недалеко от того места, где умерли отец с матерью.

– Это где было?

– Севернее Соммы.

Отломив кусочек лепешки, Гвен обмакнула его в иссиня-черную массу – баклажановый чатни, по ее словам.

– Понимаю, а точнее? – отозвалась она, неторопливо работая челюстями.

– Отюй.

– *Отюй?*

– Да. Знаешь, где это?

Лиск жевала как-то нарочито. Слишком явно, как бы показывая, что ответ скоро последует. Проглотив еду, она вытерла губы салфеткой, на которой не осталось никакого следа от этого прикосновения, и сказала:

– Ну, конечно. Все, кто не проспал уроки истории, знают про Отюй. Это же там находится кладбище *Блайти-Вэлли.* Там проходила важнейшая британская линия фронта во время битвы на Сомме. Отюй разбомбили вдрызг. Ты там потом бывал?

– В Отюе? – Я покачал головой. – Я, кроме Шетландских островов, нигде не был.

– А поедешь туда?

Я поправил пепельницу.

– Наверное. Хотя я надеялся найти ответ здесь. А здесь одни камни.

Девушка отвела взгляд, и я так поторопился заполнить возникшую тишину, что она показалась искусственной паузой.

– И ты, – добавил я.

На это Гвен отреагировала лишь непроницаемой улыбкой. Какой она улыбнулась, сказав, что было бы жаль, если б я женился на острове Кармёй.

Так что нечего мне было на нее пялиться. Нечего таращиться.

– Ну, и каково было тебе расти у твоего дедушки? – задала она следующий вопрос.

Я рассказал ей немножко. О хуторе. Что до ближайшего магазина грампластинок надо добираться шестьдесят километров – шесть норвежских миль – на попутках. Но у нее был свой макияж, а у меня – свой. Саксюм был бесконечно далек от «*Ресторана Раба»* в Леруике. Так что я подставил мелкоячеистый дуршлаг под ту инфу, которую сливал ей, и когда завершил краткий очерк жизни Эдварда Хирифьелля, этот дуршлаг был забит до краев. Словно я варил сок из ведерка нечищеных ягод, и в сите осталась подтекающая кашица из мелких веточек, муравьев и хвои. Только *мой* дуршлаг отяжелел от бойцов Восточного фронта, молчания и взглядов исподтишка перед коопторгом. *А вот чему я, напротив, позволил проскользнуть в дырочки, так это рассказу о матери.* Потому что мне самому хотелось открыться кому-нибудь. Испытать, что я почувствую при этом.

Я рассказывал так, будто всю жизнь знал это. Что она родилась в Равенсбрюке, выросла в Реймсе и приехала в Норвегию, где ее позже

разыскал Эйнар.

– Она сменила имя, – сказал я. – Но я даже не знаю, почему она выбрала имя Николь.

– А что их связывало? – спросила Гвен. – Твою мать и Эйнара.

– Точно не знаю, – ответил я. – Только то, что в тридцатые годы Эйнар работал во Франции. Он был столяром-краснодеревщиком.

– Ты знаешь французский? – уточнила девушка.

– Немножко. Мама говорила со мной по-французски.

– *Il me semble que ce soit un bon souvenir*[34], — произнесла Лиск. «Приятное воспоминание», – перевел я для себя.

Я кашлянул. Пробормотал про себя ответ, пробуя вновь овладеть полузабытой мелодикой языка.

– *Oui, en effet. Mais c’est aussi tout ce dont je me souviens d’elle*[35], — сказал я.

Но тут принесли еду. Хотя назвать это *едой*… Я как будто окунулся в горячую ванну, вынырнул, и перед моими глазами открылся лучший мир. Место, где каждую мою жилку холят и лелеют. Маленькие пузатые кастрюльки на латунных подставках, с зажженными под ними греющими свечками. В жирном изжелта-белом сливочном соусе плавали разбухшие изюмины, щедро посыпанные кокосом. Нанизанное на шпажки свежайшее красно-оранжевое мясо. Официант опрокинул миску на белое фарфоровое блюдо, осторожно поднял ее и открыл взору светло-желтый купол риса с морковными включениями. Затем из духовки, шипя и разбрызгивая жир, появились две плоские лепешки, распространяющие вокруг стола сладкий пьянящий аромат выпечки.

Я в каком-то дурмане уплетал это все за милую душу. Ароматы смешивались и переплетались, одно блюдо было вкуснее другого, и я знал, что объемся и что должен себе это позволить. Кусочки цыпленка были страшно острыми, я потел и хотел еще потеть. Так бывает, когда припев не кончается, а только нарастает.

Я посмотрел на Гвен через поднимающийся от тарелки пар. Она ела мало, она ела изящно.

Музыка поменялась. До этого момента звучало только ничего не говорящее бренчание, а тут раздалась попсовая мелодия, которую я презирал еще дома. Шлягер, под который претенциозные девахи из Винстры разогревались перед вечеринкой. Который выскочки включали в своих новых автомобилях, чтобы угодить им.

Я сам себя не узнавал. Будто сбросил с себя скорлупу.

Я презирал эту композицию, потому что это была эдакая беспардонная песенка с припевом, звуковыми эффектами и подпевками, но теперь она проникала в меня, размягченного и растерявшего оборонительные навыки, и все плыла и плыла, и я услышал, что это *искренняя* песня и что нужно, ничего не говоря, смотреть Гвен в глаза, словно в эту минуту мы с ней заключаем пакт, который легко может быть нарушен. Пакт неизвестно о чем.

«Let us die young or let us live forever»[36].

И может быть, все это воображение и обман, ведь это был просто попсовый шлягер, пластиковый, тогда как настоящая музыка стальная. Это были кулисы там, где должна стоять стена, но я слышал все то же. *Искренность.* Я вдруг понял, что это один из редчайших моментов в наш век, когда музыка соединяется с мгновением. Я хотел бы помнить его через пять, через десять лет. Я видел, что и Гвен это видит, и что нам повезло, мы поняли это одновременно с тем, как это произошло.

Это мгновение вошло и в ее жизнь тоже, это единственное мгновение, единственное место, где соединились мои карие глаза и ее карие глаза, и оно будет всплывать в нашей памяти каждый раз, когда мы потом услышим «*Forever Young*».

*** * ***

И тут она исчезла.

Эта девушка, почти ничего не рассказавшая о себе, кроме того, что, наверное, ее предками были норвежцы, как и в большинстве семей на Шетландских островах, и которая собиралась вернуться в Абердин *when summer is gone*[37]. *Пока я выскребал остатки со дна чугунка*, она встала, ничего не говоря, подошла ко мне и слегка приобняла меня. Пробормотала: «*Уборная*», но через мгновение очутилась за окном, на улице. Подняла руку и неторопливо пошевелила пальцами. А потом шмыгнула в узкий переулок, и вот уже мне были видны только блестящие камни мостовой.

Я посидел еще с четверть часа. Оплатил счет. Не стал ее искать.

Что-то происходит, здесь и сейчас, что-то непонятное. Шетландские острова – не то место, где народ спешит из дома навстречу первому попавшемуся незнакомцу. А Гвен Лиск постаралась оказаться поблизости и якобы случайно появиться передо мной.

Я медленно шел по пустынным улицам Леруика. Поднялся к

миниатюрной крепости, чугунные пушки которой были направлены в сторону набережной. В прежние времена они стояли на страже торговли сельдью, говорилось на освещенной прожектором табличке с норвежским и английским текстами. В кои-то веки погода стояла сухая, и я бродил по городу, заглядывая в витрины магазинов и рассматривая товары, выложенные так, чтобы над ними не властвовали ни море, ни непогода.

Город жил по старинным обычаям. Здесь продажей фотоаппаратов и пленок к ним по-прежнему занимались аптекари – пережиток того времени, когда люди сами смешивали реактивы для проявки.

Я шел и шел. Нашел гостиничку «Вечерний покой», куда дедушка заселился после похорон. Куда ни повернись, глаз падал на что-нибудь норвежское. Я думал, что в магазине «*Faerdie-maet*» торгуют полуфабрикатами («*ferdigmat*» по-норвежски) – так и было, но название означало «еда в дорогу», почти как на древненорвежском.

Половина лодок у причала носили древнескандинавские названия. «*Nefja», «Hymir», «Glyrna»*… Прошлое здесь было неизгладимо.

Со мной было так же. Что бы я ни делал, этого не забыть. Того, что я ношу французское среднее имя, не зная, откуда оно. Будто построенное мною обязательно окажется на чужой земле.

А вот и «Коммодор». Мой верный попутчик, покрытый синим лаком. Я вставил ключ в замок и собирался уже повернуть его.

Вот что я забыл.

Я быстро нашел дорогу к улице Сент-Суннива-стрит, где в квартире над парикмахерским салоном Агнес Браун сияла лампа.

5

Я постучал: в ответ ни звука. Дверь не заперта. Я приоткрыл ее и заглянул внутрь. Серый плащ, зонт… Резиновые сапоги дамского размера. Одежда одиноко живущего человека.

– *Хэллоу,* – позвал я, но за дверью с панелью из волнистого стекла ничто не шевельнулось. Откуда-то из глубины дома послышалась мелодия. Кто-то… *напевал?*

Миновав прихожую, я попал на узкую лестничную клетку. Крикнул*: «Кто-нибудь есть дома?»* Снова услышал пение – оно раздавалось с этажа, расположенного выше, где кто-то шлепал мелкими шажками.

Я поднялся наверх и попал в узкую кухню. Там пахло лимоном, посуда была только что помыта, и одинокая тарелка на сушилке еще не высохла и даже не остыла. Красный чайник на плите. Кружка с чаем на норвежской местной газетке «*Мёре-Нютт*» прошлой недели.

– *Хэй!* – попробовал я теперь позвать на норвежский манер.

Пение послышалось снова, теперь из-за стены на кухне. Псалом «*Любовь Господа*».

– Хэй! – повторил я еще громче и вернулся на лестничную клетку, откуда как раз юркнула в какую-то дверь шустрая старушка.

Может, уйти и вернуться назавтра? Хотя какой смысл – слух у нее лучше не станет.

Я пошел следом за хозяйкой и оказался на другой лестнице, еще более узкой. Вдоль стен там штабелями лежали старые журналы. Спустившись, я оказался в пустом подвальном помещении и через еще одну дверь вошел вслед за старушкой в большую комнату, где горел свет.

В лицо мне пахнуло пылью: передо мной располагался давно закрытый парикмахерский салон Агнес Браун. Отсюда он выглядел совсем иначе, чем с улицы, – оттуда я мог видеть только его отдельные уголки. Я очутился в интерьере, который уже видел раньше, – в каталоге парижской выставки ар-деко 1925 года.

Салон освещал ряд четырехгранных ламп, вроде уличных фонарей вдоль аллеи. Лампочки отбрасывали теплый свет через оранжевое стекло, украшенное выгравированными на нем тюльпанами на изогнутом стебле. Зеркала перед каждым из парикмахерских кресел отражали этот свет. Сначала показалось, что на полу сложным узором уложена плитка, но потом я разглядел, что это паркет, рисунок которого образовывали дощечки

из разных сортов древесины.

Теперь свет упал на хозяйку. Длинные седые волосы, простое черное платье. Вокруг – флаконы с засохшим лосьоном для волос.

Старушка прошла мимо голубых фенов в угол, к столу, где стояли… шесть человеческих голов? Она продолжала мурлыкать «*Любовь Господа*». Посмотрела на головы, погладила парочку из них. Ее замедленности, сонливости как не бывало: она взяла что-то со стола и наклонила голову, как это делала Ханне, когда надевала сережку.

Женщина вставила в ухо слуховой аппарат, и тот запищал. Я стоял в полутьме, ожидая, пока она закончит возиться с ним. Те шесть человеческих голов были гипсовыми, и на них надеты парики. Уложенные в прически героев черно-белых фильмов.

Тут хозяйка заметила меня. Застыла на секунду, шагнула ко мне и сказала по-норвежски:

– *Эдвард. Так ведь вас зовут?*

Она стояла посреди комнаты, так что со всех сторон ее окружал замысловатый рисунок паркета. Разглядывая меня, стерла пыль с одной из ламп с тюльпанами.

– Я пробовал звонить, – сказал я. – Из Норвегии. Но, может быть, вы не услышали.

Старушка рассеянно взглянула на телефонный аппарат.

– Иногда я спускаюсь к телефону. Позвонить сестре в Норвегию, она в Молёй живет. Или вызвать такси. А наверху я не хочу держать телефон.

– Почему же?

– Не люблю телефонных звонков.

Я вдруг понял, что тоже их не люблю.

– Это вы прибираетесь на его могиле? – спросил я, водя пальцем по выгравированному на лампе узору.

Женщина повернулась к гипсовым головам.

– Да, я.

– Я приехал узнать, что случилось в семьдесят первом году, – сказал я.

На это она ничего не ответила. На вид Агнес Браун было около семидесяти, и она все еще была красива, как бывает красива дорогая, но видавшая виды мебель.

– Я из Эрсты, – сказала вдруг хозяйка. – Профессию получила в Мольде. До замужества моя фамилия была Стурэйде. Вышла замуж за моряка из Леруика. Он погиб в сороковом. От торпеды.

– Это вы известили дедушку о смерти Эйнара?

Она кивнула.

– Дедушка недавно умер, – сказал я. – Я приехал рассказать об этом Эйнару.

– Я так и думала. Что пока Сверре не умрет, вы не приедете.

Я подошел к ближе к хозяйке. Спросил:

– А почему имя Эйнара значится по адресу *Леруик сто восемнадцать* в телефонном каталоге?

Браун словно не услышала.

– Как вы думаете, каково это, – сказала она, помолчав, – двадцать лет ждать звонка, который так и не раздался и к тому же не тебе предназначен?

Поправляя слуховой аппарат, Агнес прошла через комнату к темному углу в самой ее глубине. Там одиноко стояло кресло для бритья из покрытого белым лаком металла. Его было едва видно в свете уличных фонарей.

– Кресло для посетителей-мужчин, – сказала она. – Садитесь. Мне так будет легче вспомнить.

Когда я усаживался, высохшая кожа сиденья скрипнула.

– Как раз в нем сидел Эйнар, – сказала хозяйка, – *когда я стригла его в первый раз в сорок третьем году.*

Агнес Браун порылась в комоде. Отвернула тронутый патиной латунный кран. В трубах шарахнуло, и кран выплюнул ржавую воду. Старушка ополоснула ножницы. Я удивленно посмотрел на нее; в ответ она извлекла выцветшую нейлоновую накидку и повязала ее мне вокруг шеи. Сама же облачилась в кроваво-красный передник, после чего положила ладони мне на плечи, и мы встретились глазами в расрескавшемся зеркале.

– *Ты на него похож,* – сказала Браун. – *Что, конечно, не странно.*

И она без лишних разговоров принялась меня стричь. Быстрыми, точными движениями. Вскоре она отложила ножницы, взяла в руки опасную бритву и принялась *подрезать* мои волосы. Нож так и летал в ее руках, и после каждого захода в корнях волос слегка свербило. Отрезанные волоски она ловила в ладонь, быстро перетирала в пальцах, словно проверяя, настоящие ли они, и бросала на пол. А потом начала рассказывать.

*** * ***

Весной 1943 года Эйнар вошел в салон, приветливо поздоровался на приличном английском и попросил сделать ему стрижку *coupe Lyon*, прическу, при которой волосы укладывались на лбу жестким завитком. Она

была популярна во Франции в конце тридцатых годов, но, как поведала Агнес, на Шетландских островах мужчины модными стрижками не интересовались. Как правило, им было достаточно выглядеть прилично, сняв шапку в церкви. В то время Браун была одной из двух наемных парикмахерш салона, которым владел немолодой мужской мастер из Глазго. Обстановка состояла из облезлых дощатых стен, расшатанных стеллажей с ящиками и разнокалиберных зеркал.

Эйнар повел себя совсем не так, как рыбаки, составлявшие основную клиентуру салона. Жилистый и подвижный, хорошо представляющий себе, как выглядит модная французская стрижка, он говорил с необычным акцентом и демонстрировал столичные манеры. Почти сразу Агнес поняла, что он норвежец, и они перешли на норвежский язык, но не представились друг другу по именам. Шетландские острова кишели норвежцами, и молодая парикмахерша с легконогим клиентом вели себя согласно военному обычаю: не распространяться о себе, потому что любое слово могло отозваться в Берлине.

Она подумала, что такая прическа понадобится ему, как камуфляж в оккупированной Франции. Но вслух этого не высказала. Эйнар похвалил ее работу, а затем вышел и закрыл за собой дверь, звякнув колокольчиком. Больше Агнес его не видела.

Потом война наконец закончилась, салон перешел к ней, и она наняла еще одного мастера и специализировалась на дамских стрижках. Когда парикмахерский салон вместо одного дамского кресла устанавливает три, он превращается в центр обмена пересудами, и вскоре Агнес услышала историю, в которой, как она поняла, речь шла о жилистом норвежце.

Одна из ее клиенток раньше была поварихой у обеспеченного оптовика на Ансте. Теперь ее уволили, и она с удовольствием судачила о бывшем работодателе. Женщина рассказала, что во время войны тот поселил у себя одного норвежца, вроде бы искусного столяра. Богатей со столяром нашли общий язык, в том числе потому, что оба действительно *разбирались* в резьбе по дереву. Ведь оптовик тоже был не абы кем. Его звали Дункан Уинтерфинч. Торговец лесоматериалами в пятом поколении, глава солидного семейного предприятия в Эдинбурге. Головной офис они перевели в летний дом на Ансте, опасаясь, что главное здание разбомбят.

Уинтерфинч с Эйнаром допоздна засиживались в гостиной, балуясь довоенным табачком и строя планы на будущее. Посылали за чаем с бутербродами в любое время суток. Несмотря на скудость продовольственных пайков, были у них и яйца. И нет большей зависти и обиды, чем когда слугам приходится обслуживать слуг. Крадучись по

коридорам, они подслушивали у дверей, улавливали обрывки разговоров и воспроизводили их из-под фена на улице Сент-Суннива-стрит. Было ясно: эта парочка вынашивает подозрительные планы, потому что, когда к ним входили с заказанными яствами, они замолкали.

В 1943 году, подстригшись а ля *coupe Lyon*, Эйнар вдруг исчез. А Уинтерфинч последующие месяцы становился все беспокойнее. Постоянно спрашивал, не приходила ли телеграмма, но ничего не приходило. Он и до этого был раздражительным, в том числе и из-за старой военной травмы, когда ему оторвало руку, и осколочных ранений в ноги, из-за чего он временами вынужден был передвигаться в кресле-каталке. Именно в такой момент, осенью 1944-го, когда Уинтерфинч был измучен болью, ему позвонили, и он так разозлился, что разбил окно в своем кабинете. Никто не знал, в чем было дело. Но сразу после войны разыгралась похожая сцена.

Тогда перед дверью вдруг возник тот норвежец – он потребовал разговора с Дунканом Уинтерфинчем. Поначалу дворецкий решил, что это какой-то незнакомец, жалкий и оборванный, с исхудавшим телом и осунувшимся лицом. Беседа была недолгой. Уинтерфинч пришел в ярость и на виду у слуг накричал на норвежца: мол, Эйнар *нарушил договор и из-за него погибла целая семья*. Он орал так, что слышно было по всей округе, и на следующий день весь Анст знал о случившемся. Позже эти слова навсегда прилепились к Эйнару.

Чего никто не ожидал, так это того, что Эйнар сразу же отплывет на веслах на Хаф-Груни, владение Уинтерфинча, и поселится там. Дункан тут же велел слугам спустить на воду лодку, его занесли на борт и поплыли к острову. Каталка застревала на камнях, и его пришлось нести, по пути он все больше распалялся, и разыгралась еще одна жестокая ссора. Игнорируя Уинтерфинча, словно раскапризничавшегося ребенка, Эйнар подозвал к себе дворецкого и показал ему официально зарегистрированные права на недвижимость, гласившие, что ему на вечные времена предоставлено безусловное право проживания на Хаф-Груни.

Дункан со свитой вернулись несолоно хлебавши. Инвалид настолько обессилел от бешенства, что сидел молча, едва переводя дыхание. Но не похоже было, чтобы причиной его ярости была всего лишь потеря денег. Казалось, Уинтерфинч лишился чего-то *драгоценного*. Пробормотав что-то вроде «*несчастные вдовы*», он погрузился в угрюмое безмолвное уныние. А на следующее утро уволил повариху и еще трех слуг. Несколько дней он не показывался из кабинета, и оттуда слышалось только поскрипывание каталки.

– Это было сразу после войны? – уточнил я, устраиваясь в кресле.

– Да, в конце сорок пятого, – сказала Агнес Браун.

«Значит, мамы с отцом это не касалось», – подумал я, размышляя о том, чем отличались рассказы Агнес и Гвен. Старая парикмахерша сказала, что из-за него погибла семья. Гвен сказала, что он кого-то убил.

В зеркале промелькнуло нечеткое отражение огней проехавшего по Сент-Суннива-стрит автомобиля. От них на мгновение стало светлее, и я увидел, что мои волосы уложены с пробором в непривычном месте.

– А Эйнар не рассказывал когда-нибудь о женщине по имени Изабель? – спросил я.

– Изабель? Да. – Агнес горько засмеялась. – Изабель Дэро. А как же! Вот уж чего-чего, а об Изабель Дэро он рассказывал.

*** * ***

Как-то в субботу в 1945 году Браун, собираясь закрыть салон, подметала волосы с пола, предвкушая ужин и спокойные выходные с книгой, которую ей прислала сестра из Молёй. Махнув веником, она обратила внимание на исхудалое лицо за окном. Присмотревшись, женщина узнала норвежца, которому делала стрижку в 1943 году. Волосы всклокочены, одежда испачкана – он едва замечал окружающих. Стоял на улице, пока все не разошлись, а потом вошел, глядя в пол. Показал рукой на телефонный аппарат на прилавке и спросил Агнес, не могла бы она принять сообщение для него.

– А что за сообщение? – спросила та.

– Изабель, – сказал он. – Мне необходимо отыскать Изабель.

– У меня не телефонная станция, – сказала Браун, после чего поставила веник в угол и рассказала о ходивших в Леруике слухах о том, что он подвел Дункана Уинтерфинча.

– Нет, – сказал Эйнар, – это Уинтерфинч подвел *тех людей*.

Парикмахерша поглядывала то на веник, то на него. Он и выглядел, и пах так же, как мусор, который стоило бы вымести.

– Меня зовут Эйнар Хирифьелль, – сказал он. – Но если кто-нибудь будет звонить, возможно, будут спрашивать Оскара Рибо.

Агнес согласилась, почувствовав его безмерное и искреннее отчаяние. Она не знала тогда, что это будет началом их фатального соглашения, которое продлится всю жизнь. Эйнар рассказал, что во время войны он через Испанию пробрался на север Франции под именем Оскара Рибо,

чтобы выполнить тайное, но абсолютно мирное поручение Дункана Уинтерфинча. *В чем* состояло поручение, он рассказывать не пожелал. В качестве вознаграждения ему была обещана крупная сумма денег и право вечного бессрочного проживания на Хаф-Груни.

Оказавшись во Франции, Эйнар по каким-то причинам, которые он обрисовал Агнес столь же туманно, сколь и само поручение, не стал исполнять последнее. Вместо этого он включился в движение Сопротивления, *La Résistance*. После нескольких лет, проведенных в Париже, дедушкин брат владел французским в совершенстве, и все принимали его за француза. Их отряду постоянно не хватало взрывчатки, и они спланировали дерзкую операцию с целью добыть ее. Отряд базировался в Отюе, возле полей сражений Первой мировой войны. Срок действия той взрывчатки был практически неограничен. Французы собирались пробраться за ограждение в лес, собрать неразорвавшиеся снаряды, извлечь из них взрывчатку и использовать ее против немцев.

Так Эйнар познакомился с Изабель Дэро, моей бабушкой. Она была старшим ребенком из двух оставшихся в живых, всего же их в семье было четверо. Ее братья сражались в одном и том же пехотном подразделении, когда немцы прорвались через Арденны. Их расстреляли с промежутком в один день.

Из пересказа Агнес было не совсем понятно, кому, Эйнару или Изабель, пришла в голову мысль вырыть неразорвавшуюся взрывчатку и на ком, соответственно, лежала ответственность за фатальные последствия этого.

После Первой мировой войны, в двадцатых годах, изрытые окопами земли вокруг Отюя были тщательно очищены от скелетов и снарядов в результате крупномасштабной операции, проведенной французскими властями. Из земли извлекли огромное количество взрывчатки – работа столь же опасная, как и вся солдатская жизнь, но зато со временем эти поля снова стало можно обрабатывать.

Но боевые действия в лесу шли так интенсивно, что очистить лес оказалось невозможно. Нигде не осталось лежать столько трупов и снарядов. Вскоре эти рощи стали считаться лишь местами захоронений, известных под теми названиями, которые были даны им солдатами: так, *Bois d’Elville* стал Дьявольским лесом – *Devil’s Wood*.

Оккупационным властям было известно о неразорвавшихся снарядах, но они не могли охранять эти места постоянно. Каким-то образом Эйнар и Изабель нашли безопасные тропки, ведущие в лес, и стали собирать там взрывчатку. Эйнар жил в сарае на ферме, выдавая себя за безработного

родственника, бывшего столяра из Парижа.

Собранной взрывчаткой собирались подорвать южную стену большой тюрьмы в Амьене, где немцы содержали схваченных руководителей движения Сопротивления. Эта крупная акция, согласованная с союзниками, получила кодовое обозначение – операция «Иерихон», потому что необходимо было взорвать несколько высоких стен.

Вскоре Изабель и Эйнар влюбились друг в друга. Без памяти, как поняла Агнес даже из тех скупых слов, которые нашлись у дедушкиного брата для описания их чувства. Она так хорошо понимала их! Война всех сделала проворными, решительными и жадными до жизни, которая в любой момент могла прерваться. Эйнар стремился выказывать бесстрашие, как, вероятно, и Изабель, и, подзадоривая друг друга, они действовали все более безрассудно. Вскоре Эйнар пожалел о том, что не передал право наследования хутором брату. Он полагал, что, скорее всего, погибнет во Франции и его потом годами будут разыскивать в списках норвежцев.

Еще только один человек знал о том, что Оскара Рибо на самом деле звали Эйнаром Хирифьеллем. Это был Гастон Робинет, руководитель отряда Сопротивления. Он служил в сельскохозяйственном банке. До войны работал в качестве специалиста по фальшивым купюрам, а *во время* войны занимался изготовлением поддельных документов. Свой норвежский паспорт Эйнар прятал в подкладке куртки – его пришлось показать Робинету, чтобы тот поверил ему.

Эйнар предложил несентиментальное решение проблемы с наследством, а именно инсценировать собственную смерть, и Робинет подкинул его норвежский паспорт на изуродованный труп доносчика. Так в Норвегию попало известие, благодаря которому Хирифьелль перешел в руки Сверре.

Настал день операции «Иерихон». Когда бойцы Сопротивления подорвали старые снаряды, весь Амьен содрогнулся от взрывов. Самолеты союзников в пикирующем полете разбомбили стены тюрьмы с севера и востока, и сотни узников выбрались на свободу.

Немцы необычно долго готовились к репрессиям. Несколько месяцев они постепенно сужали кольцо вокруг бойцов *La Résistance*. Позже высказывалось мнение, что в руководстве отряда нашелся доносчик, потому что в начале лета 1944 года гестапо ночью ворвалось в Отюй и в соседние городки. В четко спланированной облаве с участием почти четырех сотен немецких солдат были схвачены практически все участники Сопротивления. Лишь единицам, в том числе Гастону Робинету, удалось ускользнуть.

Эйнар в ту ночь находился в окруженном лесу, но сбежал и оттуда. А вот семье Дэро не повезло. Изабель, ее сестру, родителей и бабушку с дедушкой схватили и заключили в уцелевшей части тюрьмы. На следующий день после облавы Эйнару встретились Робинет и еще один участник Сопротивления из Отюя. Они заподозрили дедушкиного брата в том, что это он выдал всех, раз его так кстати не оказалось на месте. Выхватив нож, Робинет потребовал у него ответить, не была ли уловка с норвежским паспортом на самом деле сигналом врагу.

Тут показался немецкий патруль. Эйнар воспользовался вызванной этим суматохой и бежал. Он уехал из Отюя, добрался до одного своего друга парижских времен, который теперь жил в захолустном приморском городишке, и укрывался там до самого освобождения.

Позже Эйнар узнал от одного из сокамерников семьи Дэро, что с ними произошло. Девятнадцать суток их допрашивали под пытками, а затем привязали к столбам на плацу в центре тюремного комплекса, чтобы их было видно из камер. Младшей сестре, Полин, было пятнадцать лет. Потом долго ничего не происходило. Плац был пуст. Через час появилась публика – заключенные, которых немцы заставили смотреть на экзекуцию. Солдат подошел к матери Изабель, Николь, разрезал веревки и высвободил ее, но тут же накинул на нее петлю, закрепленную на мясницком крюке. Когда она прекратила биться, веревку ослабили, стащили петлю с ее головы и оставили труп на земле, после чего повесили ее мужа Эдуара на той же веревке и на том же крюке. Остальных, старых бабушку с дедушкой и двоюродного брата, расстреляли одного за другим. Полин и Изабель оставили в живых: развязали и снова подвергли пыткам. Через несколько дней сестер отправили в Равенсбрюк.

Свободным Эйнар никогда больше себя не чувствовал. Больше всего его мучила мысль, что Изабель отправилась в концлагерь, думая, что он ее предал. Сразу же после капитуляции он поехал в Германию и добрался до Равенсбрюка, но не нашел ее следов.

Уинтерфинч тогда разбил окно из-за того, что Эйнар позвонил ему и рассказал, что поручение выполнить не удалось, и тогда же попросил денег на поиски Изабель.

Всем, кроме самого Эйнара, последнее представлялось нелогичным и незаслуженным, ведь поручение Дункана он не выполнил. Но когда Агнес пыталась расспросить его об этом, Эйнар отвечал отговорками. И всю жизнь он отказывался рассказать, в чем состояло то задание.

– Так чего вы, собственно, *хотите*? – спросила его Браун в тот день, когда он появился в салоне.

– Разрешите мне давать ваш номер телефона, – попросил Эйнар. – Чтобы *она* могла меня найти. Потому что я сам буду в отъезде.

Он просто хотел, чтобы Агнес, если кто-нибудь позвонит ему с новостями об Изабель Дэро, приняла это сообщение. Сам же Эйнар собирался продолжить поиски и хотел, чтобы в случае чего с ним можно было связаться, благодаря человеку, который всегда на связи: в процветающем парикмахерском салоне по адресу *Леруик, 118.*

– Но откуда же вы возьмете деньги на поиски? – возразила Браун.

– Помогу Спасителю вновь взойти на крест, – ответил Эйнар.

Дело в том, что он обладал умением, которое очень ему пригодилось тогда, – оно помогало ему получить ночлег и помощников. Умением, которое он обнаружил в себе в апреле 1940 года, когда восстановил распятие в Саксюме: он умел реставрировать церковное искусство. Все послевоенные годы Эйнар разъезжал по пострадавшим в войну городам Европы, разыскивал разбомбленные церкви и предлагал восстановить разрушенные запрестольные образы и деревянные скульптуры. Единственное, о чем он просил, – это чтобы священники собирали сведения об узнице по имени Изабель Дэро. Он спал в ризницах, реставрировал разбитую мебель и скульптуры, а по вечерам с помощью священников писал письма узникам Равенсбрюка, руководству союзников, сотрудникам Красного Креста и бюро регистрации населения.

Год за годом единственным желанием Эйнара оставалось найти Изабель. Не с ним одним происходило подобное – в то время десятки тысяч людей искали своих пропавших возлюбленных. Эйнар наскреб денег на старый автомобиль, он отправил письма выжившим узникам концлагеря, изучал списки заключенных, как только они публиковались, и обивал пороги отделений Красного Креста, где его встречали печальными сочувственными взглядами. И везде он сообщал, что найти его можно по адресу *Леруик, 118.*

То же известие пришло и в Хирифьелль. Он прислал короткое письмо, в котором говорилось, что он жив, отказывается наследовать хутор и желает общаться с родственниками лишь в случае чьей-либо смерти.

В квартире над парикмахерским салоном Агнес сразу приняла тоску Эйнара близко к сердцу. Она добавила его имя в телефонный каталог под своим номером, как если б они жили под одной крышей. Он звонил еженедельно. Из Франции, из Чехословакии, из мест вблизи границы с Советским Союзом. Спрашивал, нет ли новостей.

Довольно скоро Браун захотелось, чтобы Эйнар звонил просто для того, чтобы поговорить с *ней.* Сняв трубку и ожидая, когда же звонящий

доберется до сути дела, она в душе надеялась, что услышит известие о смерти Изабель.

Так продолжалось, пока однажды Эйнар не позвонил перед самым закрытием салона. Но в этот раз он не задал привычного вопроса, а сказал только: «Это я. Я».

Агнес попросила его повторить, что он сказал, потому что его голос полностью изменился. В конце концов он сумел рассказать, что Красный Крест все-таки разыскал архивы Равенсбрюка, и выяснилось, что Изабель отправили оттуда на верную смерть – она замерзла насмерть и похоронена, скорее всего, неизвестно где в Восточной Германии.

На какое-то мгновение Агнес стало стыдно того, что она почувствовала облегчение, промелькнувшее, как вспышка света, среди всей этой безнадежности. Браун понадеялась, что теперь Эйнар сможет забыть Изабель и вернуться на Шетландские острова. Но вышло не так. Одновременно с известием об этой смерти он получил от Красного Креста и другую информацию, из-за которой его отчаяние сменилось другим, еще более горьким. А именно, что в январе 1945 года Изабель Дэро родила в Равенсбрюке дочь.

*** * ***

Пока Агнес Браун стригла меня, отдельные волоски постоянно оказывались за шиворотом, и у меня все сильнее чесалась спина. Точно так же во мне все росло беспокойство, терзавшее меня изнутри, в том месте, куда ногтями не дотянешься.

Поначалу я связал это беспокойство с осознанием того, что собранные ими снаряды связаны с несчастным случаем 1971 года. Но потом ощутил неуверенность, проникшую гораздо глубже, в самые потайные уголки моей души. И я чувствовал ее и сейчас, сидя в парикмахерском кресле.

По словам Агнес, Эйнар не знал, является ли он отцом ребенка Изабель или же ребенок был зачат в результате широко практиковавшихся в Амьенской тюрьме изнасилований. Я подумал на это, что если уж моим дедом по матери был немецкий солдат, я не мог относиться к этому с полным отвращением – мне были отвратительны изнасилования, но не сама униформа, ведь такую же носил и дедушка.

Однако вскоре сомнения рассеялись.

Перед тем как закончить стрижку, Агнес взяла в руки бритву и стала точными движениями подправлять неровности, добиваясь совершенства,

как и в 1943 году, когда она постригла Эйнара Хирифьелля на манер *coupe Lyon*, превратив его в Оскара Рибо, которого я знал по фальшивому паспорту.

Сначала мне показалось, что это из-за прически я не узнал свое лицо в зеркале. Но это было не так. На меня смотрел Оскар Рибо.

6

Его коса еще не затупилась. Два взмаха оселком – и ржавчины, покрывшей лезвие на морском воздухе, как не бывало. Приноровившись, я скосил траву вокруг построек на Хаф-Груни. Из трубы валил иссиня-черный торфяной дым. Запах не такой уж неприятный. Я растопил плиту и раздумывал, перекусить ли мне супом или поджарить сосисок.

Вот если бы нам сесть за стол вместе. Вдвоем. Эйнар и я.

Побродить здесь. Являя собой реальное воплощение наших представлений друг о друге. Разговориться или помолчать. Не изображать душещипательных сцен. Просто смотреть, как он курит свою утреннюю трубку, слышать, как проронит пару слов.

Даже после встречи Эйнара с мамой неуверенность в том, кто же ее настоящий отец, должно быть, мучила их. Но вчера вечером правда открылась одновременно мне и Агнес – свидетельские показания в ответ на самый насущный вопрос, ответ, опоздавший на двадцать лет.

Я нашел в себе место для них. Будто всю жизнь я жил в комнате, на стене которой бросались в глаза выцветшие прямоугольники с гвоздиками по центру, оставшиеся от когда-то висевших там фотографий. Теперь в обрамлениях появились лица. Изабель Дэро, Эйнар и мама. Рядом с Альмой, Сверре и отцом.

Мои родители были двоюродными братом и сестрой. Я не ощущал в себе никакого раздвоения, никакого стыда – только глубокую привязанность. Я знал, что никогда никому об этом не расскажу. Разве что, возможно, старому пастору. Больше никто не заслуживал этого знания, и никому и не надо было это знать.

А мне это не мешало. Наоборот, я чувствовал, как меня наполняет гордость. Кровная связь тянулась от меня и к церковным образам в Саксюме, и к парижской мастерской Рульмана. Но люди могли отнестись к этому по-разному. Я видел, как это бывает. Как злопыхатели длинными клювами долбят по вдруг обнажившейся болезненной, уязвимой точке, по самой сердцевине твоего достоинства.

Возможно, у дедушки были какие-то смутные подозрения. О том, что Эйнар может оказаться отцом Николь. Он наблюдал, как я, подрастая, становлюсь похожим на его брата, которого он терпеть не мог. Но я никогда не услышал от него дурного слова. Он знай себе пестовал посевные картофелины, которые не просто были в родстве друг с другом, но *были*

друг другом.

Я продолжал косить траву и вскоре ощутил присутствие дедушки. Это он научил меня водить косой. Его горячие ладони поверх моих маленьких. Правильный замах, косовище из посеревшего дерева, сталь, срезающая траву и укладывающая ее ровными рядками.

Все они были тут, со мной. Сидели вокруг, наблюдая за мной. Я отметил, что мне хочется называть Изабель Дэро бабушкой, и, похоже, во мне как раз освободилось местечко для этого слова. Эйнар пока оставался Эйнаром, хотя и для него имелось не занятое никем слово.

Поужинав ирландскими сосисками грубой рубки, я убрал за собой, и до самого вечера дом оставался теплым и уютным. Я вставил новые батарейки в радиоприемник и слушал норвежское вещание на потрескивающей длинной волне.

В Восточной Норвегии ожидались затяжные осадки. Всем своим существом я почувствовал беспокойство. Слишком много влаги, и весь урожай картофеля может погибнуть от сухой гнили. Как лишнее напоминание об этом, зарядил такой частый дождик, что, казалось, капли *выскакивают* из моря. Анст было почти не видно, и я опасался, что так же льет и у меня дома.

Утром я встал засветло. Стоял полный штиль, море было плоским. Я на веслах дошел до Анста, уселся на горушке повыше и стал смотреть вниз на домик Гвен. Около девяти часов я заметил шевеление за занавеской. Она открыла дверь ясному дню, потянулась и вернулась в дом.

Я посмотрел на часы. Решил спуститься к ней, но не знал, как объяснить свой визит. Ведь Агнес Браун рассказала мне вещи, из которых можно было заключить, что Гвен не та, за кого себя выдает.

*** * ***

Когда Агнес закончила стричь меня, я встал с кресла, и мы поднялись к ней в квартиру. Она отдала мне хранившуюся у нее запасную связку ключей от Хаф-Груни и, как мне показалось, сделала это с облегчением. А еще рассказала, что Эйнар много лет разыскивал безымянного ребенка, не желая задумываться о тщете своих усилий и даже не зная того, что удалось выяснить нам, – что это был его ребенок. Почти тысяча детей родились в Равенсбрюке в течение войны, но, по расчетам Красного Креста, выжили всего десять-пятнадцать.

Я представил себе Эйнара. Весь день со струбцинами и столярным

клеем, лицом к лицу с распятием, он приглушал свою боль, возрождая искусство в разрушенных церквях. Глаза в глаза с апостолами, рука об руку с Девой Марией, день за днем перед Иисусом. Невозможно было остаться неверующим.

Он действовал так же, как когда разыскивал Изабель. Чтобы отблагодарить его, священники писали для него письма. Он ездил по детским домам, разыскивая ребенка, родившегося в январе 1945 года. Но и сам понимал, что эти поиски бесплодны, так как если ребенок и выжил, то его, скорее всего, взяли в приемную семью и он ничего не знает о своем происхождении. К концу пятидесятых Эйнар все сильнее отчаивался. Из-за «холодной войны» стало сложнее получать въездные визы, границы закрылись, и он все больше времени проводил на Хаф-Груни, не находя покоя, в постоянном напряжении, бросая ненавидящие взгляды в направлении Дункана Уинтерфинча. Он оборудовал себе столярную мастерскую и зарабатывал на хлеб, сколачивая безыскусную мебель, которую принимал на продажу один магазинчик в Леруике.

– Но где ты берешь материал? – спросила его как-то Агнес.

– Его выбрасывает морем, – сказал он. Дело в том, что Хаф-Груни омывают морские течения, приносящие с собой бревна и доски и из России, и от берегов Норвегии, а иногда Эйнар находил даже твердые породы дерева из Америки.

Агнес рассказала, что он никогда не терял веры в то, что ребенок Изабель отыщет его, и они договорились, что, если кто-нибудь позвонит по номеру *Леруик, 118* и будет спрашивать его, она отправится на Анст и нарисует белый крест на лодочном сарае, обращенном в сторону Хаф-Груни. По этому знаку он сразу же приедет.

Белый крест. Перед моим внутренним взором предстала облезшая белая краска на лодочном сарае.

– И что, многие звонили? – спросил я.

– Нет, – сказала парикмахерша. – За двадцать лет Эйнару Хирифьеллю никто не позвонил.

Я собирался рассказать ей, что видел крест на сарае, но тут она стала рассказывать о своих отношениях с ним.

– Я сама виновата, – призналась Агнес. – Горе Эйнара было таким тяжким, что могло утянуть на глубину нас обоих. Единственное, на что я надеялась, – это что придет ответ. Чтобы он узнал, что девочка тоже умерла, и успокоился. Но как же я могла строить свои надежды на желании, чтобы ребенок оказался мертвым?

Иногда Эйнар демонстрировал ей мелкие знаки внимания. Она часто

мечтала о том, чтобы привести в порядок потерявшую всякий вид обстановку в салоне, и вот, появившись как-то раз, он неожиданно спросил, может ли она закрыть салон на пару дней. Затем принес доски, затянул окна папиросной бумагой и заперся внутри. Агнес слышала, как он столярничал далеко за полночь. А на следующее утро притащил стулья и прилавки, изготовленные им заранее, и на лице его промелькнуло что-то похожее на улыбку.

В воскресенье ближе к вечеру стук молотка утих. Эйнар привел ее в салон, который оказался бы к месту на парадной торговой улице Парижа. Вся обстановка была выполнена в утонченном стиле ар-деко, с его четкими и чистыми линиями, но украшена она была изысканными резными орнаментами. Ряд элегантных ламп обеспечил мастерам удобное освещение.

– Это я, – сказал Эйнар. – Сам.

Самым шикарным из обстановки был комод с тридцатью ящичками для ножниц и прочей мелочовки. Каждый ящичек был инкрустирован сияющими белыми капельками перламутра, и когда все ящики были задвинуты, узор образовывал очертания тюльпана, такого же, как на лампах.

– Все это забросило сюда море, – сказал Эйнар. – Как нас с тобой.

Впервые он проявил к Агнес какое-то чувство. Парикмахерша обняла его, но ей показалось, что с тем же успехом она могла обнимать статую Вигеланда[38]. Поев, Эйнар заночевал у нее, но на следующий день вернулся на Хаф-Груни.

Обстановка салона поймала ее в сети, из которых ей было уже не выпутаться. Она не могла не влюбиться без памяти в человека, сумевшего создать такую красоту. По той же причине у нее не хватало духу продать салон, и она привыкла служить диспетчером для так и не поступавшего телефонного звонка. Каждый год Браун обновляла регистрацию Эйнара в телефонном каталоге, и каждый год ее с новой силой пронзало горькое понимание того, что и ее собственная жизнь, как и его, проходит зря.

Шли годы. До самого 1967 года, когда вдруг зазвонил телефон и Агнес Браун отложила парикмахерские ножницы с предчувствием, что *этот* звонок другого рода.

Треск и шумы на линии были совсем не такими, как при местных разговорах на Шетландских островах. Какая-то женщина говорила по-английски громким казенным голосом. Вероятно, она смотрела в листок бумаги и разбирала каждое слово по отдельности. Только когда добралась до имени, ее голос обрел уверенность.

– *Эйнар Хирифьелль,* – сказал женский голос на другом конце линии, и по произношению Агнес поняла, что звонившая родом из Гюдбраннсдала.

Браун прервала это чтение по слогам и попросила:

– Говорите по-норвежски, ради бога. *Я тоже норвежка.*

Позвонившая пробубнила что-то с сомнением, но потом сказала:

– Передайте Эйнару, что Николь Дэро здесь. В Норвегии. Дома, в Хирифьелле.

Потом она продиктовала номер телефона и повесила трубку, а Браун так и застыла с трубкой в руке, не успев ничего сказать. Ведь Николь Дэро, мать Изабель, повесили в 1944 году?

Впервые в жизни Агнес не закончила стрижку. Оставила посетителя в кресле, а сама помчалась на Анст на такси.

Эйнар прятал под камнем ведро масляной краски и кисть, и в этот дождливый день она нарисовала на воротах лодочного сарая белый крест. Стояла на пронизывающем ветру и всматривалась в далекий голый остров. Четыре раза в день, в соответствии с расписанием автобуса, Эйнар обычно делал перерыв в столярничанье, поднимался на горушку и смотрел на сарай. Парикмахерша целый час просидела на камне под дождем, без плаща, всматриваясь в даль. И вот, задолго до того, как должен был прийти автобус, она разглядела его силуэт на горушке. Агнес встала и замахала обеими руками, и вскоре появился Эйнар в гребной лодке. Но когда она рассказала, откуда звонили, он был поражен и не мог поверить услышанному.

– Хирифьелль? – сказал наконец Эйнар. – Николь Дэро?

Не обращая внимания на Браун, он бросился бегом к телефонной будке на перекрестке возле паромной пристани, а когда вышел из нее, был растерян и рассеян.

– Можешь убрать мое имя из телефонного каталога, – пробормотал он. – Мне нужно в Норвегию.

Вскоре после этого Агнес увидела его в Леруике: он ехал к Бергенскому парому в своем старом сером автомобиле. Затем он для нее исчез. Ни слова благодарности, ни телефоного звонка, чтобы рассказать ей, что же такое стряслось в Норвегии.

– Тогда я просто ненавидела Эйнара, – сказала мне Браун. – Ненавидела за то, что он не посвятил меня в то, с чем я помогала ему двадцать лет.

Она убрала его имя из телефонного каталога и пожелала ему катиться к черту. Следующие четыре года она его не видела, но от других узнала, что время от времени он бывает на Хаф-Груни, а однажды кто-то приезжал к

нему туда.

Но как-то вечером в декабре 1971 года Браун увидела его в Леруике. Эйнар выглядел хуже, чем когда-либо. Он начал выпивать, околачивался возле портовых пивнушек. Стал похож на баклана со склеившимися крыльями. Агнес знала, что в Леруике мужчина легко мог за какой-нибудь месяц спиться и погибнуть, и похоже, с Эйнаром дело шло к этому. Он болтался по улицам, захлестываемым волнами с Атлантического океана, его шапку унесло ветром в море, и вся одежда пропиталась дождевой влагой. В конце концов его стали пускать только в самое низкопробное заведение, «У капитана Флинта». На Рождество, когда все стараются быть дома, Эйнар шатался по скользким мощеным улицам.

Агнес снова приняла его в свой дом. Он тогда был настолько замызган, что было не разглядеть, где заканчивается кожа и начинается одежда. Трудно было сказать, вызваны ли его страдания горем или чувством вины. Ибо в случае Эйнара Хирифьелля она не могла отделить одно от другого. Только на утро Нового года он уже был в состоянии говорить.

И тогда Эйнар рассказал, что дочь Изабель приехала в Норвегию в уверенности, что Эйнар живет в Хирифьелле. Но, по его словам, когда разъяснилось то, что Эйнар назвал *большим заблуждением,* они начали переписываться, и она даже приезжала к нему в гости. Он считал эти годы самыми счастливыми в своей жизни.

Однако потом Николь с мужем погибли в результате несчастного случая, и это полностью сломило Эйнара. Агнес было совершенно ясно, что он считает себя виноватым в случившемся. Но все, о чем он мог говорить, это о том, что ее сын – я – остался в живых.

2 января 1972 года Эйнар уплыл на Хаф-Груни навсегда. Остаток жизни он не прикасался к спиртному, остаток жизни он делал гробы. Материалы ему привозили бергенским паромом, и все семидесятые годы шетландцев хоронили в гробах из норвежской сосны.

Через несколько лет Агнес закрыла салон, уехала в Норвегию и поселилась у своей сестры, но затем тревожное беспокойство снова погнало ее на Шетландские острова. Время от времени она приплывала к Эйнару и видела, как белый крест, нарисованный ею в 1967 году, постепенно смывается непогодой. Она стригла Эйнару волосы, они обедали, и иногда она оставалась ночевать на Хаф-Груни, а потом возвращалась автобусом в закрытый салон.

Когда Эйнар умер под опрокинувшейся лодкой, его положили в простой еловый гроб, который он уже приготовил для себя и держал в лодочном сарае. Он выбрал себе кладбище в Норвике, где непогода

разрушала надгробия всего за несколько лет. На крышке гроба Эйнар вырезал имя «*Оскар Рибо»,* словно отчаянно пытаясь донести это имя до кого-то.

Агнес известила дедушку, и тот приехал на Шетландские острова с надгробием в багажнике, но в остальном не выказал особого интереса ни к острову, ни к ее рассказам.

Рассказ Браун прервался. Я не отрывал глаз от этой седовласой женщины, думая о том, как мне хотелось бы сделать что-то хорошее для нее. Мне вспомнилась Ханне. Может быть, ее преданность была того же рода, просто я не сумел этого разглядеть…

А потом Агнес рассказала о незнакомке, приезжавшей на похороны Эйнара. Девушке было лет семнадцать-восемнадцать, она была в дорогой одежде, явилась одна и чувствовала себя явно не в своей тарелке. Отвела дедушку в сторонку, но тот качал головой и казался столь же немногословным и тяжелым, как и привезенное им надгробие. Браун была сломлена собственным горем, ей было не до незнакомки, но когда начали закидывать гроб землей, черты лица девушки показались ей знакомыми. Много лет назад она видела ее в Леруике, идущей за руку со старым человеком. Парикмахерша обратила на них внимание потому, что старик вел девочку со стороны проезжей части, но тут она узнала его и поняла, что по-другому он не может. Это однорукий Дункан Уинтерфинч вел за руку свою внучку.

Когда Агнес приплыла после похорон на Хаф-Груни, чтобы прибраться там и все помыть, она обнаружила, что кто-то там уже похозяйничал. Она заменила замки навесными, купленными в Эрсте, сплавала на «*Патне»* в ее последнюю поездку и заперла лодочный сарай. Нацепила ключи на старую связку Эйнара, чтобы отослать ее дедушке в Хирифьелль. Покидая Анст, прошла мимо Квэркус-Холла и увидела, что в каменном домике поселилась девушка, которая приходила на похороны.

Из описаний Браун я понял, что это была, должно быть, Гвендолин Уинтерфинч, внучка Дункана.

7

– Ты постригся? – спросила она.

– Да. У «Мастеров Сент-Суннивы».

– *Quite… individual. Nice, though*[39].

Она стояла в дверях своего каменного домика, держась руками за косяки с обеих сторон, в темно-зеленой клетчатой шерстяной юбке и черном джемпере с высоким горлышком. Взгляд ее глаз блуждал, словно она собиралась посмотреть куда-то, но ей помешали. Что-то в ней такое бродило, какое-то вещество, которое могло застыть в секунды, – а она стояла и ждала, молчаливая и надменная.

Из двери потянуло уютным домашним теплом, какое накапливается в доме, где всю ночь топят очаг. Но это тепло просачивалось мимо меня и растворялось в сером сумраке. Все было на ее стороне. Право собственности, язык, может быть, даже правда.

– Рад снова тебя видеть, – сказал я.

Она опустила глаза. Потом посмотрела мимо меня. На Квэркус-Холл, громоздившийся на краю утеса. Не ответила. Словно ей было неудобно оттого, что я явился туда.

– Что, вернулся кто-то из Уинтерфинчей? – поинтересовался я.

Она сказала, что нет. Я заглянул ей через плечо в небольшую жилую комнату. Оттуда слышно было, что играет пластинка, которую она купила в Леруике. С трудом подбирая английские слова, я спросил:

– А ты не можешь пустить меня в Квэркус-Холл?

– *Что?..* Я же потеряю работу! Им не нравится даже, когда ко мне приходят *сюда*.

Я сделал шаг с крыльца назад. Вот как, она решила притворяться и дальше. В таком случае придется и мне действовать хитростью.

Домик был сложен из округлых серых камней, выцветших там, где на них попадало солнце. Он был обнесен высокой и крепкой стеной, поросшей мхом, – эта стена защищала его от ветра с моря. В крохотном садике между оградой и домом пышно разрослись цветы.

Не похоже было, что Гвен собирается пригласить меня войти. Бесед не заводила. Тепла вроде того, что исходило из комнаты, не излучала.

– А Дункан Уинтерфинч, – сказал я. – Он когда умер?

– А тебе зачем?

– Просто я узнал, что Эйнар прятал от него кое-что. – Я посмотрел

девушке в глаза и добавил: – Наследство, которое искала мама. Похоже, это то же самое, что Уинтерфинч отправил Эйнара привезти в сорок третьем году.

Гвен равнодушно пожала плечами.

– Вот как… Кто тебе сказал?

– Человек, хорошо знавший Эйнара.

Больше я ничего не стал говорить. Еще бы – я и так загнал ее в угол. Служанку не должны волновать навязчивые идеи покойных хозяев. Прояви она слишком явный интерес к этому наследству, и ее обман раскроется.

– Черт с ним, – сказала девушка. – *Сюда-то* я могу тебя пустить. Идем.

Она подбросила в печь пару грубых красно-коричневых полешков из до блеска надраенной медной лоханки. Вспыхнуло пламя. Дубовые дрова. В семействе лесоторговцев торфом, ясное дело, не топят. Даже их «домоправительница», которая не особенно спешила убраться у себя в доме. Дверцы шкафов не закрыты, кровать не заправлена, а попив чаю, она всякий раз просто брала другую чашку.

Здесь было по-домашнему уютно, но я оставался настороже. Не хватало лишь ароматов индийской кухни, чтобы меня потянуло снова на ту же раскрепощенную откровенность, что в «Рабе». В комнате стоял низкий диван в красную полоску, и вокруг него штабелями высились музыкальные журналы. Один штабель рассыпался по полу. «Рекорд коллектор», «Нью мьюзикал экспресс». На столе лежал раскрытым двойной альбом, из носика чайника шел пар.

– А куда ты ездила? – спросил я. – Во второй половине дня.

– Я вернулась последним автобусом.

Гвен приглушила звук стереокомбайна. Проигрыватель был марки «Линн Сондек» – один любитель проигрывающей техники из Саксюма истратил на такой свои социальные выплаты за полгода. Комплект усилителей от «Аудиолаб» из трех элементов. Колонки – два широких электростата «Квад». Музыкальный центр, вполне достойный тех навскидку пяти сотен долгоиграющих пластинок, что заполняли полки.

– Ты что, публикуешь музыкальные рецензии? – предположил я.

Девушка стала разглядывать свои ногти.

– Нет, просто интересуюсь. Пластинки не мои.

Я снял анорак. Перед тем как отправиться сюда на лодке, я надраил себя с мылом и сменил белье. Но даже и сейчас мог представить у себя на языке пряный вкус кушаний из «*Рабы*». И кожа моя до сих пор пахла иначе из-за всего нового, что потихоньку испарялось через нее.

– Ты вроде в Эдинбург собирался? – заметила Гвен.

– Собирался, – сказал я. – Но паром туда идет только завтра. Скажи, а ты обычно сюда самолетом летаешь?

– Да нет. Я тоже на пароме плаваю.

– А какие они, эти Уинтерфинчи? – поинтересовался я. – Когда ты о них говоришь, они представляются эдакой большой тучей. Просто клан какой-то.

Хозяйка дома принялась складывать журналы. Присела на корточки, так что попой касалась начищенных до блеска туфель. Юбки шли ей больше брюк. Волосы на затылке были подстрижены скобкой, так что над обнажившейся впадинкой на шее обрисовывалась полоска темных корней. Мне ужасно захотелось прижаться лицом к ее голове сзади, уткнуться носом в эти ее корни волос, посмотреть, не сможет ли такое легкое прикосновение взять верх над мозгом, обнажить ее настоящую.

– Они и *есть* клан, – сказала она, поднимаясь с кипой журналов. – Древний род. Но…

– Работодателей не обсуждают, – перебил я ее.

– *Точно,* – начала она, – *it is…*

– *…not done,* – закончил я за нее.

Сколько еще времени она будет делать вид, что просто работает на эту семью? И зачем ей притворяться? Она словно идет за лошадью, на которой не собирается скакать.

– Значит, ты выяснил, в чем состоит наследство? – спросила Гвен.

– Да, – кивнул я. – Я это узнал.

Мы смотрели друг на друга. Каждый из нас как будто наводил свою «Лейку» на резкость. Но то ли Гвен поняла, что я вру, то ли она умела врать лучше меня.

– И ты знаешь, где оно? – задала она новый вопрос.

Я покачал головой.

Девушка поставила журналы на полку. Не поворачиваясь ко мне, уперла руки в боки и постояла так пару секунд.

– Но ты ведь хочешь это узнать? – уточнила она, обернувшись.

На это я ответил кивком. И спросил себя, какую же цену мне придется за это заплатить.

*** * ***

Немного позже я отплыл назад на Хаф-Груни. Побродил по нему до

темноты, постоял в одиночестве с ночью и морем.

Мы с Гвен посидели, послушали «*The Cutter and The Clan*»[40], вернувшись к себе прежним, какими мы были в ресторане, – двум фальшивым личинам, которые, однако, были единственными, посредством которых мы могли общаться. Она рассказала, что ее любимые группы – «Ранриг» и «Биг Кантри», и, когда игла поднялась с пластинки, в комнате воцарилась тяжелая тишина. Мы неуклюже распрощались, сказав: «Ну, увидимся».

Вероятно, она меня раскусила, поняла, что необходима мне, дабы узнать больше, но мы как будто хотели начать игру, однако не могли найти игральные кости.

Кроме того, заметил я, так было и проще. Пока мы скользили по поверхности, ставкой в игре служила правда не об отце и матери, а о наследстве. О деньгах, золотых слитках, о чем-то там еще… Окольный путь, обходящий большие вопросы.

Окольный путь, которым я, собственно, шел всю жизнь.

И вот теперь я поднимался на взгорок, с которого Эйнару открывался вид на сарай для лодок. Меня снова стало мучить то, что долго мучило, когда я был подростком. Когда мне было стыдно, что я никогда по-настоящему не скорблю о родителях.

Я *восхищался* тем, как горевал Эйнар, как он отреагировал на случившееся в 1971-м. Он страдал открыто и искренне, он принял муки, которые должны были бы терзать и меня. Я же поступал, как дедушка. Тот простился с ними, покинул место их захоронения, единственное место, где он дал выход своему горю, а потом расправил плечи, взял меня за руку, повернулся к этому месту спиной и вернулся к собственной жизни.

Но разница была в том, думал я, стоя на каменном уступе, что Эйнар *знал* их. Моя скорбь, как бы я ни старался прочувствовать ее, была всего лишь бесцветной оболочкой. Так можно скорбеть по кому угодно, и тем самым моя скорбь оказывалась *ненастоящей;* она была просто крутящейся в воздухе снежинкой, которую никто не вспомнит, когда та пролетит мимо.

*** * ***

На следующий день я на веслах доплыл до Анста. Подъехал к телефонной будке. Вероятно, к той же, в которой стоял Эйнар, когда в 1967 году звонил в Норвегию, чувствуя себя столь же неуверенно, что и я сейчас.

Я выгреб из кармана монетки. Задержал дыхание и повторил его

действия тех лет. Набрал номер в Саксюме. Только номер, на который звонил *я*, я набирал уже не раз в случаях, когда мне приходилось туго.

Трубку снял ее отец. Когда я назвался, последовало обычное двусмысленное «понятно». У нас с ним одно было общее: мы оба предпочитали не иметь дела друг с другом.

Я услышал, как отец Ханне проворчал: «Это он», и Ханне взяла трубку.

– А, – сказала она. Мне знакомо было это «а», оно могло значить очень многое. Сейчас оно значило: «я надулась, и тебя стоит немножко помурыжить».

– Уже вернулась с Юга? – сказал я.

– Я не ездила.

– Эйнар умер много лет назад, – сообщил я.

– Ой, – сказала Ханне, и ее голос немного смягчился. – Так ты, значит, вернулся домой?

– Я еще на Шетландских островах.

– Да ну тебя, Эдвард!

– Я *вправду* на Шетландских островах, – сказал я и открыл дверь телефонной будки. – Слышишь, чайки кричат? Я в месте, которое называется Анст.

Ханне замолчала. Линия едва слышно потрескивала электрическими разрядами.

– Ты же и в Осло почти не бывал, – заметила она.

Я собирался сказать, что соскучился по ней, но не сказал. Сложность была в том, что не по всему в ней я скучал. Я скучал по ее теплу и уравновешенности. Но вовсе не скучал по тому свинцовому грузилу в ней, которое грозило крепко удерживать меня на месте.

– Да ничего, вполне справляюсь, – сказал я.

– А чем ты там занимаешься, раз он умер?

Я хотел рассказать, что между Эйнаром и теми четырьмя днями, что я отсутствовал, есть связь. Что я постепенно выясняю, почему мама приехала в Хирифьелль и что представляет собой наследство. Но мне потихоньку становилось ясно, что вся эта история превращается в историю еще одного человека – девушки, которой я не мог доверять до конца, но к которой меня влекло, а именно Гвендолин Уинтерфинч.

– Эдвард, – сказала Ханне, – я тебя больше не понимаю. Я не знаю, что и думать.

– Я и не знал, что тебе требуется что-то об этом думать, – отозвался я.

– Ну, тогда мне, наверное, лучше повесить трубку, – заявила она.

Автомат запищал. Я бросил в него еще монетку.

– Ханне. Извини. Я ляпнул глупость. Мне нужно попросить тебя кое о чем. Я задержусь еще на неделю. Ты не могла бы заехать на хутор и посмотреть, не появилась ли на картофельной ботве сухая гниль? Ключ от шлагбаума лежит под черным камнем.

– Ты хочешь, чтобы я *что сделала?*

– Только посмотрела, нет ли сухой гнили.

– А если есть? Не буду же я заниматься опрыскиванием! Ты меня не нанимал.

– Нет, просто посмотри, всё ли в порядке. И еще я хотел попросить тебя сдать в библиотеку книги, которые лежат на кухонном столе.

– А когда их пора сдавать, Эдвард?

– Не помню точно.

– Летом библиотека выдает книги на два месяца. Ты сколько собираешься отсутствовать – *одну,* две или *три* недели?

– Еще одну. Овцы же в горах. И…

– Я понять не могу, – продолжала Ханне, – что тебе там надо, раз он умер?

*** * ***

Я поехал в Леруик, на паромную пристань в Холмсгарте, пахнувшую рыбой и дизельным выхлопом. Билеты продавал мужик с двойным подбородком, который, похоже, всю свою жизнь просидел в кассе, не двигаясь. Я перенес возвращение в Берген на более поздний срок и заодно спросил, когда отходит паром на Абердин.

Можно будет побеседовать об этом с Гвен. Чуть-чуть поприжать ее. Сделать вид, будто я не оставил мысли навестить семейство Уинтерфинчей в Эдинбурге.

Я и спросил-то только о времени отправления, но кассир повысил голос и сказал, что вообще не может продать мне билет на Абердин.

– Чего? – переспросил я, нагнувшись к отверстию в застекленном окошке кассы.

– Не могу продать вам билет, извините!

– Почему я не могу купить билет? – удивился я, но тут сообразил, что это у него просто языковое клише.

По той причине, сказал он, что ожидается непогода. Настоящий ураган. «*We have strong gales coming in. Really strong ones*»[41]. И поэтому

гарантировать, что время прибытия будет совпадать с указанным в расписании, они не могут. Да и само прибытие тоже, чего уж там.

– В худшем случае паром вообще не сможет подойти к пристани, – предупредил кассир. – Придется дожидаться в открытом море. Бывало, по двое суток приходилось ждать.

Я отъехал от паромной пристани, опустил окно и высунул руку под встречный ветерок. Втянул носом аромат травы, посмотрел на небо. Голубое, чистое. О какой-такой непогоде он талдычил?

Я уже проехал Йелл до середины, как это началось. Порыв ветра швырнул машину вбок, словно перышко. Дорога спускалась к *voe* – бухте, – и стало видно, как с моря надвигается непогода. Небо потемнело, как будто к ночи, вздыбились волны с белыми гребешками. На одном спуске встречный ветер задул с такой силой, что мне пришлось ехать на третьей передаче.

Часом позже, плывя на пароме «*Гейра»* к Ансту, я понял, что дела и вправду плохи. Водители грузовиков разобрали стальные крючья с ботдека, достали грубые оранжевые стропы и крепили свои машины, чтобы те не снесло.

Паром еще не разогнался до своей нормальной скорости, а меня уже одолела морская болезнь. «*Гейра»* поплавком подскакивал на волнах. Когда он застывал на гребне волны, время останавливалось, а потом он становился невесомым и ухал в провал между волн, так что водой окатывало весь нос со стоящими на палубе автомобилями.

Я выдержал три таких подскока, после чего бросился в туалет, и меня вырвало. Вернувшись на палубу, я увидел, что мы сбились с курса: Анст был виден под другим ракурсом.

Мы шли в море.

Обливаясь холодным потом, я принялся читать инструкцию по безопасности. Где находятся спасательные шлюпки. В каком порядке проводится эвакуация. Море стало серо-зеленым и покрылось частой рябью, словно вода в кильватере позади винта.

В хорошую погоду переправа не занимала и четверти часа. А мы и через полчаса не вышли на нужный курс. Но члены экипажа не кричали, не размахивали руками – они просто тяжелыми шагами двигались по палубе, соизмеряя свои движения с уклоном качки, и проверяли, не распускаются ли стропы грузовиков.

Пассажиры тоже не обращали внимания на волны. Народ включил «дворники» и сидел в машинах, которые постоянно обдавало морской водой, и как ни в чем не бывало читали «Шетланд таймс».

Я немного успокоился. Пока меня не посетила новая тревожная мысль. Случившееся могло означать только одно: что погода может стать еще хуже.

Наконец стальной пандус с грохотом опустился, и я съехал на берег. Меня пошатывало, голова кружилась, словно накануне я весь день хлестал неразбавленный спирт. Прежде чем ехать дальше, я посидел, не двигаясь, десять минут.

Сквозь потоки дождя мне был виден свет в магазине. На редкость хороший мотив для фотоснимка, только в такую погоду он и получился бы. Но «Лейки» со мной не было. Может быть, это говорило о том, что я начинаю уже привыкать к этому месту.

Я поторопился внутрь, набрал колбасы, консервов и прихватил бутылку виски «Белая лошадь». Продавец удивился, увидев меня, и украдкой глянул в сторону полки с журналами.

Ага, вон она стоит. Спиной ко мне, в темно-зеленой непромокаемой куртке.

Я дождался ее у входа. Пакет с ее покупками был тоненьким и легким, мой же распирали консервы, грозя его прорвать.

Парень из норвежских лесов встречает шторм калорийным провиантом и ракетами для подачи сигналов бедствия. Гвендолин Уинтерфинч встречала шторм шестью глянцевыми журналами, коробкой конфет и развесным чаем.

– Привет, чужестранец, – сказала она.

– И ты притащилась сюда в такую погоду? – удивился я.

– Ну, пасмурно, и что?

И вот мы снова сидим в моей машине.

– Паром на Абердин отменили, – сказал я. – Из-за погоды. Придется мне подождать немного с визитом к Уинтерфинчам.

От порыва ветра «дворники» застучали по стеклу. Я ехал в направлении Квэркус-Холла, мы миновали лодочный сарай Эйнара и теперь смотрели на волны.

– При таком волнении на веслах добраться до Хаф-Груни невозможно, – сказала Гвен.

– Я знаю. Я собирался заночевать в сарае или в машине. Поэтому и закупился продуктами.

Эта фраза повисла в воздухе. Не получится переждать непогоду у нее. Не получится дождаться, чтобы она призналась, кто она такая. А я бы тогда рассказал ей, что известно *мне*.

– Зачем же ночевать в сарае, – сказала Гвен, когда мы припарковались

перед Квэркус-Холлом. – Я могу тебя туда перевезти. А завтра заберу.

– А получится? – не поверил я, глядя на неспокойное серое море.

– *I have access to a highly seaworthy boat*[42]. Но надо прямо сейчас плыть. А то разыграется не на шутку.

– А разве еще не разыгралось? – перекричал я ветер. – Может, подождем, посмотрим, не распогодится ли?

– Не распогодится. Только хуже будет. Вон смотри, – сказала девушка. – Буревестники налетели.

Сквозь проливной дождь видно было полчища черных с белым птиц. Подхватываемые ветром, они стайками тянулись к Хаф-Груни.

– Они предвещают *настоящую* непогоду, – объяснила Гвен. – Потому и называются буревестниками.

8

Я согласился не потому, что мне там что-то было надо. Я сделал это, чтобы выяснить, что заставило Гвен отправиться вместе со мной в такую непогоду. Покинуть домик с его уютным теплом и шестью свежими журналами.

– Неужели на этой поплывем? – удивился я, показав на причал. Возле него волнами швыряло лодку, на которой девушка появилась здесь в первый день.

– Ты что, конечно нет, – сказала моя спутница, шагая к высокому сараю для лодок в паре сотен метров оттуда. – *Эту* возьмем, – добавила она, распахивая двери.

В темноте я едва различил стройные очертания лодки. Гвен юркнула внутрь, и следующим звуком, услышанным мной, было рычание мощного двигателя. Так ревели американские машины, появлявшиеся на автостанции в соседней деревне.

Она быстро выбралась оттуда, дав задний ход. Быстроходный катер, но допотопный, футов двадцати в длину, с темно-красными сиденьями в два ряда и низким лобовым стеклом. Коричневатый корпус из красного дерева был поцарапан, лак растрескался и потерял блеск, хромированная обшивка планшира и штевня покрылась пятнами ржавчины. На носу черными буквами было выведено «*Зетленд*».

– *Это* еще что за чудо? – поинтересовался я, приняв протянутую ею руку.

– Слышал когда-нибудь о лодках «Рива»? – спросила девушка.

Усаживаясь рядом с ней, я покачал головой. Море с силой ударяло то в один, то в другой борт. Пока Гвен разогревала мотор, он пару раз принимался барахлить.

– Так вот, это «Рива», но выпущенная в двадцать четвертом году, до того как лодки «Рива» превратились в престижную игрушку, – рассказала Гвен.

В каждой мельчайшей детали проглядывали возраст лодки и изумительное мастерство, с которым она была построена. Все равно что вытащить под проливной дождь полотно Рембрандта.

– Ты уверена, что она выдержит такую высокую волну? – засомневался я.

В ответ девушка велела мне держаться крепче. Она потянула за

блестящую рукоять, и мы помчались к Хаф-Груни. «*Зетленд*» разрезал волны, как торпеда.

– Красное дерево для ее постройки поставил Дункан Уинтерфинч, – пояснила Гвен под рев мотора. Когда она увеличила число оборотов, выхлоп зазвучал оперной арией. – А построил ее достопочтенный господин Серафина Рива. Отец Карло Рива, который в пятидесятые годы превратил лодки «Рива» в гламурные лодки-«ролекс», какими мы их знаем сегодня. Говорят, что когда «Рива» стали лодками для снобов, Уинтерфинч открутил с них эмблемы.

Гвен гордилась своим дедушкой. Не скрывая. Чуть подтолкнуть ее – и она скажет, кто она, собственно, такая.

– А каково происхождение фамилии Уинтерфинч? – спросил я.

– Кто-то из его предков искал, где бы отстроиться. Была зима – *winter*, и на дереве он увидел одинокого вьюрка, *finch*. Вообще-то это перелетная птица, но тот вьюрок остался зимовать. Около этого дерева предок и поселился. Так говорят.

Почему я молчу? Не прошу ее назвать свое имя, чтобы и я мог ответить ей так же честно?

Правда состояла в том, что мне начинала уже нравиться эта игра, и я видел, что Гвен она тоже нравится. Ей нравилось изображать «другую», а мне нравилось, что она пошла сразу с короля пик, так что я мог побить его, лишь открыв, что у меня есть туз.

Ее лицо выглядело иначе на свежем ветре. Раскрасневшиеся щеки, растрепавшиеся волосы… Что в ней осталось прежним, так это одежда. Потоки дождя без труда проникали в мой анорак, она же под своей непромокаемой курткой оставалась совершенно сухой. Ледяные струи летели прямо в лицо, и казалось, что каждая капля остро заточена. *Она* подставляла под них лицо, предоставляя им покалывать кожу.

– Сэкономлю деньги на пилинге лица! – задорно воскликнула Гвен.

«Рива» мчалась во всю мощь, и всего через несколько минут мы причалили к полусгнившей пристани Эйнара. Я плюхнул пакет с покупками на планки и выбрался сам.

Но Гвен не двинулась прочь. Вглядываясь в морскую даль, она позволила мотору крутиться на холостом ходу. Ее волосы трепал ветер. Потом она бросила мне найтов наискось против ветра, так что его снесло прямо мне в руки, и велела подтянуть лодку к сараю.

– Зачем? – не понял я.

– Посмотри туда, – сказала она, повернув лицо в сторону пролива. Там были тучи еще темнее тех, которые я видел на Йелле. Они накатывали на

нас, черные и плотные, как вулканическое облако.

– *Вот теперь* будет худо, – сказала моя спутница, после чего отворила ворота сарая и принайтовила лодку к заросшим ракушками палам внутри него.

– А что говорят Уинтерфинчи на то, что ты пользуешься этой серафиновой «Ривой» или как там ее? – поинтересовался я.

– О, Эдуард, пойми, у них есть еще одна «Рива». Где-то в Средиземноморье.

– Гламурной разновидности? – уточнил я.

– Гламурной разновидности. Они другого поколения. У них другой стиль.

– Где ты училась судовождению? – продолжал я расспросы.

– Папа научил, – сказала Гвен, захлопнув засов. – Он говорил, что уж погода точно не сможет отлучить его от Анста.

– Почему же вы переехали?

– Потому что погода отлучила от Анста *маму*, – ответила она и пошла к жилью. Я стоял и смотрел на море. Затем спросил:

– Будет шторм? Или ураган?

– Представления не имею. Здесь такие определения не имеют смысла.

– А бывает что-то хуже, чем *gale?*

– *Furious gale. Для более сильных ветров даже названия нет.*

Сидя в спартански обставленной комнатке по разные стороны от парафиновой лампы, мы жевали «*Дженкинс код кейкс*», а за стенами завывал ветер. Я сидел неподвижно, но в теле все еще отзывалась качка.

Я ждал, когда же начать. И вот повод представился – она потянулась за солью.

– Я нашел старое письмо, – соврал я. – Пятьдесят восьмого года, в нем Эйнар предлагает Дункану Уинтерфинчу выкупить его земли за три тысячи фунтов.

Рука Гвен, как раз дотянувшаяся до солонки, дрогнула и замедлила движение. Секудная задержка: рука утратила контакт с мыслями.

– И что? – сказала она без выражения. – Сторговались?

– Видимо, Уинтерфинч не согласился, – сказал я.

Ее лицо снова стало маской. Она продолжала есть, болтая о шторме и погоде.

Но я понял, что эта история ей известна. Она знает, что было и чего не было в 1958 году, задолго до ее появления на свет.

Я чуть было не рассказал ей все. Но на мне лежала ответственность перед мертвыми. Если я откроюсь, для чего Гвен использует это? Может

быть, она и так знает основное, и ей остается лишь выяснить, когда или где, чтобы поменять курс и найти то, что искали мама и Эйнар?

Море ревело все громче. Дождь теперь лил потоком, бил по окнам. Мы подсели поближе к огню. Больше не упоминали ни Уинтерфинча, ни Эйнара. Снова стали случайно занесенным сюда норвежцем и несведущей служанкой.

Хорошего это не сулит, сказал я себе. Мы здесь вдвоем. А Ханне так далеко, во всех смыслах этого слова…

Я посмотрел Гвен в глаза. Подумал: сколько времени парень с девушкой проведут под одной крышей в непогоду, не переспав друг с другом? С каждым порывом ветра мы все теснее прижимались друг к другу. Каменные стены защищали нас от бури, но здесь, внутри, вступили в действие какие-то иные силы. Ее взгляды все дольше задерживались на мне, мои – на ней, в глубинном осознании троглодитами того, что следует держаться вместе, чтобы не замерзнуть, производить потомство, не давать прерваться человеческому роду.

Под шерстяной тканью четко обозначились ее соски. Я превращался в животное. Но в ту секунду, когда ее веки уже было опустились настолько, чтобы это можно было счесть за приглашение, задребезжало стекло – непогода разгулялась не на шутку.

Колдовство рассеялось, и мы вскочили на ноги.

Весь пол кухни был засыпан осколками. В окно хлестал дождь; капли шипели, долетая до чугунной плиты.

По стене что-то грохнуло. Камень по камню. Еще один.

– Надо закрыть ставни, – сказала девушка. – Волной швыряет камни с берега, они ударяют в дом.

– Так не бывает.

– *Blimey!*[43] Еще как бывает. В такую непогоду почтальонам запрещено останавливаться близ берега. Машины потом все во вмятинах.

Я подошел к разбитому окну.

– Ты что, отойди! – крикнула Гвен, оттянув меня за свитер. – Ветром подбросит осколки, порежешься весь.

– Вот черт… Что же делать?

– Думаешь, ставни на Шетландских островах для украшения? Выйди, закрой их, а я закреплю их изнутри.

Я еле открыл входную дверь против ветра. Когда та уже наполовину подалась, ее рвануло штормом так, что она чуть не слетела с петель. Порывом ветра наши куртки скинуло с вешалки. В ушах у меня завывал ветер; не дойдя до угла дома, я уже насквозь промок. Море вокруг

поднялось на несколько метров, и казалось, зеленая пена вот-вот поглотит весь остров. Я двинулся вперед, наклонившись так, будто поднимался в гору, – чтобы отдышаться, приходилось отворачивать лицо от ветра. С береговой полосы доносилось частое лязганье, похожее на тот звук, когда высыпаешь целый прицеп камней на землю, и они, падая, расталкивают друг друга в поисках свободного места.

Под шквалом мелких камешков я отцепил ставни. Из разбитого окна высунулась рука Гвен, потянувшая их на себя. Так мы закрыли все окна, укрепив дом снаружи и затемнив внутри.

Гвен вышла из дома. Встала рядом со мной и мгновенно промокла. Ее волосы прилипли ко лбу. Волны под нами сворачивались в гигантскую стружку.

– Знаешь про Макл-Флагга? – прокричала она. – Маяк у Анста? Пару лет он простоял, а потом пришлось его надстроить, потому что камни с моря постоянно били стекла.

– Скоро рыбу из моря начнет выбрасывать, – сказал я.

Гвен медленно качнула головой.

– Да уж, похоже, что так.

Бесцветно-темные море и небо слились воедино в кастрюлю с крышкой. Мы, крохотные, были внутри этой сросшейся беснующейся массы без конца и начала. Грохот стоял, как от винтов вертолета.

Внезапно я потерял равновесие. На пару секунд мне почудилось, что *весь остров* целиком вырвало из земной коры. Оказалось, ветер, навстречу которому я наклонился, вдруг затих.

За ним успокоились и волны, словно осознав, что остались в одиночестве в этой бешеной скачке, и заскучав по ветру. Поверхность моря, светло-зеленого, взбитого ветром, наполненного пузырьками воздуха, разгладилась. Воздух все еще был напоен влагой, но среди туч мелькнул просвет.

– Что, проясняется? – удивленно сказал я.

Дождевая вода струилась по краснощекому лицу Гвен, но она не вытирала ее.

– Нет. Это был *furious gale*. А теперь начнется то, для чего нет названия.

Вода собралась в ручеек, резво струившийся у наших ног. Кровлю не сдуло благодаря сетке, но дверь в один из сараев распахнуло, и та зловеще громыхала на петлях.

– Пойду принесу еще торфа, – сказал я. – Пока еще можно ходить, выпрямившись. Завалю эту дверь.

– Давай, – кивнула девушка и поторопилась к лодочному сараю посмотреть, как там «*Зетленд*».

Я понимал, что карты мне выпали неважные. Даже погода была на ее стороне. Постепенно до меня начало доходить, что в прежние времена отношения между поколениями регулировались не заботой и лаской. А стенами пещер – от ветра. Блестящей сталью – от врага. Сухим полом – от промокших ног. Притяжением напуганного к бесстрашному.

В сарае я наполнил торфом жестяной бак, дотащил его до дома и опорожнил в деревянный ящик возле кухонной плиты. Вновь разыгралась непогода. Поднялись волны, громче завыл ветер. Я переложил торф в кадку перед очагом и побежал набрать еще. По пути миновал сарайчик возле жилого дома. Меня осенила одна мысль, и я так и застыл на месте, не обращая внимания на стекавшую по волосам воду.

Дома у нас сарай для дров стоял поближе к жилью, чтобы не бегать далеко в минус тридцать градусов. Тогда почему Эйнар хранил торф для растопки в самой дальней сараюшке? К тому же сложил его *подальше от двери…* Так, что, приходя за торфом, нужно было пробираться между ручными инструментами и электроустановкой…

– Теперь хватит, пожалуй, – сказала Гвен, когда я вернулся. Она зажгла несколько стеариновых свечек и устроилась перед очагом в тонком сером свитере с белым узором. Ткань у нее на спине обрисовала застежку лифчика.

– Еще немного, – сказал я. – Это же надолго, наверное.

Она посмотрела на меня таким же взглядом с поволокой, как и до этого, когда я чуть было не сдался.

– Да уж, – сказала девушка, – похоже, надолго.

Я подбросил в очаг топлива и вернулся в сарай, раскапывать торфяную гору. Жирные комья резко пахли. Я откинул их в сторону, вскарабкался на торфяную кучу и продолжал копать. Наткнулся на более ранний слой торфа – комки там были ровнее, их поверхность оказалась сероватой и сухой.

Я копал, пока лопата не ткнулась в пол, сел на колени и осторожно расчистил ладонью несколько досок.

Пол?

Но в сарае нет деревянного пола.

«Чтобы ночевал хотя бы одну холодную неделю», – вспомнил я. И извел достаточно торфа, чтобы добраться до дна.

– Ты чего так долго? – крикнула Гвен, когда я вернулся.

– Дверь с петель сорвало! – завопил я. – Пришлось забить досками дверной проем.

Даже в доме приходилось кричать: в дымоходе завывал ветер, как будто великан играл на бутылке.

– Ты что, *привернул* дверь к торфу? – спросила она.

– А то ее унесло бы.

Я стащил с себя насквозь промокший джемпер и остался с голым торсом.

– Нам хватит этого на два-три дня.

Гвен подошла ко мне, легко одетая. Ее тело рельефно обрисовывалось на фоне горящего в печке огня. У меня к ногам липли джинсы.

– Что с тобой такое? – сказала она. – Привидение, что ли, увидел в торфе?

Дом заходил ходуном. Как и предсказывала Гвен, под ураганным ветром через него перекатывались волны. С подоконников полилась вода.

– Этому дому больше сотни лет, – сказала девушка, положив руку мне на грудь. Но сразу же убрала ее и повесила мой джемпер на спинку стула.

– Значит, если его раньше не снесло в море, то и теперь не снесет? – уточнил я.

– Вот именно. Самые сильные порывы ветра в Великобритании зарегистрированы на Анстe. На Макл-Флагга, я тебе рассказывала.

– Сильнее, чем сейчас?

– Сто семьдесят три мили в час.

– Но это же невозможно, – сказал я, вытирая лоб. Чтобы расслышать ответ, мне пришлось подойти вплотную к Гвен.

– Вот и метеорологи говорили, – она усмехнулась, – что это невозможно. Зашкаливало измерительные приборы. А потом налетел порыв еще сильнее и сдул все эти приборы в море.

Громыхали ставни. Мы стояли в полутьме, в отсветах горящего торфа.

Девушка шагнула ко мне. Закусила губу. Произнесла:

– Но этот дом выдержал.

Она *хотела*. Чтобы я сделал следующий шаг, чтобы она могла раскрыться и впустить меня. Я чувствовал ее запах, аромат волос и влажной шерсти нижнего белья. От нее пахло мокрым морем и мокрым животным.

*** * ***

Наутро остров выглядел влажным, чисто умытым. Выглянуло солнце, и от земли поднимался пар. Пахло странной смесью соли и земли, дождя и

гнили.

Там, где торф сорвало бурей, землю разукрасили черные полосы. Вода несла груды травы и водорослей. У берега в клочьях пены бултыхался плáвник. Там, где ободралась кора, просвечивала желтоватая древесина. В основном сосна, вероятно норвежская, но и еще какие-то деревья, неизвестные мне. Они могли приплыть сюда из любой точки земного шара.

Вон и Гвен идет. Не радуясь хорошей погоде, она прошла мимо меня прямо к сараю.

Надутая, отвергнутая.

Этой ночью я едва не поддался желанию и любопытству. Жаждал узнать и кто она такая, и что искал Уинтерфинч: два вопроса, встретившиеся в одной сырой точке. Я тоже *хотел*. Увидеть ее с голыми плечами и обнаженной шеей, стащить остальную одежду и взять ее прямо на полу.

А потом рассказать ей все, что я знаю. И потребовать от нее такой же честности.

Но циничная, недобрая рассудительность остановила меня. Что-то было спрятано в сарае под досками, и так тщательно, что, видимо, у Эйнара были на это веские основания. Что-то, что, видимо, искала и Гвен.

Она промаршировала к самой воде и остановилась.

– Ты чего? – спросил я, поравнявшись с ней.

Гвен не ответила. Я подошел на пару шагов поближе и увидел, что на волнах качается дохлая овца с окоченелыми ногами. Время от времени тушу переворачивало так, что копыта торчали из воды обгорелыми спичками. Голова овцы болталась, между зубов высунулся язык.

Я вошел в воду и схватил ее за задние ноги. Шерсть колыхалась в воде, сначала повторяя движение волн, потом мои движения. Я выволок ее на прибрежные камни.

– На что она тебе? – удивилась девушка.

– На что?

– Да?

Но ведь это была овца. Домашняя. Вытаскивая ее, я чувствовал, будто вытаскиваю часть своей жизни в Хирифьелле. Тяжелой, многотрудной. Эта ноша тянула к земле, как узы, связывающие меня с хутором. В ухе у овцы была желтая метка, такого же цвета, как и в Норвегии.

Я вытащил тушу на большой округлый камень. Вода потихоньку скатывалась с ее шерсти. Гвен пошла к сараю, такая же мрачная, как отголоски *furious gale*.

Я ожидал, что услышу стук засова, а потом – скрип распахнувшихся

ворот. Вместо этого раздался грубый крик*: «What the hell?!»*[44]

Ворота сарая сорвало штормом. Непогода добралась до «*Зетленда*», вдребезги разбив часть досок кормы. Дерево в этом месте превратилось в щепу, как обломанное полено. Но вода не попала внутрь, и лодка прекрасно держалась на воде, окруженная радужной лужицей разлившегося масла.

Гвен вскочила в лодку. Мотор завелся с первого оборота, и она подала назад. Думая о том, выдержал ли натиск бури сарайчик на Ансте, где стояла «*Патна*», я прошел по камням к месту, откуда мог бы забраться в лодку.

Но Гвен не подошла к берегу. Лодка покачивалась на волнах в нескольких метрах от меня. Девушка дала мотору большие обороты и окинула меня взглядом, каким, должно быть, Дункан Уинтерфинч окидывал Эйнара. Сказала: «*Goodbye, you…*»

Остальное заглушил рев мотора. «*Зетленд*» взлетел над водой, и она исчезла вдали. Поднятые лодкой волны били о берег.

Я оставил овцу на земле. Открутил доски, закрывавшие вход в сарай, и снова принялся разгребать торф. Измазал руки жирной черной массой. Скоро набросанная мной куча торфа так выросла, что перестала пропускать свежий воздух от двери, но к этому времени я уже раскопал что-то продолговатое, черное.

Гроб.

Показались первые после шторма чайки. Они кружили над островом, и в открытую дверь я увидел, что самые смелые уже клюют овцу. Я взял нож, выпотрошил и ободрал животное. Кровью с моих рук смыло черный торф. Тушу я подвесил в сарае, а внутренности выбросил в море, где на них тут же накинулась целая стая чаек.

Постоял, прислушиваясь – не заревет ли «*Зетленд*»*?* Тишина.

Я вернулся внутрь и посмотрел на гроб. Снаружи чайки кричали все громче, пока не смолкли, склевав все дочиста.

При свете парафиновой лампы я оттер поверхность дочиста. Показались лилии.

Легкие, изящные очертания лилий, вырезанные на покрытом черным лаком дереве. Кроны цветов и стебли были выложены отливающими белизной каплями перламутра. Свет играл на орнаменте подобно тому, как играют на земле тени, отбрасываемые на закате солнца. Проступали все новые узоры. Боковые стороны были украшены изображениями леса. Не броскими картинами, а точно намеченными, элегантными очертаниями. Одиночные крупные деревья среди небольших скоплений молодой поросли. Полные силы, несущие мечту о мире. Можно было разглядеть каждую травинку. Изумительная прорисовка, сложная даже для художника

с отточенным карандашом в руке.

А Эйнар ведь использовал стамеску.

Теперь откопанный гроб стоял передо мной целехонький, а вокруг, как распавшаяся форма для отливки, валялись комки торфа.

Вот и правда, подумал я. Когда-то он похоронил правду здесь. Я поднялся на ноги и взялся за крышку. Она сидела плотно. Я ухватился покрепче и потянул с такой силой, что весь гроб приподнялся с чавкающим звуком. Потом я почувствовал, как крышка хрустнула и подалась.

С лампой в руке я опустился на колени. И с облегчением, и с разочарованием одновременно.

Там лежали две вещи.

Старый дробовик изящной формы. Вблизи было видно, что он залежался. Длинные потертые стволы заросли налипшей на них пылью. Деревянные детали были густо навощены, отчего приклад казался единообразно серым.

Вторая вещь – большая шкатулка из полированной свилеватой карельской березы. Похоже, выточена из одного куска дерева. Только перенеся ее в столярную мастерскую и включив электрический свет, я разглядел тоненькую прорезь между корпусом и крышкой. Они были так плотно подогнаны, что пришлось загнать между ними струбцину. Тогда крышка со скрипом откинулась, обдав меня облачком, которое чуть не сбило меня с ног.

Но я удержался. Потому что этот запах не вызывал тревоги. Пахло домом.

Пахло мамой.

Внутри лежало что-то мягкое, завернутое в серую папиросную бумагу.

А под свертком – несколько писем. Адресованных Эйнару Хирифьеллю, со штемпелями от 1967 до 1971 года.

Имя написано маминым почерком. Тоненькие конверты авиапочты, с синим узором почтовых марок. Отправленные из Саксюма, почтовый сбор 90 эре.

Я поднял сверток, и обертка соскользнула с него. Аккуратно сложенное содержимое развернулось в моих руках.

Платье глубокого синего цвета с белой оторочкой на воротнике. Яркие цвета, нежная ткань. Нисколько не слежалось после стольких лет в герметичной шкатулке.

Меня словно пробил дошедший издалека электрический сигнал. Не обманывает ли меня память? Я ощутил близость и тепло, этот синий цвет передал мне ощущение движений, но я не был уверен до конца. Приблизил

нос к ткани, втянул воздух. Задержал дыхание.

Это мамино летнее платье? Фасон какой-то незнакомый…

Но, может быть, это не так странно.

Мамы-то в нем нет.

*** * ***

Окружающее перестало существовать для меня. На звуки, которые прежде заставили бы меня насторожиться, я теперь не обращал никакого внимания. Погоды не существовало. Уставившись в воздух, я сидел на плоском камне, с которого открывался прекрасный вид, и ничего не видел. Начал накрапывать дождь. Я промок, а потом обсох, не сходя с места.

Мне хотелось прочь отсюда. Море больше не защищало меня от окружающего мира. Напротив, оно держало меня пленником на Хаф-Груни. Эйнар превратился в привидение, бредущее впереди меня в неизвестном направлении.

Гроб. Изящной восьмигранной формы. Прекраснее и печальнее всего, что я когда-либо видел.

Должно быть, Эйнар изготовил его для бабушки, для Изабель Дэро. В надежде, что ее останки когда-нибудь будут найдены. Деревья означают линию фронта и лес в Отюе, а лилии, вероятно, – фату невесты.

Я снова взглянул на дробовик. Я видел, что приклад, покрытый пыльным воском, сделан из грецкого ореха. Сорта древесины, использованного во всех дарах Эйнара.

Близился вечер. Я пошел в столярную мастерскую и сел, положив платье себе на колени. Во мне слабо колыхнулось какое-то воспоминание, но оно так и не пробилось на поверхность. Словно я стою перед запертой дверью, из-за нее пытается прорваться моя память, и мы с памятью оба пытаемся найти ключи от двери.

Я закрыл глаза и приподнял платье повыше. Провел кончиками пальцев по ткани, по швам. Их текстура была мне знакома.

Мне представилась мама. Я сам достаю ей только до колен и прячусь за ее ногами, обхватив их сзади ручонками. Я ощутил запах загорелой кожи – на нее ярко светило солнце, отбрасывая на меня голубоватый отблеск. Я видел высокие деревья, слышал непривычно звучавшие голоса, и одним из этих голосов был мой собственный. Лето, и я говорю маме что-то по-французски.

И я вскрыл первое письмо.

9

«Это беспокойный ребенок, энергичный, как щенок, просыпается засветло. И тогда единственное, чего он хочет, – это играть в прятки среди яблонь. И как бы ни устала, я играю с ним, потому что всякий раз, как мы снова находим друг друга, это служит напоминанием о том, что жизнь имеет смысл. Я разговариваю с ним по-французски, Вальтер – по-норвежски. Так интересно, какое первое слово он скажет. Мы поспорили на две кроны».

Мама с Эйнаром переписывались по-французски. Почерк у нее был неровный, с длинными хвостиками.

«Я мечтала стать стеклодувом, – писала она. – *Школьные предметы давались мне не очень хорошо, но работать руками получалось, и я уже присматривала себе место подмастерья».*

Вот бы она и взаправду стала стеклодувом, подумал я. После нее осталось бы что-то долговечное, завещанное, как чувство формы, как от Эйнара.

И вдруг по спине у меня побежали мурашки. Я ощутил прилив любви, но с колющими краями. Мама отзывалась обо мне как о «*la lumière forte et belle*» – о прекрасном и ярком свете в ее жизни. О том, что «*спасло ее от затмения*».

Затмения? Я вложил письмо в конверт, рассортировал конверты по датам и открыл самое первое. В нем она упоминала, в несколько смущенных выражениях, первую встречу с Эйнаром в Норвегии. Видимо, мама оскорбила его, назвала каким-то обидным словом: она писала об этом как о «недоразумении» и просила у него прощения за это.

«Пойми, я ведь явилась на хутор с мыслью о мести. Теперь странно об этом подумать. Вместо этого я нашла домашний очаг. Предателя там не оказалось. Только его брат, а он сказал, что ты умер. Я прощаю ему эту ложь, он думал таким образом поддержать меня. Вскоре я поняла, что война и по нему прокатилась тяжело. Странно было рассказывать мою историю человеку, носившему немецкую форму. Поведать ему обо всем, что моей приемной матери пришлось испытать в Равенсбрюке. Рассказать, как моя родная мать погибла из-за его брата.

Сверре рассказывает, что ты был мечтателем, не понимавшим, что врываешься в чужую жизнь, нарушая ее ход, или подвергаешь людей опасности. Альма была и осталась неприветливой. Замкнутой, но не

понятным мне причинам. Она довольствуется практической стороной жизни. Сам же Сверре сказал, что во мне он видит свет, который когда-то погас для него. Но тут появился ты и нарушил все наши планы…»

Тут письмо обрывалось. Мать даже не подписала его. Должно быть, Эйнар тут же послал ей ответ, потому что всего через двенадцать дней на Саксюмской почте проштемпелевали новое письмо с Шетландских островов.

С этого момента ее тон стал более спокойным, более откровенным, и она стала рассказывать о своей юности. Я задумался о том, что же такое написал Эйнар, чтобы успокоить ее, и вдруг меня осенило, что, возможно, его письма все еще хранятся где-то в Хирифьелле.

«Мне бы хотелось навестить тебя, – писала она. – *Но тогда уж поскорее. Ведь пятый месяц пошел. Потом путешествовать будет трудно».*

В январе 1968 была отправлена открытка из больницы Лиллехаммера: «*Здоровый и красивый мальчик! Назовем его Эдвардом в честь дедушки, но считай, что буква “Э” в честь тебя».*

Мамины слова приносили и боль, и утешение. Я перечитал письма по несколько раз, запоминая, какие она использовала выражения, какой смысл вкладывала в то, чего *не* говорила. Она описала все, что Франсина Морель рассказывала о женском лагере. Так мне удалось свести воедино истории жизни мамы и бабушки и в конечном итоге выяснить правду о том, зачем мои родители отправились со мной во Францию осенью 1971 года.

В 1944-м мою бабушку, Изабель Дэро, видевшую, как повесили ее родных, загнали в товарный вагон и отправили в Равенсбрюк. Полин, ее пятнадцатилетняя сестра, умерла в дороге. Изабель крепко обнимала худенькое тельце, пока оно не начало коченеть. Охранники заставили ее оставить сестру в груде тел других погибших.

В бараке Изабель познакомилась с Франсиной Морель, прибывшей туда месяцем раньше, и они потихоньку выработали свои способы выживать на этой территории нечеловеческих страданий и садизма. Бабушка, видимо, была сильным человеком, но ее подкосило зрелище того, до какой жестокости может дойти человек. Большинство родившихся в концлагере детей и сами умирали через несколько часов. Некоторых забивали охранники, другие гибли в газовых камерах. Практиковались и аборты. Если же охранникам удавалось услышать детский плач, у них на руках оказывался кандидат для медицинских экспериментов.

Поскольку бабушка участвовала в движении Сопротивления, она подпадала под гитлеровскую директиву «*Ночь и туман*». Таких ждали

исчезновение и смерть. Ей отказывали в получении гуманитарной помощи, ее поставили на тяжелую работу в прачечную. Кормили тухлой коричневатой жижей под названием «суп», и она быстро теряла вес.

Поняв, что беременна, Изабель была потрясена. Она страшилась не родов, но того, в каком мире появится и умрет этот ребенок.

Детям постарше, схваченным вместе с матерями, было теперь по пять-шесть лет. Они уже понимали, что происходит, и приспосабливались к этой жизни в игре. Только играли не в «казаки-разбойники», а в эсэсовцев и заключенных. Отправляли друг друга на каторжные работы и, если задания выполнялись неправильно, не останавливались перед тем, чтобы ударить другого ребенка. А потом стали строить кабинки из картонных коробок, играя в газовые камеры.

Тем временем в лагерь проникали слухи с воли. Туда привезли еще несколько женщин из Отюя, участниц движения Сопротивления, и те рассказывали, что их якобы предал Оскар Рибо.

Может быть, бабушка не хотела признать свою связь с ним. Во всяком случае, когда в начале 1945 года она родила в уголке прачечной девочку, никто не знал, кто же ее отец. Чтобы ребенок не кричал, Франсина Морель заткнула ей рот полотенцем. Они завернули девочку в грязное белье и сумели спрятать ее от охранников.

Сама же Франсина забеременела в лагере от немецкого охранника, приносившего ей еду. Но этого ребенка сразу же после рождения затоптали насмерть. Морель получала больше пищи, чем бабушка, и смогла кормить бабушкиного ребенка молоком.

Через несколько недель совсем близко подошли советские войска. Тысячи женщин выгнали из Равенсбрюка под дождь, не разрешив ничего взять с собой. Жалкое это было зрелище. Почти в полной тишине, потому что у них не оставалось сил даже на стоны, они побрели куда глаза глядят. На бабушке была та же обувь, которую она носила с начала войны. У нее развилось воспаление легких, и она кашляла кровью. По прикидке Франсины, Изабель весила чуть больше сорока килограммов.

Они несли маму по очереди. Через пару суток после ухода из Равенсбрюка женщины сделали привал у реки, и какая-то немецкая семья накормила их. Проснувшись поутру, Франсина увидела, что Изабель лежит на земле мертвая, – она обернула ребенка в свою лагерную одежду, а сама замерзла насмерть. Морель взяла маму на руки и поняла, что та еще дышит.

Крестьянин, накормивший их, вырыл могилу под деревом. Женщины начали было петь псалом, но после первой же строфы утомились и побрели дальше. Франсина забрала лагерное удостоверение личности Изабель и с

мамой на руках допела псалом до конца. Крестьянин жердью столкнул бабушкино тело в могилу.

Потом Франсина догнала остальных, и ей смутно помнилось, как они пришли в деревню со сгоревшей кирхой и увидели там белые автобусы от Красного Креста. При регистрации в Мальмё девочку нарекли Терезой Морель. Она выросла в тесной квартирке в Реймсе и понемногу начала задумываться о том, почему не похожа ни на кого из родных. Как-то прибираясь к Рождеству, Тереза случайно наткнулась на чужое лагерное удостоверение. Франсина не выдержала и все ей рассказала.

*** * ***

В январе 1965-го мама поехала в Отюй и стала расспрашивать людей о семье Дэро. Но нашла она только их могилы, а те, кто тогда заправлял работой на ферме, приняли ее за мошенницу и прогнали.

Маме нечего было противопоставить этому, к тому же она опоздала на десять лет. Во Франции 1955 год был установлен крайним сроком предъявления требований на возвращение собственности, во время войны перешедшей в чужие руки. У нее не было хотя бы фотографии, чтобы сослаться на внешнее сходство. Когда она несолоно хлебавши покинула ферму, ее всерьез посетили мысли о мести. Она вспомнила о надписях на надгробии и решила сменить имя на Николь Дэро.

В свидетельстве о рождении у нее было написано: «*Отец неизвестен*», а Франсина повторила высказывавшееся прежде предположение, что Изабель изнасиловал немецкий солдат. Но в послевоенные годы не затих и другой слух. О некоем Оскаре Рибо, доносчике. Мама стала искать остававшихся в живых участников Сопротивления из Отюя и встретилась с Гастоном Робинетом, который видел паспорт Эйнара. Таким образом, история о предательстве подтверждалась, и она узнала, что Оскара Рибо на самом деле звали Эйнар Хирифьелль.

Мама отправилась в Норвегию вовсе не на отдых.

Она поехала, чтобы отомстить. Встретиться с Эйнаром лицом к лицу, бросить ему обвинение в гибели своих родных. Одолжив денег, она приехала в Норвегию и отыскала дорогу в Саксюм.

Но Эйнара на хуторе не оказалось. Только дедушка. И уж что Сверре Хирифьелль умел так же хорошо, как его брат умел реставрировать разбитые запрестольные образа, так это залечивать нанесенные войной раны. Он твердо держался версии, что Эйнар умер и что, если заняться

работой на земле и слушать музыку Генделя, жизнь наладится.

Может быть, мама нашла в нем отца. Не худший образец неизвестного немецкого солдата, каким был, как она думала, ее отец. Сам Сверре был уверен, что его брат никогда не вернется в Хирифьелль, и поддерживал удобную неправду о его смерти, неправду, которая была на пользу и Эйнару, и маме.

Странная французская девушка появилась в самый разгар окота, когда дел не оберешься. Осталась помочь, не обращая внимания на косые взгляды Альмы. А там и мой отец приехал погостить к родителям. Ровесник, открытый общению с другими детьми войны.

Альма, не раз видевшая Эйнара в первые годы войны, может быть, разглядела что-то знакомое в чертах лица Николь. Забеспокоилась. Нашла в старых письмах от Эйнара номер телефона. Рискуя согласием в доме, позвонила по адресу *Леруик, 118,* надеясь предотвратить брак между двоюродными братом и сестрой.

Но к тому времени мама уже забеременела, и кровное родство снова победило.

*** * ***

В письмах никак не упоминалось, что Эйнар может быть ее отцом. Но мне представлялось, что после ее приезда на Хаф-Груни отношения между ними стали более близкими. Когда достаточно прикосновения или, может быть, понимающего взгляда.

В последних письмах все чаще мелькало слово «*l’héritage*». Наследство.

Похоже, первым упомянул об этом Эйнар. Он пытался убедить маму в том, что дело следует довести до конца. А из ее ответов можно было предположить, что ценности находятся во Франции. Но она, видимо, отказывалась предъявить свои права на них. Первые два года после моего рождения мама вроде бы и Хирифьелль покидала только затем, чтобы навестить болевшую Франсину, конец которой был близок.

«Моя жизнь теперь – это Эдуар, и я еще долго не соберусь во Францию. Хотя, может быть, правильно было бы завершить это дело. Конечно, если удастся договориться с другими претендентами».

И вот настал поворотный момент, из-за которого я уже читал эти письма не как переписку двух умерших людей, но как начало моей собственной истории, которая привела меня на Хаф-Груни и которая не

завершится, пока я не вернусь во Францию.

В июле 1971 года мама написала:

«*Давай поступим, как ты предлагаешь. Я же вижу, что ты никак не успокоишься, да я и сама стала все большее волноваться. Придется нам, пожалуй, наведаться в Отюй. Вальтер считает, что лучше всего ехать в сентябре. Не так много работы на хуторе. Сверре я сказала, что мы просто хотим съездить отдохнуть. Это потому, что ты сам знаешь, как тяжело он переживает прошлое. Он сказал: “Можете тогда взять машину!” Нарядный черный “Мерседес”.*

Но больше мы туда ни ногой. А если однорукий не согласится, то пожми ему от меня только ту руку, которой у него нет.

Твоя Николь».

10

– Что случилось? И как ты добрался сюда? – спросила она.

Та же сцена, что и прошлый раз: из прихожей тянуло теплом, и я, замерзший, неуверенно топтался на крыльце. Через пролив я добрался с одним рыбаком и выглядел теперь еще неухоженнее, чем обычно, в мятой-перемятой рубашке и кроссовках, на которые налипла трава.

– А это что? – удивилась она, показав на холщовый мешок у меня в руках.

– Гвен, – сказал я, – давай прекратим играть. Помоги мне.

– Как?

– Помоги узнать, что искал Дункан Уинтерфинч.

– *Я – помогать тебе?* Ну, знаешь!.. Там, на острове, ты дал мне понять, что готов к отношениям так же, как и я. Но нет. Ты резко изменился, превратившись в странную хладнокровную рыбу. Утром ты почти не разговаривал со мной, молча бродил вокруг. И теперь ты смеешь заявляться *сюда?* Колотишь в дверь, а выглядишь так, будто тебя извлекли со дна морского?

– Вот дробовик, я нашел его на Хаф-Груни, – сообщил я, приподняв мешок.

– Дробовик?

– Старое ружье с горизонтальными стволами. Я чувствую, это не просто так. Оно было очень тщательно спрятано.

Разобранное ружье лежало на столе в гостиной. Раньше я никогда не видел подобного механизма. Вся нижняя сторона ствольной коробки была обшита деревом, образуя плавную дугу там, где у обычного оружия – угловатый металл. Я направил дула к окну, так что в них проникал свет с улицы. Они заросли изнутри, но пылью, а не ржавчиной.

Гвен тряпочкой оттерла жир со ствольной коробки. Проступила глубокая гравировка. «Джон Диксон & Сын, Эдинбург» – было высечено среди мириада завитков. Я взял приклад в руки и ощутил запах прогорклого воска, которым было покрыто дерево. Затыльник был насечен глубокими поперечными бороздками, которые прерывались едва заметным изображением, – что-то вроде лица в тени за решеткой.

Белка, прикрывающая мордочку хвостом. Клеймо столяра Эйнара Хирифьелля.

Гвен взялась за шейку приклада, так что какую-то секунду мы

держались за него в четыре руки. Я расцепил пальцы, а она всадила ноготь в восковое покрытие и процарапала в нем углубление.

«Что с ней случилось?» – подумал я. Появление винтовки вызвало резкую перемену в ее настроении. Я ничего не рассказывал ей о гробе. И тем более не собирался рассказывать ни о письмах, ни о платье.

Гвен подошла к шкафчику, где хранились пылесос и моющие средства. Открыла жестяную банку с мебельным маслом и обмакнула в нее ватку. Попробовала протереть приклад. Но ватка лишь цеплялась за дерево, и из нее выдергивались длинные волоконца – так бывает с лыжной смазкой в теплую погоду.

– Лучше этим, – сказал я, доставая тряпку и «*Фуллерс терпентайн*». Последний раз мне шибануло в нос этим популярным растворителем, когда я оттирал свастику с дедушкиной машины. Зато теперь рисунок проступал все явственнее. Тряпка хорошо впитывала, так что я еще раз обмакнул ее в жидкость и продолжил тереть.

Отчистив приклад, я с трудом смог поверить, что он деревянный. В какой-то момент я даже перестал тереть, испугавшись, что, возможно, изображение нарисовано на поверхности. Но нет, чем сильнее я тер, тем лучше его было видно. Вроде картины, догадываться о содержании которой приходится самому. Из красно-оранжевой глубины выпрастывались, сплетаясь и расползаясь в стороны, шальные иссиня-черные линии. При смене освещения менялся и видимый узор. Когда я разглядывал его под разными углами, он переливался, играя все новыми оттенками, как пробуждающийся к жизни клубок змей. В центре находилось неровное темное уплотнение, водоворот цвета запекшейся крови, вокруг которого завихрялись тоненькие ответвления, какие я видел на свилеватой березе, только ожоги на этом дереве несли в себе нечто более глубокое и неисповедимое.

Гвен нарушила молчание.

– *Exquisite,* – сказала она. – Божественно! Грецкий орех самого высшего сорта. Из него можно делать шкатулки для драгоценностей королевы.

Я исподтишка взглянул на нее.

– Не притворяйся, что удивлен, – продолжила Гвен. – Обслуга в Британии обязательно учится узнавать символы высших классов. Мы полируем им мебель и начищаем оружие.

Она думает, я дурак? Эта девушка словно пыталась всучить мне билет на представление этого дня, где она продолжала бы играть Гвен Лиск.

– Совсем древний этот дробовик, наверное, – сказал я. – Уж и заводик

закрылся, думаю.

– Никто никакой заводик не закрывал, – возразила моя собеседница, погладив стволы пальцем. – Это ручная работа. Охотничье ружье благороднейшего происхождения.

– Но механизм какой-то… – Я поискал подходящее слово. – *Своеобразный?*

– *Старинный? Необычный?* Вот правда, не пообтесался ты еще в *доброй старой Англии*. Древность и износ – это же знаки почета. Я бы навскидку дала ему лет семьдесят-восемьдесят. Для британского сокровища это ничто. И Диксон, конечно, продолжает выпускать продукцию. Я не раз проходила мимо их магазина. А какой там серийный номер?

Вниз от спускового механизма по рукояти сбегал длинный узкий язычок вороненой стали. На нем значилось четыре цифры. Но номер не был выгравирован – наоборот, металл *вокруг* цифр был тщательно сточен, так что число «5572» выступало над поверхностью.

Гвен проговорила этот номер про себя.

– Тебе бы к оружейнику съездить, попросить, чтобы выяснил историю этого ружья, – сказала она. – Ты же и так собирался в Эдинбург.

– Ну, не знаю… Что они могут рассказать? Это же просто дробовик.

– *Просто дробовик?* У всех *действительно* старых вещей есть своя история. Особенно у всех британских вещей ручной работы, которые стоят состояния. Я думаю, они тебе сильно помогут – скажут, откуда древесина, использованная для его изготовления. И как такое дорогое ружье попало в руки столяра, изготовлявшего гробы. Ты раньше бывал в Эдинбурге?

– Никогда.

– А каком-нибудь другом большом городе?

– Только в Леруике.

– *Now why does not this surprise me*[45], *Эдуард?* – Девушка покачала головой. – Тебе тогда стоит оставить машину в Леруике и сесть на паром до Абердина. А оттуда уж ехать поездом. – Она посмотрела на поцарапанные наручные часы. – Паром отправляется через пять часов. Прекрасно успеешь.

*** * ***

– Зачем ты звонишь *сюда*? – спросил ее отец.

– Ну, просто хотел узнать, нельзя ли поговорить с Ханне.

– Ты что, издеваешься? – проворчал он и повесил трубку.

Монетки с шуршанием провалились в нутро телефона-автомата и выпали в металлический поддон. Я подсчитал неудачно сделанную ставку.

Ставку, которая к тому же разрослась до опасно крупных размеров. Потому что даже через шум на телефонной линии я расслышал непривычное ударение на слове *«сюда»*. *Я стоял в будке автомата и через заляпанное стекло смотрел на пасущихся на склонах гор овец*. Сквозь расселину между горами проглядывало море. В поле зрения появилась рыбацкая лодка. Она скрылась задолго до того, как я сумел переварить то, что, должно быть, сотворила Ханне.

Отчасти в напряженном ожидании, отчасти с неохотой я пробежался пальцами по цифрам на диске. Этот номер телефона я помнил лучше многого другого, но все равно воспринимал его как нечто чуждое.

Ведь мне же никогда раньше не нужно было звонить домой в Хирифьелль.

На том конце линии послышались гудки. Я совершенно отчетливо представлял себе со всеми мельчайшими подробностями, как на комоде в пустом доме на пустующем хуторе перед фотографией моих родителей стоит и вовсю звенит телефон.

В трубке послышался щелчок, и я вздрогнул, когда потрескивание было прервано словом «*алло»*, которое долгие годы наполняло меня ожиданием, а теперь лишь вселило тоску.

– Хирифьелль, – произнесла она. – Слушаю!

– Это *ты*, – отозвался я.

– Ха-ха, да! Это я!

– Я разговаривал с твоим отцом, – сообщил я.

– Он был смурной?

– Да не более смурной, чем обычно.

– Не обращай внимания, Эдвард.

– Послушай, – сказал я, – ты на хутор только что приехала?

– Я тут четыре дня как. Сначала просто ненадолго завернула. В плаксивом настроении, должна признаться. Картофель взошел хорошо. Я все поля проверила – нигде ни пятнышка. Потом зашла в дом, осмотрелась. Подумала: «Он от этого уехал. Конечно, уехал. Но он вернется». А на следующий день наступила ну *такая* летняя погода… И, может быть… Хотя, давай мы об этом поговорим в постели, когда ты вернешься, Эдвард? Но я жалею, что так скисла, когда ты уезжал. Ты правильно поступил. Я тобой горжусь.

«Черт, черт, черт!» – думал я, чувствуя, как змеи копошатся у меня в

животе.

– Ты меня слышишь? – позвала Ханне.

– Да. Конечно. Я… просто как-то все неожиданно.

– А ты чем занимаешься?

– Привожу в порядок дома. Он их мне завещал.

– С ума сойти! Значит, теперь у нас вдруг на Шетландских островах появилось место, куда можно поехать отдохнуть?

Я закусил губу. Пока мы оба молчали, в автомат провалилась монетка.

– А где ты спишь? – спросил я.

– На втором этаже бревенчатого дома. В нашей старой комнате. И книжки сюда перенесла. Так здо́рово – никто не дергает, можно спокойно читать книги по профессии. Курю сколько угодно, и никто не ворчит. Стараюсь и хозяйство вести. Во всяком случае, скосила газон, прополола грядки с овощами… А что мне делать с клубникой?

Я схватился за лоб.

– Много ее?

– Хватит на целый полк.

– Пусть стоит как есть.

– Так ведь сгниет же! Я собиралась всю ее собрать и отдать в дом престарелых. Хорошо?

– Послушай, Ханне, ты не обязана вести хозяйство. Я скоро вернусь. Пусть все будет как есть.

Провалилась монетка. Еще одна.

– Что произошло, Эдвард? – спросила моя подруга.

– Много что, – сказал я.

– Послушай. Я… я всегда думала, что ты будешь жить здесь. Вдали от всех и – на запоре. А вот теперь я здесь побыла, разобралась в своих чувствах. Тебя здесь не хватает. Мне нравится мысль, что я здесь, а ты – там. Что ты скоро вернешься домой.

Я смотрел на пушистых овец за каменными оградками с завистью: вот бы моя жизнь была так же незатейлива, как их! Но, может быть, и у овец есть свои сложности, просто я о них не знаю.

– Ханне. Не стоит строить… ожидания, – проговорил я.

– Я много думала, – отозвалась она. – То, что ты сейчас делаешь…

– Не продолжай, – перебил я ее, – Ханне. Послушай. Я не могу обещать тебе, что вернусь домой таким же, как прежде.

– То есть как это? А каким?

– Я тебе через несколько дней перезвоню, – сказал я. – У меня монетки кончились.

Вскоре ее голос пропал и сменился короткими гудками. Я вышел, все еще сжимая в кулаке кучу монеток.

* * *

Паром отвалил от Холмсгарта, развернулся и прошел мимо Леруика. Город открылся передо мной: жирный дым из высоких труб, белые краеугольные камни домов, рыбаки на набережной и старинные пушки на Форте Шарлотты.

Прошло четверть часа, а я все так же стоял и смотрел, как мимо проплывает изрезанный волнами берег. Однообразный, безлюдный. Только черные скалы – все остальное смыло в море.

В это время на палубу вышла девушка. Она облокотилась на перила в нескольких метрах от меня. На ней был твидовый жакет, облегавший выпирающую попу.

Я не пошевелился. Сделал вид, что ничуть не удивлен.

Мы все стояли. Одну минуту, две…

Вдруг, как по сигналу, – или, может, нас одновременно потянуло друг к другу? – мы оказались рядом. Ее рука коснулась моей.

– Ты в Абердин? – спросил я.

– Да, по делам. А ты? Раскошелился на каюту?

– Взял дешевое место на палубе.

– А дробовик где?

– В машине.

– Так ты не внял советам и все-таки поехал на машине?

Я сдержал глупую улыбку.

– А как называется вон то место?

– Да вроде Тросвик. А что?

– Просто мне нравится говорить по-английски. Надо бы получше выучить его. Чтобы произношение было не как у доктора-иностранца.

На нас повеяло ветерком. Гвен подняла воротник и посмотрела на меня.

– Хочешь, я буду учить тебя английскому? – предложила она.

– Да вроде уже вовсю учишь, – ответил я.

– И еще одно. Ты собирался заявиться к Диксону – вот так?

– Как так?

– Но нельзя же… А впрочем, неважно.

Мы миновали южную оконечность острова. Буруны на кромке мыса

становились все меньше в размерах.

– Ты взял дешевое место, – предположила она, – потому что догадывался, что кто-то уже заказал каюту?

– Вовсе нет, – возразил я.

– Ну, мне надо спуститься вниз, – сказала Гвен, когда Шетландские острова пропали из виду. – Идешь со мной?

*** * ***

– Сначала носки сними, – велела Гвен, поворачивая хромированную ручку двери в каюту. – Потом брюки снимешь.

Расстегивая куртку, она повернулась ко мне спиной. Ее лопатки были туго обтянуты черным джемпером. Обрисовались лямочки бюстгальтера, а на шее у нее пульсировала жилка.

– Ты говоришь то, что я думаю, что ты говоришь? – уточнил я.

– Именно. Скидывай носки. Потом остальное. *All the way down*[46]. Я тоже. Только свет погасим.

– Не знаю, могу ли я принять такой дар, Гвен…

– Да брось! Это мы английским занимаемся.

– А при чем тут носки? – В горле у меня пересохло, во лбу покалывало, но в штанах колотилось доказательство того, что скоро мое тело потребует исполнения своей воли.

Вот плата за бал-маскарад, подумал я. Кто угодно, кроме нас, тех, кем мы с Гвен *собственно* были, давным-давно уже переспали бы друг с другом. Вот что мы делаем, чтобы сохранить маску. Этого не случилось бы, если б мы признались, кто мы такие на самом деле. Если б я не признался, что знаю о том, что она ищет наследство. Но тогда Гвен выставила бы меня и заперла дверь. А она необходима мне для дальнейшего; мне придется переспать с лоцманом, чтобы миновать шхеры.

«Но это жидкое объяснение, – сказал я себе. – Просто тебе захотелось этого лоцмана и всего того, что она несет в себе».

– Слушай, – сказала Гвен, ткнув указательным пальцем в мою грудь. – Ты просил учить тебя английскому. Я это толкую в том смысле, что ты принял решение. Потому что англичане мертвенно бледны – и всегда носят черные носки. Нет ничего более отталкивающего, чем бледный голый мужик в черных носках. Поэтому всегда сразу снимай носки. Ну, давай. Теперь будь хорошим англичанином.

Я проснулся. Выглянул в оконце каюты, ощутил движение судна по

серо-черному морю. В моих руках все еще жило тело Ханне. Выпуклости попы, упругость бедер, суставчики позвоночника, когда я проводил пальцем вдоль ее спины. Гвен была другой, шире и грубее, и, когда она оседлала меня ночью, мои руки не находили того, чего искали, словно они переводили прикосновения на другой лад, чтобы получилась Ханне. В то же время что-то нашептывало мне: «*Да*, делай это, раз уж начал, отдайся этому целиком и полностью».

Проснулась Гвен.

– Что ты такое ночью сказала? – спросил я.

Она скинула одеяло. Хмыкнула. Потянулась к чемодану и достала пачку «*Крейвен А*».

– Перед тем как море задрожало подо мной? – уточнила она, доставая сигарету.

– Примерно тогда, да.

– Это входит в твой курс английского.

– Жду не дождусь ответа.

– Это был совет королевы Виктории женщинам на брачную ночь. *Close your eyes and think of England*[47].

– Ты это не *сказала*, – сказал я. – Ты завопила так, что в машинном отделении было слышно.

– *Good fun*[48], — кивнула Гвен, после чего отдала мне свою сигарету и вывернулась из постели, прихватив с собой одеяло. Каюта была небольшой, и я следил за девушкой глазами, пока она сделала пару шагов до ванной. Обнаженные лопатки топорщились, под одеялом обрисовывалась чуть широковатая попа.

Я снова задремал. Снаружи было темно.

Гвен появилась одетой в белую блузку и черную юбку.

– Скоро пять часов, – сказала она. – Давай скорее.

– Так ведь паром причалит только через три часа?

– Урок английского не закончился. Тебе надо переодеться для визита к «Диксону и Сыну».

– Что мне надо?

– Переодеться.

– Но он же просто оружейник. Да и не во что мне переодеваться. Разве что чистое белье могу надеть. Я прокипятил его в кастрюле на Хаф-Груни.

– *Sweet heavens*[49], — сказала Гвен. Она пробралась мимо валяющейся на полу одежды и достала стоявший в углу потертый кожаный чемодан. – Так и думала. Слушай. *A gunmaker* — это не просто лавка, где «торгуют

ружьями». Ты же попадешь прямо к алтарю британского снобизма. Где *old money*[50] прожигают, словно польские злотые. Когда богачи могут оправдать покупку тем, что их приобретение послужит и следующему поколению, и тем поколениям, что придут после, то абсолютно никаких границ – повторю, *никаких* – не существует. Цены на оружие астрономические. А ты заявишься в задрипанном анораке и дырявых кроссовках… Что, в Норвегии так принято?

– Есть кто и получше одет.

– Они подумают, что ты украл ружье и такой дурак, что пытаешься разузнать, сколько оно стоит. Еще в полицию позвонят.

– Что же ты только *сейчас мне это говоришь?* – проворчал я, сев в постели.

– Обслужат, конечно, любезно, но они терпеть не могут *timewasters*, недотеп, которые бросают тень на уровень клиентов магазина, а еще больше они ненавидят *wannabes*[51], и видит бог, уж они дадут тебе знать, что тебе там не место. Одними взглядами поставят тебя на колени. Тебя только *одно* может спасти: дать им понять, будто ты в близком родстве с кем-то, кто когда-то купил себе «Диксон». Надо выглядеть презентабельно, иначе они тебя живьем сожрут.

Гвен совершенно изменилась. Как-то разом она предстала передо мной стопроцентно искренней. Ее затуманенному взору, где-то в промежутке от замкнутого до таинственного, пришла на смену деятельная и пылкая горячность. Может быть, она все же правда Гвен Лиск? Может ли *болтушка* быть вруньей?

– Откуда ты все это знаешь? – спросил я.

– Ныне живущее семейство Уинтерфинчей – это *old money* в седьмом поколении. Но у нас сейчас нет времени на светские разговоры. К тому же ты понимаешь, что я не могу обсуждать своего работодателя. Главное, что ты выглядишь ужасно. Совершенно непрезентабельно. Стрижка у тебя клевая, надо сказать. Старомодная, но изумительно эксцентричная.

Девушка распустила кожаные ремни чемодана, достала из него две пары вельветовых брюк и пригляделась к оттенкам коричневого цвета. Расправила твидовый пиджак, в темно-бежевую ткань которого вплетались тонюсенькие зеленые и темно-красные нити, образуя узор в крошечную клетку, разглядеть который можно было только вблизи. Уперла руки в боки.

– Главное, что одежда тебе нужна *ношеная*. Невозможно явиться к ним в купленном только что, не севшем по фигуре. Я пытаюсь помочь тебе не выглядеть выскочкой. Быстро в душ и побрейся. Дверь не запирай, чтобы я

могла видеть, что ты там делаешь. *Chop chop.*

– А эта одежда откуда? – поинтересовался я, меняя лезвие на бритве.

– Одолжила в Квэркус-Холле. В высшей степени неподобающе поступила. Но это не твоя забота.

Я вытерся и принял из рук Гвен белую рубашку.

– Египетский хлопок, – сказала она. Ткань была плотной, но мягкой и податливой. Теплой к телу. Без единой складочки. Брюки немного болтались, но она вытащила золотисто-коричневый кожаный ремень с благородной патиной и перехватила им меня, чтобы отмерить нужную длину. Задумавшись на секунду о том, чем мы занимались ночью, я решил было, что у меня змея обвилась вокруг талии, но эта змея тут же снова превратилась в ремень.

Она с отвращением оглядела мои кроссовки, валявшиеся с развязанными шнурками там, где я их скинул. Я всю жизнь носил кроссовки или рабочую обувь из кооптorга в Саксюме.

– Неразношенная блестящая обувь тебя сразу выдаст. У тебя ведь сорок четвертый размер, да? – спросила Гвен.

Я отвернулся, чтобы она не видела моего лица.

Резануло по живому. Перед глазами встала Ханне, такая чистая и доверчивая, в саду у нас дома. Мы двое. С тех самых пор, как у почтового ящика появился свет фонарика на ее мопеде, когда ей было четырнадцать, и до момента, когда она надела свадебное платье Альмы. Ее серый костюм в церкви.

Поздно. Я противился рывку прочь, не понимая, что уже сделал его. Рывок, после которого Ханне осталась на другом берегу.

За моей спиной Гвен открыла темно-синий тканый мешочек. Из него появилась пара темно-коричневых уличных туфель. Блестящая полировка маскировала множество вмятинок и мелких царапин. Словно спина загоревшего на солнце раба с галеры.

– Вот тебе пара от «*Джон Лобб Дерби*», без излишеств. Ну-ка покажи, умеешь ли ты шнуровать.

Я нагнулся, зашнуровал туфли и выпрямился.

– *Oh dear!* – сказала девушка и опустилась на колени. – Это тебе не кроссовки.

Она выровняла шнурки по длине и сложила кончики петлей.

– Делай как я, – велела она. – *Turkish cable knot.*

– Что *Turkish*?

– Узел «турецкая голова». Единственный узел, подходящий для шнурков. Вот, смотри.

Я стал смотреть вниз на ее волосы, подрагивавшие в такт тому, как она завязывала узел и приговаривала, будто обращаясь к туфлям:

– Свободные кончики должны смотреть друг на друга. Это важно. Потом их надо скрестить… вот так, а потом сложить еще бантик, *так*, потом отпустить вот этот кончик, зажать его большим пальцем, *так*, потом взяться указательным пальцем, *вот*… потом обернуть шнурок вокруг петельки и вытащить его сюда и затянуть его под первым из сложенных тобой бантиков. Вот, посмотри теперь!

Она трудилась надо мной, как будто я был недоделанной статуей. Маленькими ножничками обрезала волосинку на брови. Извлекла откуда-то флакон «*Трюфитт энд Хилл Сандалвуд*» и нанесла две капли мне на шею. Углядела торчащую из пиджака ниточку, отрезала ее, поправила воротник, перестроила меня.

– Забавно, – сказал я. Я и вправду так думал. – Где ты всему этому научилась?

– *My dear!* Все-то ты хочешь знать. А как ты собирался нести дробовик?

– Ну, в том сером холщовом мешке, я же тебе показывал.

– По центральной улице Эдинбурга, и чтобы стволы торчали из мешка? *Oh Lord!*

– Стволы не торчат. Я же не…

– Все, кроме *этого*, недопустимо, – заявила Гвен, а потом наклонилась и вытащила из-под койки продолговатый чемоданчик. Уголки его были обиты состарившейся латунью, кожа поцарапана, а торец весь заклеен затертыми бирками колониальных железнодорожных линий. – Идеально, – сказала она. – Позаимствовано из спортивного снаряжения, которое хранится в главном здании.

*** * ***

Хотел бы я, чтобы от Абердина до Эдинбурга было тысяча двести километров. Вообще-то было едва двести, но про себя я развлекался тем, что подставлял норвежские мили вместо английских. Едешь себе в машине, на горизонте низкое солнце, в кассетнике «*The Cutter and The Clan*», пачка «Крейвен А» на двоих…

Сладкий самообман на трехполосном автобане. Как я быстро привык к этому! Куда лучше, чем дорожное покрытие на камменоугольном масле дома. Как легко сказать, что эта игра в рулетку необходима, потому что

служит возвышенной цели… Как легко угрызения улетают вместе с выхлопом…

Я никогда не любил нарядно одеваться. В основном потому, что это требовалась по поводам, которых я не выносил. Никогда ничего хорошего не сулили дни, когда приходилось прихорашиваться.

Но это?

Рубашка села по фигуре, пиджак тоже. Мне даже показалось, что сам я – «Лейка», а одежда – футляр от нее.

– Ничего не рассказывай о предыстории этого ружья, – сказала Гвен. – В этих кругах так не принято. *It is not done.*

Сама она забраковала предыдущий наряд и облачилась в свежеотглаженную мягкую блузку и серую юбку до колен. А на коленях у нее лежал тонкий джемпер в резиночку. Я догадывался, что юбка была сшита на заказ и хранилась в обширной гардеробной Квэркус-Холла. Была бы у Ханне подобная одежда, она выглядела бы грациозной дочерью судовладельца.

Единственным, что выбивалось из общей картины, были старые наручные часы Гвен с поцарапанным стеклом.

– А что с твоими часами? – спросил я.

– *Just a small idiosyncratic touch*[52].

– Откуда ты этого набралась? Дизайн, что ли, изучала?

– Нет-нет. Понимаю немного в том, как себя подать. Вот и всё. Я простая студентка, учу экономику.

Дорожные знаки вели обратный отсчет расстояния до Эдинбурга. Сорок миль. Тридцать две. Когда осталось восемнадцать, моя спутница попросила меня съехать на площадку для отдыха.

– Мотор не заглушай. Идем со мной. От тебя слишком попахивает чистотой, какой-то… *новизной.* А нужна небрежность. Встань перед глушителем. Нет, здесь. Повернись. Так. Держи трубку. «Данхилл». Вот классический табак. «*Три нанс*». Да, крышечку откинь. У тебя в кармане должна лежать зажигалка «Ронсон». Ага, правильно. Надо, чтобы одежда пропиталась дымом. М-м-м… Вот так. Они этот запах узнают. Он хорошо сочетается с лосьоном после бритья. Выветрился в самый раз. Или нет, слабоват. Еще каплю… Да, вот так. И на другую скулу тоже. Давай, кури. Выдыхай на пиджак, пепел на него не стряхивай. *Вот так*. Теперь аромат едва заметен, и то если стать совсем близко. И рубашку чуть-чуть сомнем… Нет, дай-ка я. Совсем немного. М-м-м, вот теперь то, что надо. Одежда все равно прекрасно выглядит; видно, что она стоит целое состояние. Главное, тебя это не волнует. Ты провел обычный активный день, *motoring and*

sports[53]. Беззаботность призвана показать, что деньги ничего не значат. Нельзя сорить деньгами, нельзя портить вещи, *ни в коем случае* нельзя выставлять напоказ свое богатство; надо просто жить вовсю, не отказывать себе в развлечениях и изнашивать вещи.

Гвен уселась в машину и разложила на коленях карту дорог.

– Поехали.

*** * ***

– *Very remarkable*[54].

Бормоча что-то, двое мужчин тыкали пальцем в гравировку по низу стволов, обсуждали особенности механизма. Обоим оружейникам в голубовато-серых передниках с темными пятнами от смазки было лет под шестьдесят. Тот, что представился мистером Стюартом, протер деревянные детали белой тряпочкой. А потом перевернул ружье другой стороной, протянул мерную ленту от затыльника до спусковых крючков и записал размеры в дюймах с точностью до одной шестнадцатой доли.

– «Диксон Раунд Экшн», – сказал мистер Стюарт. – Наше наивысшее достижение. Чрезвычайная редкость.

– И давно оно сделано? – спросила Гвен.

– По меньшей мере, до войны, – сказал Стюарт.

Похоже, моя спутница не особенно удивилась.

– В тридцатые? – предположила она.

Мистер Стюарт улыбнулся, довольный тем, что она клюнула на наживку.

– Нет, мисс. *До Бурской войны*. Тысяча восемьсот девяносто восьмого года. Работа по дереву просто исключительная. Вас интересует его стоимость?

– Больше всего нам хотелось бы установить его происхождение, – сказала девушка. – Выяснить, не опасно ли из него стрелять. Оно принадлежало дальнему родственнику. Мы не знаем, в каком оно состоянии.

Я никак не мог понять, что же Гвен такое сделала. Собственно, она просто выказала неколебимую уверенность в себе. Но все тут же забегали вокруг нас на цырлах. Сам я стал в сторонку, наблюдая за ней и за дробовиком. Она обращалась с ружьем не как с оружием, но как с занятной антикварной вещицей, и обслуживающий персонал уважительно

откликался на любой ее вопрос, стараясь отвечать исчерпывающе.

Я посмотрел по сторонам. «*Предприятие Дж. Диксон & Сын*» походило на моментальный снимок из поездки на сафари. Помещение не было большим, но из всех щелей высовывались «старые деньги». Оно выглядело не офисом, мастерской или магазином, а скорее нарядной гостиной, оформленной с той же неизменной деликатностью, что и похоронное бюро Ланнстадов, где наличие кассового аппарата оскорбляло бы чувства присутствующих. Ближе к входу располагался закуток, где были выставлены шерстяные вещи земельных цветов. Цены на них были такими, что я подумал было, не указаны ли в они в норвежских кронах, а не в фунтах стерлингов.

– *Один момент*, – сказал мистер Стюарт, после чего скрылся в подсобном помещении и вернулся с огромным талмудом, на корешке кожаного переплета которого тиснением были выдавлены цифры «*1893–1905*». Книга тяжело шлепнулась на стол. Он раскрыл ее на какой-то странице и принес еще четыре книги. Пока они с Гвен внимательно изучали таблицу за таблицей, девушка кивала с видом знатока. Она ужом подбиралась поближе, чтобы лучше видеть их, и ее шерстяная юбка до колен и спортивный джемпер в мелкую резиночку были здесь как нельзя более к месту. Она как будто представляла собой вазу с цветами на столе и знала это.

Вдоль стен стояло пять больших застекленных шкафов с ружьями. Все это были дробовики с горизонтальным расположением стволов, украшенные деликатной гравировкой. Со спусковых крючков на бечевке свисали ценники. Одно ружье стоило больше, чем я отдал за свою машину, а на вид было совсем простым и спартански украшенным. На висящий рядом дробовик была установлена цена вдвое больше. В одном из шкафов висели новые ружья. На них стоимость не была обозначена.

– В этих книгах у нас спецификации всех ружей, произведенных нами с тысяча восемьсот двадцатого года, – сказал Стюарт. – По серийному номеру в справочном томе мы затем извлекаем подробную информацию, указанную в других томах. В одном описаны характеристики оружия на момент выпуска. В другом регистрируются ремонтные работы. В каждой из книг каждому ружью отведено по отдельной странице. Если на странице места не остается, дается ссылка на другую книгу. А вот это ружье… сейчас, сейчас… – Он водил пальцем по строчкам, исписанным авторучкой с коричневатыми чернилами. – Вот оно. Номер пять-пять-семь-два. Оно было изготовлено для некоего лорда Ингрэма с острова Скай согласно его спецификациям. Вручено двадцать четвертого августа тысяча восемьсот

девяносто восьмого года. По тем временам цена его ружья была очень высокой. Сто пятьдесят гиней.

– А теперь сколько оно стоит? – спросил я и смешался от возникшей паузы.

Гвен скривилась.

– *Н-ну-у…* – протянул мистер Стюарт. – От тридцати тысяч гиней и выше. Зависит от качества древесины и гравировки. – Он произнес это негромким равнодушным голосом, как будто я спросил, как пройти в туалет. – Ладно. Главное, что мы храним все наши книги записей. Я вижу, что мы приняли его в качестве части уплаты за новое ружье в тысяча девятьсот двадцать втором году. Потом оно долго не находило покупателя. К сожалению, так часто бывает. По тому, что происходило с охотничьими ружьями британцев, можно изучать военную историю. Многие офицеры, владевшие таким оружием, уходили на войну и уже не возвращались к нему. Не говоря уже о том, что уровень мастерства оружейников снижался. Первая мировая война оказалась для нашей страны самым мрачным периодом в данном искусстве. Это вот ружье мы девять лет не могли продать. И только в тысяча девятьсот тридцать первом году оно было продано… Сейчас скажу – не разберу, это «Н» или «М»? А, вижу: генерал-майору Мортимеру. Должно быть, он был совсем иного телосложения, нежели лорд Ингрэм, потому что ложу укоротили на один и три шестнадцатых дюйма и развернули на четверть градуса внутрь. Я полагаю, он был ростом примерно пять футов и шесть дюймов, с мощными челюстями. Вероятно, ружье использовалось регулярно, до сорокового года его приносили нам на подгонку и регулировку раз в полтора года. После этого оно в наших записях не упоминается.

– *Another war*[55], — сказал я.

– Именно так, – согласился оружейник, продолжая перелистывать страницы, записывая их номера и коды. Он приносил все новые тома в кожаных переплетах, раскрывал их и внимательно изучал исписанные вручную страницы.

Видимо, мое произношение оказалось вполне сносным. Странно, но я не чувствовал себя расфуфыренным. Среди каменных зданий Эдинбурга, на его оживленных улицах с непрекращающимся движением транспорта, таким, что оно воспринималось просто как постоянный звуковой фон, я в своей одежде совершенно не выделялся и чувствовал себя абсолютно естественно.

– Вот оно, – сказал мистер Стюарт, ткнув пальцем в страницу. – Летом пятьдесят четвертого года мы очистили стволы от ржавчины и тщательно

перебрали ружье. Обычная вещь в то время. Когда прежний владелец перестает пользоваться оружием, он перестает и следить за ним. Фамилия нового владельца была Уэстли, он жил в Леруике на Шетландских островах.

Гвен кинула на меня взгляд, говоривший: «*Вот оно, близко уже*».

– Странно, – добавил Стюарт. – В семьдесят втором году мы представили мистеру Уэстли смету на ремонтные работы. Вероятно, оружие получило повреждения. Может быть, упало с возвышения. Приклад был надломан, цевье совершенно разбито. Но, вижу, работы не были выполнены. Стоимость их чрезвычайно высока, поскольку очень сложно подогнать новые деревянные детали к старым на такого типа оружии. Это может выполнить лишь дипломированный мастер-оружейник с опытом работы не менее десяти лет. Но вот что интересно: в тысяча восемьсот девяносто восьмом году ружье было выполнено с прикладом в категории *делюкс номер четыре*, что значительно выше обычного. Но сейчас он сделан из гораздо более ценной древесины. Я, честно говоря, не припомню ничего подобного.

Держа приклад обеими руками, оружейник осторожно поворачивал его с боку на бок, так что падающий из окна свет проявлял в орехе все новые оттенки, и мужчина полностью погрузился в созерцание.

– Гм, – сказал он по прошествии одной-двух минут.

– А какие есть градации древесины грецкого ореха? – спросил я.

– Десять стандартов, – рассеянно произнес мастер. – И еще выделяют специальные классы. В том числе отдельные категории для производства выставочного оружия. Необычайно красивые и сияющие, но слишком хрупкие для потребительского оружия. Особняком стоит «*Circassian Grade*». *Не менее красивый, чем выставочные категории, но с менее выраженной свилеватостью и более прочный. Назван так в честь черкешенок, они слыли самыми красивыми женщинами в мире*. – Мистер Стюарт с неохотой положил приклад на стол. – Одна только древесина делает это ружье очень ценным. *Очень*. Если правильно выбрать аукционный дом, цена такого приклада сравнялась бы с ценой совершенно нового «Ягуара». Очевидно, он выполнен из корня орехового дерева возрастом по меньшей мере в четыре сотни лет. Теперь такого днем с огнем не сыщешь. – Он потер приклад рукавом, отчего древесина засияла новым блеском. – А оно продается?

– Не исключено, – сказала Гвен.

– И само ружье, и даже отдельно приклад, несомненно, окажутся, гм, *привлекательными* для некоторых наших клиентов. Я нахожу один-

единственный изъян, – сказал оружейник, пройдясь пальцем по насечке, – что приклад не довел до идеального состояния специалист – *a master stocker*. Конечно, изготовлен он с величайшим мастерством. Редко встретишь мастерство такого уровня. Мы бы такого мастера приняли немедленно, однако, чтобы достичь высочайшего класса, ему пришлось бы еще многие годы набираться опыта. Но у него получилось бы. Некоторая неуверенность проглядывает лишь в мелких деталях. Смотрите: небольшое искривление линии насечки, а она должна быть прямой, крохотное расщепление на выемке для язычка и спускового крючка. Но заметьте: резать по такому материалу осмелились бы пять-шесть мастеров на всю страну, да и *те* работали бы в постоянном страхе допустить промах.

– А что, оно плохо сделано? – спросил я и чуть было не ляпнул, что, наверное, это был первый приклад в практике Эйнара.

– Плохо? Да оно практически совершенно! Просто на девяносто девять процентов, а не на сто. Ему даже удалось добиться нужного *ощущения*.

Я дал понять, что не понимаю.

– У полноценного дробового ружья, – сказал Стюарт, – шейка приклада должна быть стройной. Не толще дамского запястья. Но размеры – это только одно. Два ружья могут выглядеть одинаково, но лишь одно из них оживет в ваших руках. Когда держишь приклад за шейку, то и *ощущение* должно быть такое, будто сжимаешь в пальцах *the wrist of a true lady*[56]. Здесь как раз так. – Он поднял ружье ближе к свету, любуясь переливами оттенков на поверхности дерева. – Есть тут какая-то особенность – *не только* эта древесина, – и я никак не могу уловить, что именно. Это напоминает мне одну историю, которую рассказывал мистер Бэттенхилл, что-то о партии французского орехового дерева…

– Кто такой Бэттенхилл? – спросила Гвен.

– Наш старейший мастер-столяр. Шестьдесят лет вел закупки грецкого ореха. Сейчас он на пенсии.

– Жаль, – вздохнула девушка.

– Он все равно приходит сюда каждый день. Наверняка захочет с вами поговорить. Но я должен вас предупредить: он может показаться немного… *резким.*

– А что так? – сказал я.

– Ему девяносто три года. И восемьдесят из них он стреляет без защитных наушников.

*** * ***

Старый оружейник и в этот день явился с очередным визитом. Нам с Гвен позволили ожидать его в кабинете, и мы сидели там, тихонько переговариваясь о всякой ерунде, словно ожидали приговора суда.

Вскоре с улицы послышался пронзительный голос, и вошел Бэттенхилл, величественный старик, обращающий на себя внимание еще и своим громким голосом. Однако увидев ружье, он застыл на месте и пробормотал:

– С ума сойти! *Одно из тех самых.*

Старик поднял дробовик на руки, словно свое собственное заблудшее дитя, и сказал, что в последний раз видел ружье с подобной работой по дереву двадцать шесть лет тому назад. Это было африканское двуствольное ружье, принадлежавшее послу Кливу. Оно было выставлено на аукцион, и один из потомков генерала Хэйга, верховного главнокомандующего британскими вооруженными силами в Первую мировую, предложил неслыханную сумму и купил ружье.

– Но почему? – спросила Гвен.

– Потому что на дереве остались шрамы от войны, – сказал Бэттенхилл, показав на темное пятно на прикладе.

Он покопался в ящике, достал небольшой стеклянный флакон и стал втирать льняное масло в древесину. Запах этого масла распространялся в помещении. Узор проступал все явственнее, словно мастер занимался алхимией.

– Подсохло немного, – пробубнил Бэттенхилл. – Видите, – благоговейно произнес он. – Если посмотреть так, узор симметричен. Напоминает расправленное крыло фазана. А если чуть развернуть – вот так, – свет упадет под другим углом и проникнет в более глубокие слои древесины. Каждый миллиметр прирастает на протяжении нескольких лет. Вы смотрите в глубь веков. Наиболее явственно проступает тысяча девятьсот шестнадцатый год.

Старик продолжал втирать масло, и с каждым движением узор проявлялся все отчетливее. Затем он принялся рассказывать о шотландском полке́ под названием «*Черная стража*» и о его продвижении во время битвы на Сомме. Почти сразу же стало ясно, что эта история рассказывает и обо *мне*. Но год, в который началась моя история, был гораздо более давним, чем год моего рождения. *Моя* история началась уже тогда, когда четыреста лет тому назад в Отюе взошли шестнадцать ореховых деревьев.

11

В пять часов утра 1 сентября 1916 года рота «Черной стражи» ожидала в окопах сигнал к атаке. Когда раздались звуки волынки, рассказал оружейник, солдаты вместе с камеронцами – Хайлендской легкой пехотой – заняли то, что оставалось от когда-то пышного леса. Артиллерия скосила растительность, превратив лес в мешанину из грязи, обуглившихся пеньков и изуродованных трупов. Как и солдаты, брошенные в наступление раньше них, они были одеты в килты. Тела, между которыми им пришлось пробираться, были неузнаваемы, но по расцветке тартана, мелькавшего в грудах тел, можно было разобрать, что за подразделения шли в атаку и пали.

Битва на Сомме шла уже с 1 июля. Только в один первый день погибло пятьдесят семь тысяч британцев, из них двадцать тысяч мгновенно. Пулеметами простреливалась вся линия фронта, и даже в самых успешных атаках люди ежеминутно гибли сотнями. Тонны солдатских тел оставались висеть на колючей проволоке, снять их было невозможно. На летней жаре они гнили, пока мясо не отваливалось от костей. А тела, которые удавалось похоронить, не долго оставались в земле, поскольку при контратаках их взрывами вновь выбрасывало на поверхность.

– Словно великие державы созвали народы для решения труднейшей трудовой задачи, – рассказывал Бэттенхилл. – Самая передовая техника, самые изобретательные инженеры, самое работящее поколение – миллионы встали вдоль линии фронта, разрезавшей Европу надвое. Достаточно рабочей силы и знаний, чтобы каждый день возводить по пирамиде.

Угодья, кладбища, леса и деревни превратились в липкую кашу длиной в десятки километров. Гражданские горнорабочие рыли километровые туннели и закладывали в них такое количество взрывчатки, что взрывы слышали в Англии, а воронки были огромными, как от падения метеорита. Вновь прибывшие солдаты дивились маленьким облачкам, висевшим низко над землей и видимым с расстояния пятидесяти метров. Только прислушавшись к неестественно громкому жужжанию, они понимали, что это полчища мух роятся над трупами.

Артиллерия с обеих сторон била день и ночь. В общей сложности по линии фронта было выпущено больше миллиарда тонн снарядов. Фабрикам приходилось торопиться с их производством, и качество падало. Около

четверти от всего числа снарядов не взрывались, падая на землю, и вскоре оказывались затоптанными в грунт вместе с трупами.

Однако из всех боев, которые велись во время битвы на Сомме, солдаты считали самыми кошмарными бои за леса. Когда снаряды попадали друг в друга, осколки разлетались, как дротики. Солдатам приходилось идти в атаку плотными рядами, представляя собой легкую цель для артиллерии и пулеметного огня. Обломанные пни и корни делали невозможным вырыть укрытие, а ближние бои велись в такой тесноте, что, бывало, солдат погибал от осколков кости собственных товарищей, в которых попадал снаряд.

В то утро перед солдатами «Черной стражи» стояла задача отвоевать назад рощицу к северу от Отюя, на береговых склонах Анкра. Это была семнадцатая попытка – предыдущие атаки не привели к успеху, и солдаты знали, что противнику дан приказ стоять до конца.

Лесок-то весь занимал не больше тридцати гектаров, но его нашпиговали снарядами плотнее, чем какое-либо другое место на Сомме. В самый разгар обстрела сюда летело по семь артиллерийских снарядов в секунду. В редкие паузы между залпами орудий из леса доносились крики сотен умирающих. Бывало, проходил целый день, прежде чем можно было попытаться вынести оттуда оставшихся в живых, но к тому времени большинство были уже мертвы.

Бои в лесу были привычным делом для шотландцев. Похоже, верховное командование было склонно посылать в эти бои именно их, и они понесли колоссальные потери также и в Дьявольском лесу, и в массиве Высокий лес.

Продвигаясь вперед, шотландцы за один час потеряли восемьдесят процентов личного состава. Выжившие почти полностью утратили представление о действительности и машинально продолжали пробиваться под грохот орудий метр за метром при помощи штыков и лопат мимо обгорелых стволов деревьев и груд мертвых тел. Пути подвоза давно были разбиты, и вывезти раненых не было никакой надежды.

При поддержке минометов и других орудий с навесной траекторией горстке солдат удалось уничтожить пулеметное гнездо противника и прорвать линию обороны немцев, после чего они штурмовали рощицу, в которой все еще стояло несколько огромных деревьев. Это были древние ореховые деревья с огромными грубыми стволами, такими мощными, что, хотя ветки у них и были срезаны осколками, сами они устояли и представляли собой укрытие от артиллерии. Солдатам в конце концов удалось установить под укрытием больших деревьев пулеметный расчет.

Оттуда хорошо просматривались позиции противника, и они положили несколько сотен вражеских бойцов.

С наступлением ночи противник начал обстреливать лес в полную мощь. Верхушки деревьев загорались, но стволы продолжали стоять. Подоспело подкрепление с провиантом и амуницией, и солдаты окопались, готовясь к утренней контратаке. Строя баррикады, они забрасывали землей мертвых лошадей и людей, так что оттуда высовывались копыта и руки.

Немцам было видно в бинокль, где закрепились шотландцы, и теперь, будучи уверенными в том, что своих поблизости нет, они могли использовать все имеющиеся средства.

С рассветом начался мощный обстрел ядовитыми газами. Солдаты были хорошо знакомы с действием хлорциана, да и горчичного газа тоже: сначала он ослеплял, а потом человек четыре недели умирал в жутких мучениях – внутренности гнили у еще живых людей. Но что *это* был за газ, никто не мог понять. Либо это была какая-то дьявольская экспериментальная смесь с таким сложным составом, что химикам ни за что его не воспроизвести, либо при производстве была нарушена технология, и никто так и не понял, что же туда оказалось намешано.

Газовые снаряды при попадании в деревья грецкого ореха испускали светло-зеленый влажный дымок, стелившийся у поверхности земли. Солдаты, у которых еще сохранились противогазы, тут же надели их, остальным же пришлось прибегнуть к старой полевой уловке – помочиться на тряпочку и дышать через нее. Но вскоре стало ясно, что от этого газа защиты нет.

Солдаты утрачивали контроль над своими действиями. Одни затевали драки, другие неожиданно вставали во весь рост и тут же гибли от пуль снайперов. Те, кто оказывался ближе всего к газам, бесцельно шатались между деревьями, теряли сознание и падали в заполненные тиной воронки. Роту обстреливали снарядами с полчаса, и все это время на солдат стекал с деревьев зеленый газ. Молодой капитан отдал приказ продвинуться вперед и разместить пулеметы *впереди* деревьев. Приказ был бессмыслен, но его выполнили – и все были тут же убиты. Снаряд угодил и в самого капитана, позже его нашли вдалеке от своих позиций.

Но деревья устояли. Поднялся ветер и унес газовое облако. К шотландцам как раз перед самой контратакой успело подойти подкрепление. Новые солдаты легли за пулеметы павших товарищей и повели огонь по настильной траектории. За несколько минут они скосили не одну сотню врагов, а вскоре смогли подойти и закрепиться на позициях и остальные отряды. Это была окончательная победа. В боях за крохотный

лесок за какие-то шесть недель отдали жизнь пятьдесят пять тысяч немецких и британских солдат.

*** * ***

Пока Бэттенхилл говорил, мы с Гвен незаметно придвинулись поближе друг к другу и сидели теперь рука к руке, так что я чувствовал, как подрагивает ее плечо. Теперь она отодвинулась, и мне было непонятно, усилилось ли это подергивание или же она вдруг успокоилась.

– В ноябре тысяча девятьсот шестнадцатого битва на Сомме завершилась, – сказал Бэттенхилл и лаконично добавил, что потери с обеих сторон составили один миллион двести тысяч погибших и раненых. Союзники отвоевали девять километров местности, представлявшей из себя теперь море грязи, в котором плавали куски тел и железный лом. После боев в роще почти никто из солдат «Черной стражи» не был похоронен в отдельной могиле, но их имена высечены на колоннах Тьепваля, памятника тем, кого так и не нашли или кто был искалечен до неузнаваемости. После капитуляции в крохотной рощице осталось лежать восемь тысяч солдатских тел, вперемешку с грязью, корнями и неразорвавшимися снарядами.

Но перед старыми пулеметными позициями по-прежнему росли шестнадцать ореховых деревьев. С обломанными верхушками, ободранной корой и сгоревшими ветками, они все же выстояли. Поскольку вся растительность вокруг была уничтожена, эту рощицу было видно издалека. Весной на стволах появились новые побеги с зеленой листвой. Они, да еще редкие оранжевые маки, – вот что оставалось живого вдоль прежней линии фронта, и среди британских солдат эти деревья стали известны как *«Шестнадцать деревьев Соммы»*.

Когда грандиозный план властей по разминированию, так называемый *La reconstitution des régions dévastées*, был положен под сукно, владелец леса хотел расчистить этот участок, чтобы снова посадить там деревья, но вскоре понял, что ему с этой работой не справиться. Снаряды почти сплошь покрывали землю, и саперы обошлись тем, что расчистили лишь один безопасный проход через лес. Единственным возмещением ущерба владельцу леса послужила колючая проволока, которой бесплатно обнесли этот участок.

Понемногу рощица стала зарастать кустами и мелкими деревцами, но использовать эти земли было невозможно. Владелец время от времени

ходил по расчищенной тропе и на расстоянии разглядывал свои шестнадцать обгорелых деревьев, до войны дававших богатые урожаи орехов. Он видел, что плоды эти больны. Орехи были черными, мелкими и искривленными, а листья – изъеденными болезнями.

Тем временем один шотландский лесоторговец-оптовик прослышал об этих деревьях от вернувшегося с войны солдата. В двадцатые годы он отправился в Отюй, взяв с собой частных саперов. Они разминировали проход к одному из ореховых деревьев и срубили его, выкорчевав и корни.

Когда ствол привезли на лесопилку, обнаружилось, что древесина обладает необычайно ярким золотисто-красным узором. Оптовик счел, что так подействовали неизвестные ядовитые газы. Он предоставил распилить корень своим лучшим специалистам, и те сразу же увидели, что эта древесина не просто соответствует наивысшему сорту грецкого ореха, а превосходит его по качеству и стоит, таким образом, целого состояния. Состояния, которое автоматически многократно возрастало благодаря военной истории, продолжавшей жить в дереве.

Грецкий орех и так считался чрезвычайно ценным товаром – его великолепной древесиной восхищались многие поколения британской знати. Оптовик счел, что в данном случае единственно верной стратегией будет предлагать древесину ореха *исключительно* в качестве заготовок для прикладов драгоценных охотничьих ружей: ведь такое ружье – это и украшение, и память о войне с ее выстраданной победой.

Владелец леса согласился на предложение оптовика срубить деревья и выкорчевать корни, но неизвестно, как они договорились об оплате. Оптовик видел, что замысловатый узор продолжает развиваться. Деревья умирают медленно, так что он хотел повременить с вырубкой, подсчитав, что годовые кольца достигнут пика красоты к тому моменту, когда стволы будут уже близки к гибели.

Из того первого дерева было нарезано двадцать четыре заготовки для ружейных лож, и двенадцать из них были проданы ведущим оружейникам страны: три – Перди, три – Диксону, две – фирме «Холланд & Холланд» и четыре – «Боссу & Со». Богатые люди в измученной войной стране были под впечатлением от истории этой древесины, и, несмотря на общий упадок экономики, ружья были проданы за астрономические цены.

В течение тридцатых годов оптовик выбросил оставшиеся заготовки на рынок, чтобы вся эта история не забылась, и постарался подогреть ее рассказами о войне. В 1937 году оружейникам намекнули, что деревья созреют для рубки около 1943 года, а годом позже древесину предложат аукционные дома. С этим связывались колоссальные ожидания: об этой

древесине неоднократно писал толстый журнал «*Филд*», а в авторитетном справочнике «*Бритиш шотган*» использовали лишь один эпитет – *бесподобная*.

Но тут разразилась новая война. По ее окончании расползлись слухи о том, что этот грецкий орех пропал. Одни говорили, что лес сгорел при наступлении союзников, другие – что деревья вырубили. Однако оптовик утверждал, что груз в пути и что все заказы вскоре будут выполнены.

В 1949 году две заготовки для лож были выставлены на оружейном аукционе Бонэмс в Лондоне. Не было сомнений в том, что они происходят из пропавшей партии ореха: об этом свидетельствовали особенности узора, красота которого к тому же превосходила те образцы, что были проданы до войны. Продавец остался анонимным, и оптовик возбудил дело против аукционного дома. Но поскольку древесина не маркируется ни штампами, ни серийными номерами, он не сумел доказать, что она была у него украдена.

В 1955 году на рынок попала другая заготовка, со столь же фантастическим узором, как и предыдущая. Торги длились больше часа. Оптовик истратил колоссальные суммы на адвокатов и продолжал утверждать, что скоро поставит весь заказанный товар. Но на рынке больше ничего не появилось. Этот груз, который, по утверждению оптовика, равнялся почти трем сотням заготовок для лож, по-прежнему считался одной из наиболее ценных партий древесины, которые когда-либо существовали.

Эта партия заготовок стала известна под разными названиями. Некоторые называли ее грецким орехом из *«Шестнадцати деревьев Соммы»*, или грецким орехом Соммы, в память о павших солдатах. Но среди мастеров, изготовлявших ложа, это дерево называли не иначе как «грецкий орех Дэро», по первоначальному названию леса и фамилии владельцев.

12

– Почему ты не ешь? – спросила Гвен.

На столе стоял нетронутый кувшин с водой. Два лоснящихся гамбургера с деревянной шпажкой, наискось пронзившей прожаренный до золотистой корочки хлеб. Желтый сыр растаял и растекся по сырому луку и мясной котлете грубой рубки.

– Из-за шейки приклада, – ответил я.

– Что?

Я стремительно наклонился через стол и схватил ее за запястье.

– Оружейник говорил, что, когда держишь приклад дробовика за шейку, возникает *ощущение,* будто обхватил рукой запястье леди.

– И что?

– Ты не служанка, – объявил я, сжав ее запястье так же, как на пароме, в постели. – Ты – внучка Дункана Уинтерфинча.

– Я знала, что ты знаешь, – призналась она после долгой неловкой паузы. – Но я рада, что ты сказал это только сейчас. Дал мне побыть Гвен Лиск.

Я выпрямился на стуле и придвинул ногу вплотную к стоящему на полу чемоданчику с дробовиком. Продай я его, денег у меня было бы полно.

– Почему Лиск? – поинтересовался я.

– А, обычная фамилия на Шетландских островах, – сказала Гвен, крутя в пальцах вилку. – У Джона Лиска транспортное агентство в Леруике. Когда ты спросил, как меня зовут, мимо как раз проезжал их грузовик.

– Так ты врала мне все время?

– *О, умоляю,* – вздохнула она, вытерев губы. – Про грецкий орех я не знала. Честно. Знала, что с Хаф-Груни *что-то* связано, но что именно – не имела понятия.

– Брось! Ни за что не поверю.

Она поступила как в ресторане «*Раба*» – желая скрыть выражение лица, принялась жевать.

– Но это правда. У дедушки были свои секреты. Что-то не давало ему покоя. Остров был наш, но когда я спрашивала его, почему он позволяет там жить этому странному человеку, которого считают убийцей, дед отвечал уклончиво. Он был зол на Эйнара, но причину я узнала только сегодня. Потому что Эйнар забрал орех себе.

– Это еще неизвестно. Зачем бы он тогда поселился у вас под носом?

Девушка прищурилась. Мы моментально превратились в выразителей унаследованной от своих семей вражды.

– А не может эта древесина храниться на Хаф-Груни? – предположил я, чтобы снять напряжение. – Ведь приклад он сделал из нее.

Гвен отодвинула на край тарелки маринованный огурчик и отрезала кусочек хлеба. Вилкой повозила его в соусе, оставляя на фарфоре чистую дорожку. Интересно, подумал я, как она подаст свою историю, чтобы придать ей аппетитный вид.

– Невозможно, – сказала Гвен. – Как-то раз Эйнар уехал, и дедушка послал целую бригаду, чтобы обыскали весь остров. Они провели там четыре дня. Взломали замки, покопались в земле, даже внутреннюю облицовку стен сняли. Я спросила его, что они ищут. Он ушел от ответа. А дед был не из тех, у кого захочешь допытываться.

– Почему после смерти Эйнара вы не выкинули его вещи с Хаф-Груни?

Гвен опустила глаза. Бесцельно повертела ножом и вилкой. Наконец положила их на стол и снова вытерла губы. А когда подняла на меня глаза, ее светских ужимок как не бывало.

– Потому что я… – начала она. – О господи, это все так по-детски!

– Да что?

– Я это уже давно спланировала. Я ждала, чтобы ты приехал.

– *Ты* ждала *меня?*

Гвендолин протянула руку через стол и накрыла ею мою ладонь.

– Да, тебя, *Эдуард Дэро Хирифьелль.*

Она рассказала, как ее беззаботная юность разом закончилась, когда дедушка оступился на лестнице, упал и умер. Шериф вручил ей копию документа на участок, Хаф-Груни. В этом документе говорилось, что право проживать там принадлежит Эйнару, а после его смерти переходит к некому Эдварду Дэро Хирифьеллю, ее ровеснику.

Гвен вышла наружу и посмотрела на остров в бинокль. Увидела поднимающийся над ним дым от растопки торфа, вспомнила о странном столяре, делавшем гробы. Она встречала его иногда на паромной пристани, но они не общались. Неужели у него правда есть наследник? И она впервые задумалась о том, каков я, как выгляжу.

Через несколько лет пришло известие, что единственный обитатель Хаф-Груни умер. Гвен тогда жила в Эдинбурге и отправилась на похороны в надежде встретиться со мной. Но в Норвике она встретила лишь молчаливого пожилого мужчину, приехавшего на «Мерседесе»

с норвежской регистрацией. Девушка рассказала, что Хаф-Груни принадлежит семье Уинтерфинч, и спросила его, собираюсь ли я претендовать на право проживания там.

– Это мой внук пусть сам решает, – ответил дедушка на плохом английском, после чего сел в машину и уехал.

Это лишь разожгло любопытство Гвен. Она взяла «*Зетленд*» и впервые сошла на берег Хаф-Груни. Девушка задавалась вопросом, зачем ее дед обыскивал остров. Это было еще до того, как Агнес Браун съездила туда навести порядок, и дом стоял незапертым. Гвен зашла в мастерскую, где Эйнар изготавливал гробы. Порылась в его вещах, но ей стало не по себе, и она убралась восвояси. Через пару дней приехала снова. Но к тому времени там уже побывал кто-то, и этот человек сменил замки, что ее только подзадорило.

Адвокат предложил ей связаться со мной в Норвегии и выяснить все напрямую. Но Гвен подумала – *нет*. Лучше подождать. Оспорить предоставленное документами право, но не более того. У человека, прятавшего что-то от дедушки, есть родственник. Если прервать с ним связь, исчезнет последняя возможность разобраться в этом деле. Лучше посмотреть, что будет дальше. *Эдвард Дэро Хирифьелль* приедет.

– Так что да, признаю, – сказала Гвен. – Я надеялась, что ты появишься и где-то проколешься, оставишь след, по которому я смогу пойти.

– А ты цинична, – заметил я.

– Да не особенно, – возразила девушка. – Я ведь не знала, что твои родители погибли в Отюе. Кстати, а *ты?* Почему *ты* не раскрыл карты? Почему делал вид, будто ты такой простачок, что готов поверить всему, что надует тебе в уши Гвен Лиск? Объясните, *месье Дэро!*

Она произнесла мое имя на прекрасном французском. Ее произношение было куда изящнее моего, будто моя предыстория принадлежала ей в большей мере, чем мне самому. Родовое имя, произнесенное так звучно, распалило во мне желание разобраться в действительно важном вопросе, и я задумался о лесе, принадлежавшем маминой семье. Как он сейчас выглядит?

– Эй. Нечего ответить? – спросила моя собеседница.

– Отчего же, – спокойно ответил я. – Потому что общаться с тобой мне стало интереснее, чем копаться в прошлом.

Гвен замолчала. Воткнула вилку в блестящую от жира одинокую картофелинку, всю в темных крапинках рубленых трав, и стала жевать ее. Разрезала маринованный огурец пополам и тоже отправила его в рот.

Потом и я последовал ее примеру. Долго не глотал, продлевая восприятие языком вкуса уксуса.

– А мне понравилось, – сказала она. – Понравилось быть Гвен Лиск. Ездить в твоей вульгарной машине, ночами где-то болтаться… Может быть, я уже влюбилась в тебя, только еще не поняла этого.

Ее глаза приобрели мечтательное выражение, как в тот раз, когда мы только познакомились. Вот так, подумал я, чем дальше в лес, тем больше дров.

– После похорон Эйнара я вернулась в Эдинбург, – продолжила Гвен, – но на каникулы приезжала в тот каменный домик. Мне нравилось думать, что в сказочной Норвегии есть незнакомый мне человек, которого судьба раньше или позже приведет сюда. Ты для меня превратился в неразвернутую конфетку моей жизни. К этому году я уже почти забыла всю эту историю, как вдруг позвонил продавец из того магазина. В тот же вечер я увидела, как ты переплываешь пролив.

Она изменилась. Стала красивее, словно застывшие в маску черты вдруг расслабились.

– Я представляла тебя изворотливым типом, который попытается меня обхитрить. А ты оказался *handsome*[57]. Благородным по-своему. Как голодное, истекающее кровью породистое животное. Намерения которого противоречат моим. Ты меня удивил. Никто из моих знакомых мужчин не стал бы вытаскивать на берег дохлую овцу.

Я кашлянул, думая о нашем возвращении. В Эдинбург отправились Гвен Лиск и Эдвард Хирифьелль. Назад вернутся Гвендолин Уинтерфинч и Эдуар Дэро.

– Можно спросить, – заговорил я. – Что ты будешь делать с грецким орехом, если найдешь его?

– Зависит от того, по какой причине Эйнар его прятал.

Гвен подозвала официанта, отказалась от чая и попросила счет. Посмотрела на свои старые часы, рассчитывая, сколько времени уйдет на обратный путь. Сказала, что мы, к сожалению, не успеем зайти в ее тутошнюю квартиру.

– Почему такая спешка? – спросил я.

– Если верить словам оружейника, дедушка был алчным оптовым торговцем лесом, случайно наткнувшимся на что-то ценное.

– Ну, алчным, не алчным, он…

– Остался вопрос, который никто не задал, – перебила меня Гвен.

– Какой?

– Почему *капитан* Дункан Уинтерфинч был одержим тем, чтобы

заполучить шестнадцать ореховых деревьев с того места, в котором он вместе с остальными бойцами «Черной стражи» сражался в шестнадцатом году?

*** * ***

Постель без нее казалась пустой. Я повернулся на бок и позвал в пустоту:

– Гвендолин…

В домике было темно. Ночью мы не сдерживали себя. Словно оба хотели добраться до самого нутра друг друга. Извлечь вранье и посмотреть, что скрывается за ним. Наполовину влюбленность, наполовину растерянность, нашедшие выход в поту и в грубой ненасытности.

Ее будильник показывал без четверти три. Я прошел в гостиную, миновал журнальный столик, заваленный музыкальными журналами. В ночной тьме разглядел свет на верхнем этаже Квэркус-Холла. Мы договаривались пойти туда утром.

Вернувшись в спальню, я покосился на валявшуюся на полу элегантную одежду и достал из чемодана свои старые вещи из Норвегии. Вышел под жидкий лунный свет в рубашке, не надев куртки. Море у скал подо мной было спокойно. Волны лениво плескались о берег, и сверху их колыхание было едва заметно. Снова пошел дождь. Не как из ведра, а отдельными теплыми каплями.

Входная дверь была приоткрыта. Высокая и широкая, она тяжело скользила на петлях. По мере того как мои глаза привыкали к полутьме, вокруг проступали очертания помещения за дверью. Просторный холл с винтовой лестницей на второй этаж. Вовсе не та солидная, богатая обстановка, какой я ожидал. Прямые линии. Высокие потолки, простота убранства. Крупная плитка на полу, уложенная в центре картушкой. Здесь легко поместилось бы человек двадцать. Высокие резные двери.

Я нащупал выключатель за гардиной. Зажегся ряд колпачков, свисавших с потолка на тонкой стальной проволоке. Выцветшие прямоугольники показывали места, где раньше висели картины. Я поднялся по лестнице. Перила из блестящего красного дерева извивались жирной змеей, балясины были выточены в форме вытянутых песочных часов. Наверху передо мной открылся темный коридор. Я не нашел выключателя, но увидел впереди светящуюся щелочку под дверью.

– Гвен, – сказал я, продвигаясь туда.

Нет ответа. Дверь оказалась запертой, и я пошел дальше, миновал другой холл. Там выключателя не нашлось, и я ощутил запах плесени и старой кожи. Спустился по еще одной лестнице и увидел слабый свет за дверью с матовым стеклом.

Я открыл ее, вдохнул свежий воздух и понял, что обнаружил одну из тайн этого дома.

Внутренний сад. Большой, цветущий, омытый дождем, зеленый. Заросший настолько, что стал почти непроходимым. Не знакомые мне высокие деревья колоннами стояли вокруг округлых кустов с широкими листьями. И я понял, чего мне так не хватало на Шетландских островах, что было у Дункана Уинтерфинча и чего был лишен Эйнар: звука дождевых капель, падающих на свежие листья больших деревьев.

– Здесь он обычно стоял и смотрел на *меня*, – сказала Гвен.

Ее голос прозвучал сверху. Я повертел головой, пытаясь увидеть, где она. Теплые капли воды стекали с листьев и падали мне на лицо. Я обвел взглядом ряд окон на стенах, окружающих сад. Обнаружил ее на балконе на уровне второго этажа. Раздвинул ветки и, высоко задирая ноги, чтобы перешагнуть кусты, добрался до винтовой лестницы в углу.

– Какая-то теплица, – проговорил я.

– Нет, – отозвалась она, свесившись через перила. – Это *дендрарий*. Ботанический сад для деревьев. Восемнадцать видов. Тут сначала была стеклянная крыша, чтобы поддерживать нужную температуру, но она разбилась в тридцать третьем году. Осколки полетели на садовника и чуть не убили его.

Вслед за Гвен я поднялся на третий этаж, где по всему периметру здания шла внутренняя веранда. Отсюда мы смотрели на кроны сверху. Самые длинные ветки слегка задевали перила. Вид был как из шалаша в лесу, а шум прибоя был здесь едва слышен. Пусть снаружи бушует ветер, пусть соленая вода заливает берег и губит редкие чахлые побеги. Здесь же растения защищены: стены бережно заключили их в свои объятия.

– Мы всегда жили за счет деревьев, – сказала Гвен. – За счет того, что они давали и что мы с ними делали. Семь поколений семьи торговали древесиной, привезенной из тропических лесов Амазонии, из русской тайги, из Норвегии и Швеции. Древесиной для отделки, для мебели, для строительства. В нашем каталоге за тысяча девятьсот первый год перечислено семьдесят восемь видов древесины.

Она подошла к самому краю веранды, чуть согнула колени и раскачала пол так, что тот заходил ходуном. Ни одна дощечка не скрипнула.

– Дуб? – спросил я.

– Да. С дуба началась история нашей семьи, и на дубе заработано наше состояние. Некоторые говорят, что акционерное общество «Уинтерфинч» извело леса в Великобритании, но это чушь. Только *война* может оставить страну без лесов. Особенно без дубрав. Лишь дуб достаточно прочен для постройки боевых кораблей. Для одного семидесятичетырехпушечного корабля требуется срубить три тысячи семьсот дубов. На постройку корабля королевского флота «Виктория» в тысяча семьсот шестьдесят пятом году пошло пять тысяч семьсот строевых дубов. Распоряжался лесом, идущим на постройку флота, Грегор Уинтерфинч. Он лично проверял каждое бревно, использованное на «Виктории». Документы хранятся в подвале. На них есть подпись адмирала Нельсона.

– Начинаю понимать, что вы отличаетесь от норвежцев, – сказал я.

– Вы слишком долго раскачивались с захватом колоний. Наше семейное предприятие основал Грегор. В тысяча семьсот семидесятом году он начал возить лес с берегов Балтийского моря и вскоре стал одним из крупнейших лесоторговцев страны. С восемьсот пятьдесят восьмого по восемьсот девяносто третий мы были *крупнейшими*. С отделениями во всех крупных портах империи. Поставляли всё, от судового леса до ценнейших пород для изготовления шкатулок и тростей. Половина британских столярных изделий, продававшихся на гинеи, делалась из нашей древесины.

– А почему ты упомянула гинеи? – спросил я. – И оружейник тоже использовал это выражение…

– Серийная продукция оценивалась в фунтах. А все, что изготовляли в соответствии с пожеланиями заказчика, оплачивалось в гинеях. Стандартный стол – цена в фунтах. Стол, сделанный по размерам вашей гостиной, – в гинеях. Винтовка «Ли-Энфилд» серийной сборки – фунты. Ружье «*Диксон Раунд Экшн»* по твоим меркам – гинеи. Беговые лошади, твой портрет маслом…

– А в чем разница?

– Да почти ни в чем. С тысяча восемьсот шестнадцатого года не выпускают ни монет, ни бумажных денег достоинством в гинею. Но одна гинея равна одному фунту плюс один шиллинг. По традиции мастер забирал фунт, а подмастерье получал шиллинг.

Ветерок качнул верхушки деревьев, зашелестели листья. Жужжали мухи.

– Собственно, фирма не должна была отойти дедушке, – продолжала рассказывать Гвен. – Старшим был его брат Стэнли. Дедушка учился в военной академии в Сэндхёрсте, предвкушая полную приключений жизнь в

колониях. Но съездив с инспекцией в джорджтаунский офис, Стэнли умер от малярии. Когда дедушка принял дела, он был уже ослаблен войной. Одной из его первых крупных ошибок была постройка этого дома.

– Почему это ошибка?

– Стройку начали в тысяча девятьсот двадцать первом году, а в двадцать восьмом прекратили.

Я непонимающе наклонил голову.

– Идем в дом, – нетерпеливо сказала девушка. – Покажу.

Мы прошли через три пустых зала, освещенных сероватым светом летней ночи. В пустоте залов гуляло эхо. Оттуда мы попали в длинный коридор без окон, какие бывают в школьных зданиях. Гвен раздраженно фыркнула, когда выключатели *не сработали,* и мы на ощупь добрались до двери, перед которой она остановилась. Ее движения в темноте едва прочитывались, будто одно черное покрывало было наброшено поверх другого.

– Я восхищалась дедушкой, – добавила она. – За этой дверью находится комната, которая когда-то казалась мне самым безопасным местом в мире. Я всегда думала, что он неспроста такой, какой есть. Но вот явился ты. И вынуждаешь меня задуматься, было ли для этого достаточно оснований…

Девушка протянула руку вперед. В темноте я увидел, что светящиеся стрелки ее часов образуют острый угол. Было пять минут четвертого.

– Когда мы встретились, ты все время смотрел на эти часы, – сказала Гвен.

– Потому что они мужские, – объяснил я. – Я подумал, может, ты помолвлена.

– Эти часы побывали в Отюе, в том месте, где ты пропал, – рассказала она и открыла дверь. – На пятьдесят пять лет раньше.

Она вошла в полутемную комнату. Первым, что я заметил, было протертое в полу углубление. Как будто тут вытанцовывали пируэты металлические станки.

Что-то пронзительно кольнуло мою душу. Меня посетило *дежавю,* исчезнувшее так быстро, что я ничего не успел толком извлечь из памяти. *Запах,* вот что послужило толчком. В комнате чувствовался аромат старины и кожаной мебели, но сквозь него глубокой органной нотой пробивался острый земной букет.

– Что за запах? – спросил я. – Чем это здесь пахнет?

Девушка раздвинула занавески. Провела указательным пальцем по подоконнику и наморщила нос – пыль.

– Пахнет дедушкой, – сказала она. – Его трубочным табаком. Смесь «*Балканское собрание*». Он здесь пятьдесят лет курил.

Она повернула выключатель, и помещение залило желтым светом. В этой комнате было с шестьдесят квадратных метров, и занимала она весь угол дома. С одной стороны все окна выходили на море, а из окон на другой стороне открывались пейзажи Анста. Я подошел поближе: отсюда видно было веранду и зеленую листву дендрария.

Гвен стояла спиной к окну и молча наблюдала за мной. Я походил по комнате, осматриваясь. Перед одним из книжных шкафов стояла громадная конторка с облезлыми краями. В плетеных корзиночках лежали высохшие ластики, очечники и потускневшие авторучки. Книжные полки ломились от пожелтевших газетных вырезок и книг в кожаных переплетах.

В одном шкафу-витрине стояли бутылки виски; спирт в большинстве из них испарился. В другом обнаружилась стопка плоских жестяных банок.

– Вот что так пахнет, – сказала девушка, открыв одну. – «Балканское собрание».

На внутренней стороне крышки была надпись: «*A long cool smoke to calm a troubled world*»[58]. Я поднес банку с высохшим табаком к носу. Попробовал вызвать в памяти промелькнувшее воспоминание, но не сумел.

– Тот пиджак, в котором я ходил, – спросил я. – принадлежал твоему дедушке?

Гвен кивнула.

– Ты дала мне его, чтобы посмотреть, как отреагирует оружейник?

– Нет. Дала потому, что тебе нужен был твидовый пиджак. Не будь таким подозрительным. Тебя это не красит. Я этого не хочу. Не *здесь*, пожалуйста.

Перед закопченным камином стояла потертая мягкая мебель и низкий столик с огромной пепельницей из хрусталя. Над каминной полкой висел портрет маслом, на котором Гвен была запечатлена девочкой двенадцати-тринадцати лет. В профиль, старомодно наряженная в клетчатую юбку и блузку без рукавов, она смотрела на далекий морской берег. Я узнал это место – залив здесь же, наАнсте.

– А портретов других членов семьи тут нет, – заметил я.

– Есть. Вот его вторая семья, – сказала она, показывая на стену за письменным столом.

Фотография была с метр шириной, а в высоту не больше листка почтовой бумаги. Я подошел вплотную и увидел, отчего был выбран такой формат. На фото было запечатлено крупное воинское подразделение, точно не меньше трехсот человек, выстроившихся в шесть рядов. На рамке была

маленькая латунная табличка с гравировкой «Черная стража, 1915».

– Он сидит среди офицеров в центре первого ряда. *Без* усов. Капитан уже в двадцать лет, – сообщила Гвендолин.

Хорошая фотография. Все лица четко очерчены оттенками серого. Солдаты моего возраста, веселые и беззаботные на вид.

– «Черная стража» шла в бой в килтах до тысяча девятьсот сорокового года, – рассказала девушка. – Немцы думали, что это юбки, и называли их *адскими женщинами*. Вот, посмотри на эту четверку рядом с офицерами. Это волынщики. Они шли вместе с солдатами до самой линии фронта. До конца. Не случайно музыканты «Черной стражи» играли на волынке на похоронах Кеннеди.

– Почему их так называли?

– *Называют*. Полк существует с семнадцатого века. Думаешь, шотландцев можно расформировать только потому, что прошло несколько веков? А откуда название – никто точно не знает. Дедушка мог часами рассказывать о разных объяснениях. У них темные тартаны, но мне больше всего нравится думать, что их называют «Черной стражей», потому что у солдат в сердцах такой сумрак.

Рядом с фотографией меня снова накрыл этот запах. Запах табака, засевший в комнате или в одежде. Так дедушка всегда всплывал у меня в памяти, когда я чувствовал аромат сигарилл. Может, *отец* курил «Балканское собрание»?

Я нагнулся поближе, разглядывая Дункана Уинтерфинча. Портупея гордо пересекала ему грудь, но смотрел он не в камеру. Смотрел в сторону, на рядовых солдат. И, на удивление, многие из них тоже смотрели не в камеру, а на своего капитана. Но трудно было сказать, с сомнением или с восхищением.

Гвендолин достала из шкафа холщовую форменную тужурку цвета хаки и осторожно положила ее на стеклянный столик перед камином. Хрустальная пепельница взвизгнула, когда девушка отодвигала ее. А когда Гвен развернула тужурку, я сначала подумал, что она просто сделала это не полностью, и лишь потом сообразил, что не хватает левого рукава целиком. От плеча ткань свисала клочьями. Черные лоскуты походили на грубые шнуры. Это кровь впиталась в разодранную ткань, засохла, да так и не отстиралась до конца. На погонах матово поблескивали три капитанские звездочки.

– Тебе неприятно? – спросила моя собеседница.

– Нет, – сказал я. – Скорее грустно.

Она сняла с себя часы и положила их на стол, примерно там, где

заканчивался бы левый рукав, если б он был.

– Дедушка уже с год пробыл на фронте, когда с ним случилось *это*. Он участвовал и в сражениях первого, самого катастрофического дня. И вот тогда «Черную стражу» послали захватить лес. Рассказ оружейника совпадает с тем, что поведал мне дедушка. Но он мне ничего не говорил ни о деревьях, ни о газах. Я никогда раньше не слышала о *«Шестнадцати деревьях Соммы»*. Не представляю, почему.

Должно быть, тот же газ убил моих родителей, подумал я. Но ничего не сказал Гвен, потому что у каждого из нас был свой особый путь в этой истории и потому что, возможно, окончится она для нас по-разному.

– Дедушка рассказал только, что в него попал осколок снаряда. Когда он пришел в сознание, живых вокруг не оставалось. Его солдат или разорвало в клочки, или они лежали вокруг, умирая. Он привстал на колено, но его шатало. Его оторванная рука лежала на земле перед ним. Чуть в стороне валялся револьвер «Уэбли». Знаешь, что ему показалось самым странным?

Я покачал головой.

– Что часы на оторванной руке продолжали идти, – рассказала Гвен.

Я провел рукой по материалу. Грубый, плотно сотканный. Меня тянуло поднять форму перед собой на вытянутых руках, как я поднял платье на Хаф-Груни, но я сдержался.

– А сколько тебе было лет, когда у тебя появились эти часы? – спросил я.

– Десять. А их историю я услышала в пятнадцать. Как он поднял собственную руку, выбрался к путям подвоза, и как его, в конце концов, нашли возле Анкра.

Девушка отложила форму в сторону. На виду оказалась помятая эмблема подразделения в форме звезды – она едва держалась на ткани.

– И он никогда не упоминал те шестнадцать ореховых деревьев? – уточнил я.

– Никогда.

– Странно. Ведь рассказ о них ничем не грозил!

– Ничем. Совершенно безобидная вещь; более того, даже есть в этом какой-то *изыск*. Но нет. Ни словом. Как и о том, что в сорок третьем году он нанял *Аайнарра*, чтобы заполучить эту древесину.

Я помнил подслушанные пастором слова. «*Достаточно, чтобы заполнить грузовик*». Шестнадцать стволов – ровно столько.

– А каким он был с тобой? – задал я новый вопрос.

– Самым добрым в мире. Ему нравилось, что я всегда ношу эти часы.

А с другими людьми он бывал очень резок. Его мучили кошмары. В три часа ночи он всегда просыпался. Требовал исполнения своих распоряжений. Мне иногда бывало слышно его. Голос был такой строгий…

В полукружии на эмблеме подразделения было что-то написано на латыни. Я тихонько прочитал:

«Nemo me impune lacessit».

– Их девиз, – сказала Гвен. – «Никто не тронет меня безнаказанно».

Я стоял и разглядывал форму. Девушка отошла в угол комнаты, и внезапно послышался громкий скрип металла по дереву. Я резко обернулся. Гвен выкатилась из-за ширмы на древнем кресле-каталке с высокой спинкой. Огромные колеса были окованы железом – должно быть, их сняли с какой-то конной повозки. Обивка спинки была вся в прорехах.

– Он вернулся на ней с войны, – сказала девушка, покатав колеса туда-сюда. – В двадцать первом году в лондонском королевском госпитале из его тела извлекли пятнадцать осколков. А в сорок седьмом прооперировали в США. Стоило это целое состояние, зато в пятьдесят третьем он уже смог ходить сам. Только после восьмидесяти лет ему время от времени приходилось передвигаться на этой колымаге.

Гвен долго сидела в каталке. Потом резко встала, открыла какую-то дверь и вышла на веранду. За перилами был устроен примитивный лифт. Грубо сколоченная из дерева кабина, подвешенная на талях с маховиками и стальными тросами.

– Конечно, удобнее было бы оборудовать кабинет на первом этаже, но там же нет такого вида: деревья с одной стороны, море с другой.

Она подергала черную рукоятку. Зажужжал электромотор. Мы сели на пол деревянной кабинки. Гвен нажала на рычаг, и кабина, слегка дергаясь и трясясь, поползла вниз вдоль стволов. В ноздри нам ударил запах листвы, моря и застывшего машинного масла.

– Иногда я поднималась к нему на лифте, – продолжила рассказывать девушка. – Садилась вот так, болтала ногами. Стучалась в дверь на веранду и попадала в аромат «Балканского собрания». Он знал, что я пришла: видел, что лифт заскользил вниз, а потом опять наверх.

– *Фантастика*, – сказал я.

И тут Гвендолин Уинтерфинч улыбнулась.

– Что, не то слово? – спросил я.

– *Fantastic?* То. Если ты так считаешь.

– Постараюсь найти более подходящее, – сказал я. – Я работаю над этим.

– При дневном свете это не так *fantastic*, – заметила Гвен. – Я же

говорила, что дом так и не достроили. В боковых крыльях не настелены полы, нет стеновых панелей. В двадцать шестом году поток денег иссяк. Ведь дедушка, собственно говоря, был романтиком. Он строил Квэркус-Холл как святилище мира и разнообразия деревьев в мире. Он обожал дерево и мебель, после войны стал пацифистом, совершенно не умел вести дела, и его подводило здоровье. *На самом деле* его интересовали декоративные сорта для изготовления мебели и ружей. Торговля стройматериалами, и в самом деле рентабельная, шла все хуже и хуже. Сбыт упал. Отделение за отделением закрывались. В сорок шестом стало еще хуже. Ситуация была как в девятнадцатом. У людей не осталось денег на красивые материалы. Требовались дешевые древесные плиты для восстановления жилья. Мама родилась в двадцать седьмом году. На деле именно она руководила обществом «Уинтерфинч» с двадцати лет. Дедушка продолжал торговать экзотическими сортами древесины, но это все равно что работать в «Бритиш петролеум» и отвечать за машинное масло. Так что всем заправляла *мама*.

– Почему ты так произносишь – *мама*?

– Мое рождение не входило в ее планы. Она не хотела больше детей. Она хотела заниматься только фирмой. А отец интересовался лишь своими почтовыми марками. Поев, убегал к себе в кабинет, как олень в лес. У меня есть два старших брата. Здравомыслящие деловые люди, которые считают меня безнадежно избалованной девчонкой.

– Ты здесь росла? – уточнил я. – В этом доме?

– Практически так. Бабушка с дедушкой поставили себе целью воспитать меня в духе прошлого. Умение одеваться, вести себя за столом и разбираться в мебели. Я повидала все крупные города Европы с заднего сиденья «Бентли». Бабушка обожала аукционы. В двенадцать лет я умела оценить любую вазу Лалика. С точностью до четырех лет прикинуть время создания украшения Мириам Хаскелл. Когда бабушка умерла, я была ходячей энциклопедией довоенных обычаев.

– Ты же говорила, что отец научил тебя ходить под парусом? – напомнил я.

Гвен пожала плечами.

– Взяла тебя на пушку. Водить «*Зетленд*» меня научил дедушка. *В компании с одноруким стариком я выходила на нем в любую погоду с десяти лет*. Единственное, чем он мог мне помочь, – это своим спокойствием. Как ни крути, *furious gale* – ничто по сравнению с артиллерией немцев.

– Мне нравится твой Дункан, – сказал я. – Даже не знаю, почему.

– Когда дедушка умер, мама хотела продать это место. Но нельзя.

– А что так?

– Оно завещано мне.

– *Все это принадлежит тебе?*

– И земля, на которой все это стоит. Хаф-Груни. Плюс еще несколько шхер поблизости.

– Но почему же ты живешь в каменном домике?

– Здесь я теряюсь. Мой *формат* не позволяет заполнить этот дом. Я окончила частную школу. Мне там, в общем-то, нравилось. Но дальнейшее было предрешено. Эдинбургская школа экономики, потом должность начальника отдела в акционерном обществе «Уинтерфинч».

– У тебя никогда не будет недостатка ни в чем, – заметил я.

– Уже есть. Мне недостает кое-чего существенного.

– И что же это?

– Я как дедушка. У меня нет деловой хватки. Меня абсолютно не волнуют ни импортные пошлины, ни окупаемость. Сидишь в аудитории, слышишь, как остальные задают вопросы, а ты сжимаешься в комок. Последние экзамены я завалила, этой весной меня все окончательно достало.

В этой полутьме я наконец сумел разглядеть, что же, *собственно,* скрывается за фасадом Гвендолин Уинтерфинч. Чистое, неразбавленное отчаяние.

– Деньги мне дают родители, недовольные мной. Достаточно на дорогую одежду и музыку, но недостаточно для содержания огромного дома. Была бы я красива, подцепила бы мужа с кучей денег в банке. Но у меня маленькие сиськи, и я не умею готовить. Единственное, в чем я разбираюсь, – это антиквариат и *heavy weather sailing*[59]. Мои немногие романы были с пожилыми женатыми мужчинами. Господи, Эдуард! Не понимаешь, что ли? Я – декоративный объект, я ведь даже не красивая.

13

Сидя в твидовом пиджаке под явором, я почитывал «Шетланд таймс» и попивал черный чай с медом. На столе стояли остатки завтрака – кровяная колбаса, глазунья и жареные помидоры. Я приготовил его на газовой плитке в домике Гвен и отнес на потемневшем серебряном блюде с крышкой под промозглым ветром в дендрарий, где мы и поглотили его в сени деревь.

Но покоя я не чувствовал. Ощущение было, как когда «*Гейру*» сносило в море. Дна в этом затягивающем водовороте 1971 года было не видать. Никогда больше, проснувшись, я не увижу лица Ханне. Простой и доброй девушки, которую я променял на аферу с Гвен, хотя эта афера не может закончиться ничем хорошим.

Деньги. Я их зарабатывал, я их тратил. Свою долю выручки за картошку или овец, которых мы отправляли на убой. На это были куплены музыка, «Лейка», автомобиль. Копить деньги мне не было необходимости. Плодородная земля Хирифьелля снова даст урожай, и он принесет деньги.

«Но вот это…» – подумал я, взглянув на Квэркус-Холл. Я по себе заметил, как крупные деньги обретают власть над человеком. Сначала я смотрел на этот дом, считая, что он принадлежит другим и что таковые *имеются*. Теперь же я думал, что бы я сделал, если б он был моим, если б он принадлежал *мне*.

Если верить оружейнику, то заготовки для лож – если они сохранились – теперь сильно поднялись в цене по сравнению с голодным послевоенным временем. В уме я прикинул, за какую сумму их можно было бы продать. Ее с избытком хватило бы на покупку любого из богатых хуторов в Саксюме.

Но мама не чувствовала потребности в этом. Если судить по тому, что она писала Эйнару. Хотя и выросла в нужде.

На дне чашки плавали чаинки. Неизбежное зло, по словам Гвен, презиравшей чайные пакетики. Я выплеснул опивки на траву – травинки влажно заблестели. Над ними покружилась и села бабочка, привлеченная сладким запахом.

Кому же, собственно, принадлежит этот грецкий орех? Моей семье во Франции, поколения которой ухаживали за лесом, или Дункану Уинтерфинчу, который и сражался за эти деревья, и заплатил за право их срубить? С ходом ночи на этот вопрос становилось все труднее ответить.

Потому что, показав мне западный флигель Квэркус-Холла, Гвен хлопнула в ладоши и сказала:

– Хватит уже валять дурака. Да, студентка из меня никудышная. Но все-таки четыре года обучения в Эдинбургской школе экономики подготовили меня к тому, чтобы разобраться в деловом архиве. Однако прежде чем начать в нем копаться, я хочу получить ответ на один вопрос.

– Понимаю: на чем мы сойдемся? – отозвался я.

– Именно. Эйнар дедушку надул, и от этого никуда не денешься.

– Ну, это нам неизвестно, – сказал я. – Мы ведь так и не знаем, что он ставил в вину *твоему* дедушке.

Гвендолин отошла к окну.

– Эдуард, – сказала она, не поворачиваясь ко мне. – Мы можем достичь цели, только ничего не скрывая друг от друга. Если мы найдем орех, то поделим его пополам. К тому же, возможно, ты узнаешь правду о том, что случилось в семьдесят первом.

Она снова повела меня нескончаемыми коридорами и открыла ключом стальную дверь. За ней оказалась лестница, ведущая вниз. Воздух в подземелье был сырым и тяжелым. Вскоре мы оказались в зале размером со всю Саксюмскую сельскую библиотеку. Там повсюду стояли архивные папки и покоробившиеся скоросшиватели.

– Архив сделок общества «Уинтерфинч» до тысяча девятьсот сорок седьмого года, – сказала Гвен. – Плюс весь дедушкин личный архив. Увы, теперь он в некотором беспорядке…

На полу валялась сломанная приставная лестница. В одном углу стеллаж завалился, и кучка бумаг из него перекочевала в лужу, образовавшуюся после давней протечки. Половина лампочек перегорели, но тем не менее можно было видеть, как количество папок служит барометром роста и упадка акционерного общества «Уинтерфинч». Чтобы охватить период с 1899 по 1906 год, потребовался целый стеллаж. В двадцатых годах торговля пришла в упадок, затем настал новый период расцвета, а в 1940 году – новый упадок. Послевоенное время, когда бразды правления перешли к матери Гвен, перенесшей основной офис в Эдинбург, помещалось в нескольких отдельных папках.

– Помоги, – сказала девушка, придвигая скособоченную стремянку. – Подержи, я влезу вон туда, – она показала на верхние полки. – Это его старый личный архив.

Часом позже Гвен воскликнула:

– Ага, вот! Медицинская справка с войны.

И она спустилась на пол.

Бланк был тоненьким и хрупким, точки напечатанного на машинке текста пробили бумагу насквозь.

«На позиции 324 Тьепваль/Отюй подразделение подверглось газовой атаке. Вероятно, цианид или мышьяк, симптомы нетипичные (дезориентация, строптивость). Почти все солдаты и офицеры покинули расположение войск, или же потеряли сознание. 47 солдат убиты или ранены пулеметным огнем. 32 утонули в воронках от бомб. Капитан Уинтерфинч обнаружен на Спейсайд-авеню возле Анкра несущим свою оторванную руку».

– Что за Спейсайд-авеню? – спросил я.

Опустившись на колени, Гвен проглядела один документ, потом взяла следующий, а потом вернулась к предыдущему и прочитала его внимательнее.

– Проходам к линии фронта и окопам давались названия, как улицам, – рассеянно откликнулась она. – Чтобы управлять передвижениями по ним. Тысячам солдат требовалось найти дорогу на позиции.

И протянула мне еще одну справку.

«Левая рука оторвана между плечом и локтем. Руку принес сам и отказывался отдать. Остатки ампутированы военврачом».

Мы стали искать дальше. Вскоре Гвен попалась грязная и порванная военная карта осени 1916 года. В ее руках карта развернулась, и я вздрогнул, потому что вот так же в свое время развернулся передо мной томик «*События года: 1971*».

Река Анкр. Деревня Отюй. Заштрихованный участок на берегу реки. Лес Дэро. Четко обрисованы каждая возвышенность, каждая излучина реки, тропинки и поля. Пути продвижения, позиции неприятеля и санитарные пункты. Трасса под названием *Спейсайд-авеню.* Условные знаки и стрелки, нанесенные карандашом. Вероятно, их чертил капитан Уинтерфинч, пока ему не оторвало руку.

Там находилась позиция 324, на которой они сумели удержаться при помощи пулеметного огня. Где росли шестнадцать ореховых деревьев.

Постепенно война словно стерлась с карты, а моему взору открылась местность. Такая, какой она была без позиций артиллерии, в шестнадцатом веке, когда проросли ореховые деревья, и в 1971 году, когда туда приехали мои родители.

Ведь я же знал, где умерли мама с отцом. Но это была только точка в атласе. А здесь я ясно видел место, где это случилось, как на карте для ориентирования. На небольшом участке у кромки леса река делала изгиб и образовывала три большие запруды.

Должно быть, в одной из них они и утонули.

Во мне росло непривычное ощущение. Смесь ожидания и уверенности. Как когда я, поездив по дорогам с фотографией Хаф-Груни, сделанной дедушкой, спустился к воде и увидел, как постепенно все детали местности встают на место, словно совмещаются два одинаковых чертежа на кальке.

Воспоминание обретало очертания.

И постепенно это произошло, карта и мои воспоминания совпали. Дорожка, по которой мы шли. Запахи леса. Пение незнакомых птиц. Каждую из моих рук держит теплая рука. Одна из них больше – это рука отца. Кусты, через которые нужно пролезть. Колыхающаяся под ногами земля, трясина. Но это всё.

Убежал ли я от них тогда? Или мне просто *хотелось* помнить так, а не иначе?

Гвен не заметила, что я ушел в свои мысли. Что-то бормоча себе под нос, она рылась в архиве фирмы. Архив демонстрировал верность общества «Уинтерфинч» своим поставщикам. До самого 1929 года архивисты пользовались исключительно бледно-желтыми папками от «Стоунхиллз». Потом перешли на папки производства «Истлайт» с мраморными разводами и использовали их до 1967 года.

Но среди серых корешков 1943 года выделялась светло-желтая папка. Стоунхилловская папка с числом «*1921*» сзади. Случайно перескочившая на двадцать лет вперед.

Бумага, которую Гвен вскоре нашла, представляла собой написанный по-французски контракт. На листке – традиционная шапка компании «Уинтерфинч». «*Suppliers of fine and exotic materials worldwide. Edinburgh – London – Rangoon – Georgetown – Takoradi*»[60]. Договор был подписан в 1921 году и давал разрешение срубить «все наличные деревья» в лесу семьи Дэро в Отюе. Рядом с несгибаемой подписью Дункана Уинтерфинча читалось имя, компактно выписанное авторучкой с синими чернилами. Буквы низенькие и широкие. «*Эдуар Дэро*».

Этот мой прадедушка был истинным крестьянином. Ведь целью договора с Уинтерфинчем являлась не нажива, а приведение леса в порядок для дальнейшей эксплуатации.

Взамен за право срубить шестнадцать ореховых деревьев Уинтерфинч обязался оплатить работу частных саперов по расчистке участка от того, что оставалось после разминирования, выполненного властями. Землю следовало очистить от взрывчатых веществ и «узнаваемых частей тел» с целью посадки в будущем нового леса.

Но довольно скоро возникли проблемы. И те же давние разногласия вскоре всплыли на поверхность и между нами с Гвен, стоящими в архиве Квэркус-Холла спустя семьдесят лет. Мы начали подбирать слова. Следить за оговорками в словах собеседника, автоматически заняв противоположные стороны в этом деле.

– За срубленные деревья им причиталась кругленькая сумма, – сказала девушка. – Вероятно, достаточно для того, чтобы твоя семья выстроила на ферме новые дома.

– Что толку-то, – проворчал я, – раз контракт не был выполнен…

Дело в том, что среди бумаг оказался рапорт командира частной саперной команды. Всего за несколько дней погибли три человека. Местность была заболочена. Оборудование отказывало. Сплошные проблемы. То, что оружейник сказал об узоре древесины, «продолжавшем развиваться», лишь отчасти объясняло дело. Уинтерфинчу так и не удалось организовать разминирование леса.

Такое происходило не только в этом месте. Работы по расчистке земли от снарядов велись годами, и даже там, где было возможно использовать трактор и плуг, саперы гибли сотнями. Только к концу тридцатых годов Уинтерфинчу удалось набрать людей, готовых рисковать собой. Похоже, все они были алкоголиками и оборванцами, но договор эти люди не выполнили. Теперь среди снарядов пышно разросся подлесок и кустарник, и задача стала невыполнимой. Уинтерфинч написал письмо на завод «Рено» в надежде ускорить разработку новой «чудо-машины», бронированного трактора с молотильными цепами, которые вызывали бы детонацию снарядов, не подвергая опасности людей.

Но тут запротестовала комиссия по военным захоронениям. Они возражали против использования грубой техники на земле, в которой покоятся тысячи британских солдат. Либо разминировать лес вручную, либо уж оставить массовые захоронения как есть, за колючей проволокой.

Мы продолжили поиски. Быстро пролистали личный архив, медленнее – деловой. То и дело всплывали бумаги, подтверждавшие план Уинтерфинча, касающийся продажи древесины: опционный договор с Перди, поставщиком охотничьего оружия королевскому двору, о закупке тридцати заготовок лож на заоблачную сумму.

До сих пор Гвен казалась немного смущенной тем, как обошлись с моими французскими родственниками, ведь с *ее стороны* попадались лишь хладнокровные расчеты окупаемости.

Но тут ей попался листок, поставивший все с ног на голову. Письмо руководителю банка «Скоттиш уидоуз», основанного в качестве фонда

помощи вдовам солдат, павших во время наполеоновских войн.

– Как я понимаю, «Скоттиш уидоуз» еще существует, – сказал я.

– Разумеется, – ответила Гвен. – У них и эмблема прежняя – вдова под вуалью, – только с годами она стала выглядеть менее печальной. Гораздо менее печальной.

Она вдруг замолчала. Я заглянул ей через плечо, чтобы увидеть, что написано на том листке.

– Я так и думала, – сказала Гвен. – Он вовсе не собирался забрать себе прибыль. Наоборот, основал фонд поддержки семей погибших солдат. Себе он не хотел оставлять ни фунта.

Было шесть часов утра. Но мы не прекращали поиски, и когда нам попался следующий важный документ, распоряжение Уинтерфинча саперной команде, нам обоим стало жалко друг друга.

Шли годы. Уинтерфинч продолжал выплачивать семье Дэро небольшие суммы, чтобы сохранить право на ореховые деревья. Только в 1938 году, благодаря разработке нового защитного оборудования и металлоискателей, ему удалось наладить эффективное разминирование местности.

В своем распоряжении, касающемся этих работ, Уинтерфинч подчеркивал, что расчищать следует только участок вокруг ореховых деревьев, а все старые дорожки в лес оставлять как есть, до тех пор пока все деревья не будут срублены и вывезены. Безопасные участки и проходы к ним следовало обозначить на карте, на которую он несколько раз ссылался в этом письме, но которой мы в архиве не нашли. Последние строки содержали план Дункана по охране грецкого ореха от браконьерской вырубки: оставить защитную полосу газовых снарядов вокруг деревьев. То же и с берегом реки – он требовал практически заминировать его, чтобы никто не мог сойти там на берег.

Гвен застыла, держа в руках эту бумагу, будто смертельный приговор. Долго молчала. Затем убрала ее в папку.

Мы покинули холодный подвал с архивом, и она заперла дверь. Прошли длинными коридорами в теплую прихожую, вышли на свежий утренний воздух, и девушка захлопнула дверь Квэркус-Холла.

– Договор расторгнут, – сказала она по пути к своему домику. – Не хочу даже думать о том, что там случилось во время войны или после. Одержимость передается по наследству. Дедушка всю жизнь прожил, кидая горькие взгляды на Хаф-Груни. Эта история не имеет никакого отношения *к нам,* Эдуард. Давай-ка, дорогой мой, ляжем спать. Или, во всяком случае, ляжем в постель.

Мы лежали, обнаженные, под просачивающимися сквозь занавески лучами утреннего света. Но потом я не смог заснуть. Потому что с моей стороны обман был уже свершившимся фактом. Пока Гвен читала документы, я тайком достал «Лейку» и сфотографировал старую военную карту Дункана Уинтерфинча.

14

Дни, проведенные в тепле. Мы вдвоем в ее домике, между нами и погодой – толстая каменная кладка. Дубовые дрова с легким ароматом меда горят ровным пламенем, а мы слушаем музыку. Гвендолин любила врубить ее погромче, даже очень громко, ей нравились шумные группы: «Клэш», «Аларм» и «Погз», и она была из тех, кто скупает *всё*, включая макси-синглы неизвестных исполнителей и подпольные записи концертов. Я привез с Хаф-Груни остатки овцы, и мы, приправив мясо тимьяном и грубой солью, заперлись внутри, ощущая совместную гордость от того, что сумели добыть еду. Вдрызг напились виски «Белая лошадь» и проснулись голыми на диване.

– *Ты в порядке?* – спросил я.

– *Не спрашивай.*

С момента, как мы проснулись, и до того, как уснули, Гвен вела себя естественно. Смотрела прямо в глаза, отвечала сразу, а не после паузы. Я, наверное, и влюбился в нее потому, что она ничего не скрывала, но все равно оставалась загадкой. Мне начинало нравиться то, чем она отличалась от Ханне, и я знал, что это несправедливо: я засчитывал ей в плюс то, чего она *не* делала из того, что меня раздражало в Ханне. Гвен быстро выскакивала из постели *after being served*, как она выражалась, проскальзывала в ванную и возвращалась одетой. Ханне же долго нежилась под простынями и заводила серьезные разговоры, портя счастливые моменты непрошеными наставлениями.

– Знаешь, милый мой, – сказала Гвен, взяв мои руки в свои. – Ты мне нравишься, Эдуард. *Нравишься*. Даже когда ты одет, как бомж. Впереди еще несколько летних дней. У нас машина. В Леруике есть магазин пластинок и индийский ресторан. Что еще нужно влюбленной парочке?

Еще мне нравилось, что она больше не скрывает свое происхождение. Презрение к тем, кто покупает одежду на распродаже. Раздражение из-за того, что администрация гавани не соглашалась послать кого-нибудь на Анст и починить «*Зетленд*», не привлекая внимания, а сразу же предложила ей купить по выгодной цене новую современную лодку из стекловолокна.

– Жалкие людишки! – сказала Гвен и повесила трубку.

– А что такое? – удивился я.

– Они начали с *цены!* А не с качества. Варвары. К тому же она белая.

Белая лодка из синтетики? *Жуть!* Все равно что заявить на весь свет, что старому доброму «*Зетленду*» нашли замену.

– Да кого это волнует! – заметил я.

– *It is not the way to spend old money*[61], — пояснила Гвен. – Дедушка каждые два года покупал новый «Бентли» – но всегда синий, с тем же самым регистрационным номером. *Why follow trends when others follow you?*[62]

Она снова схватила телефон, дала администрации четкие указания, и в тот же день к нам заявилась пара мастеров. Когда они закончили работу, мы вышли в море, и Гвен разогнала лодку и часами наслаждалась вождением. Похоже, «*Зетленд*» был ее любимой вещью, даром что итальянской. Теперь, когда ей не надо было притворяться, происхождение проступало во всем ее поведении. В восхищении предметами с благородной патиной, монетами времен до введения десятеричной системы, оборудованием для длительных сафари, проницательными планами, призванными перехитрить Гитлера, походами Шеклтона и его последователей или в оправдании запоздалого прибытия Скотта к Южному полюсу.

Как изменился я сам, я заметил гораздо позже. Однажды, когда я одевался, Гвен стояла в дверях и исподлобья разглядывала меня. Потом она сходила в Квэркус-Холл и вернулась с чемоданчиком. В нем лежала аккуратно сложенная одежда.

– Нет, Гвен, – сказал я. – Это одежда твоего дедушки. Я…

– Это не его. Это моего брата. Он разжирел и забыл, что у него это есть.

Она крутанула регулятор громкости на стереокомбайне против часовой стрелки. Музыка, которую я слушал, «*The Crossing*» в исполнении «Биг кантри», стихла.

– Эта одежда осталась с тех пор, как мы последний раз все вместе отдыхали здесь летом, – добавила девушка, поднеся рубашку к свету. – «Тёрнбул & Ассер». Тот же портной, рубашку которого я тебе одолжила для похода к Диксону.

– Тоже египетский хлопок, да? – уточнил я, проведя рукой по ткани в мелкую клетку. Мягкая, как байка, но плотная и крепкая.

Она покачала головой.

– Нет, это «Си айленд», сто сорок нитей на дюйм. Не нашла *exact match in pants*[63]. Но ты можешь надеть вот эти, – сказала Гвен, вытащив темно-коричневые брюки. – *Кавалерийский твил.* Куплены наверняка по случаю. А сверху накинешь пиджак с саржевым переплетением «в елочку».

Он ко всему подходит.

– Портному пришлось расстараться, – заметил я.

– Ничего ты не понимаешь, солнышко. За *все*, чем ты сейчас восхищаешься, нужно благодарить британские классовые различия. Можешь назвать хоть *одну* действительно стоящую вещь, сделанную вручную в Восточной Германии?

– С ходу не могу.

– Если б не существовало общественного слоя, обладающего хорошим вкусом и большими деньгами, никогда не было бы и диванов от Андре Арбюса. Ружей от Перди. Никто не оборачивался бы на «Бентли». Даже индийская кухня была бы другой. Все это возникло, потому что мы были достаточно богаты и достаточно разборчивы, чтобы оплачивать бессчетные часы работы оружейника, шорника или повара.

Я оделся. Уселся перед камином. Положил ноги на пуф. Полюбовался пламенем. Когда жизнь требовала от меня действий, я всегда встречал эти требования в рабочей одежде. Подняться пораньше, взяться, сдюжить, выложиться…

Понимание, что сейчас я живу краденым временем, никуда не девалось. Каждая овца Анста напоминала мне об овцах дома. Бросить поля, засаженные тоннами драгоценного картофеля, и уехать – самый легкомысленный и беспечный из моих поступков.

Но вот сейчас я вдруг утратил желание работать. Мне хотелось пить чай, покупать пластинки, рассиживаться здесь средь бела дня с чистой совестью.

Интересно, дедушка испытывал такие же чувства в ту неделю, когда уезжал от меня и разгуливал в костюме, сшитом Андреасом Шиффером, а во внутреннем кармашке у него лежали билеты на концерт?

Мы пошли на север и добрались до маяка Макл-Флагга, где о скалы били белопенные волны. Прогулялись по улицам Леруика, напились и заселились в пансионат. Гвен учила меня управляться с «*Зетлендом», и* я стоял у штурвала во время коротких вылазок на остров Уйея, где мы бродили по лугам, вдыхая аромат полевых цветов и любуясь тем, как со сменой ветра иначе играют краски природы. Добирались до Аут-Скеррис, где устраивались с биноклем и наблюдали за выдрами с их блестящей шкуркой. Вскоре «*Зетленд»* превратился в продолжение моих рук, а мое общение с длинным рядом приборов в хромированной оправе стало доверительным. С каждым метром, что я проходил в твидовом пиджаке, я все больше менялся, но кем я становлюсь, что за металл заливается в мои плавильные формы, я так и не разобрался.

Ведь повсюду я натыкался на себя прежнего – надо мной довлела близость Квэркус-Холла, мысль о платье в гробу. Я постоянно оглядывался на Хаф-Груни, возвращаясь мыслями к теням, ждавшим ответа. Во мне звучал голос мамы: «*Не останавливайся, разберись до конца*».

Как пройдет мое расставание с Гвен, когда я скажу, что теперь мне *необходимо* уехать домой, чтобы заняться хутором? С чем она останется, когда единственная в ее жизни конфета будет съедена?

Я оттягивал эту минуту. Выжидал, не выдаст ли поведение Гвен чего-нибудь еще. И мне становилось все сложнее контролировать собственное поведение. Каждый раз, как я смотрел в сторону Квэркус-Холла, я чувствовал на себе ее взгляд. Будто дремлющее животное вдруг приподнимало веко. Мы прислушивались к нюансам слов друг друга и знали: стоит нам упомянуть *грецкий орех* – и мы превращаемся в Эйнара Хирифьелля и Дункана Уинтерфинча.

Гвендолин не выдержала первой.

– Я хочу на Хаф-Груни, – сказала она вдруг как-то утром.

– Туда, где все так голо и сыро? – отозвался я.

– Мне надоело ходить там, где подстелена соломка. Хочу на холод и камни. Здесь всего слишком *много*. Мне не нравится, что тут всюду царят воспоминания. И мне не нравится, как у тебя бегают глаза.

*** * ***

Я проснулся оттого, что Гвен пошевелилась в постели, и когда мы встретились глазами, я понял, что она уже какое-то время лежит и смотрит на меня. Повернулась на бок, положила ладошку под голову и натянула за уголок простыню до самого горла. Здесь, на Хаф-Груни, не было ни ванной, ни толстых махровых полотенец глубоких тонов. Только жестяная бадейка, парафиновая лампа и кувшин с водой.

Ей ничего не было известно о синем платье. Она уехала от своих теней и не знала, что Хаф-Груни пробуждает к жизни мои.

– Не понимаю, почему твой дедушка не срубил эти деревья, пока там работали саперы, – сказал я.

Гвен посмотрела на меня пустым взглядом.

– Ты об *этом думал?* – спросила она.

– Да, – кивнул я, встав с постели.

– Ну, потому, очевидно, что узор мог сформироваться не раньше сорок третьего года. Дедушка же не мог предвидеть, что начнется война? Кроме

того, это работа для специалистов. Срубить дерево легко, но если из него собираются сделать ружейный приклад, то нужно сразу же делать радиальный распил.

– Какой распил?

– *Чему-то* я научилась у семи поколений торговцев древесиной, – сказала Гвен с раздражением. – Для этого нужен специалист, который в состоянии учесть направление, в котором росли корни, и распилить ствол в точном соответствии со сформировавшимся узором. Ручаюсь, что Эйнар научился этому у Рульмана. Этот человек идеально подходил для решения такой задачи. И хватит уже до бесконечности талдычить о том, что было. Было, да быльем поросло.

Мы оделись и прокатились на «*Зетленде*». Стояла тихая погода. Буревестники не показывались. Потом я включил радио, чтобы послушать прогноз погоды. Я ощущал смену времен года всем существом – необходимое для хуторянина качество. Если погода дома испортится, плакал наш урожай.

– Послушай, Эдуард, – сказала Гвендолин. – Надо вставить стекло в разбитое окно. И кухню пора помыть как следует. Я, может, и белоручка, но пол надраить сумею. Взял бы ты «*Зетленд*» да сплавал на Йелл. Там есть скобяная лавка.

– Ты отпустишь меня на «Зетленде»?

– Не волнуйся. Он застрахован. И по крайней мере, в ближайшие часы сильных волн не будет. А я к твоему возвращению наведу здесь порядок. Нам нужно отдохнуть друг от друга, ты так не думаешь?

«Почему нет?» – подумал я.

Гроб я забросал торфом, платье и письма там внутри, двухметровый слой Гвен ни за что не разгрести.

Как ново, как захватывающе было прокатиться в одиночку на мощной лодке! Мурашки в животе, когда она взмывает над водой, вращение винта в воде, вибрация двигателя, пронизывающая деревянный корпус, встречный ветер, хлещущий по лицу солеными каплями… Солнце, резко обрисовывающее скалы на Фетларе и очертания невысоких холмов на Йелле. И чем больше скорость, тем лучше. Только я никак не мог отделаться от мысли, что позади меня сидит молчаливый и доверчивый пассажир с неуверенностью во взгляде, постаравшийся одеться понаряднее в меру своего разумения.

Ханне.

Я купил стекло и замазку, после чего вернулся и починил окно. Гвен убралась в кладовке и спальне, намыла кухню и гостиную. Довольно

неумело, но зато она нарвала цветов и поставила их в треснувшую кофейную чашку.

Вечером мы выставили сеть. На следующее утро там было восемь тресочек. Стоял полный штиль, тишина, и только над самыми нашими головами пролетела стайка гусей. Они появились со стороны Фетлара и сели пощипать травы на северной оконечности Хаф-Груни.

Я почистил рыбу, зашел на кухню, но Гвен там не было. Я крикнул в дом, позвал ее.

В ответ тишина.

Я вышел на крылечко. Увидел на камнях ее одежду. Когда она вынырнула выдрой, вокруг ее плеч по воде разошлись волосы.

Я разделся и подплыл к ней. Почувствовал, как меня подхватило легкое течение. Лег на спину и раскинул руки, она сделала так же. А потом мы развернулись в противоположные стороны, как компас с двумя стрелками.

– Эдуард, – сказала она на следующий день. – Мне нужно в Эдинбург по делам. И мне бы хотелось, чтобы работники мастерской в порту поставили «*Зетленд*» на подъемник и как следует осмотрели днище. Давай я поплыву на нем в Леруик? А вернусь на пароме через два дня, и ты меня встретишь…

– Мы же можем поехать в Эдинбург на машине, как прошлый раз, – предложил я.

– Не знаю… Нет, так не получится. Мне нужно на заседание правления. Мама – тоже член правления. Она встретит меня в Абердине.

Странно было это слышать. По тому, как Гвен раньше отзывалась о своей матери, та не имела ни желания, ни времени средь бела дня встречать свою взрослую дочь. Скорее, Гвен не хотела признаться в том, что я кажусь ей непрезентабельным. Как если б она притащила с собой лосиную лайку на выставку высокопородных английских сеттеров. Мне бы тогда же и оборвать поводок. Сказать, что, мол, пора возвращаться в Норвегию. Но тут Гвен протянула мне ключи от своего домика.

– Можешь пожить здесь или на Ансте, – сказала она, – как захочешь. Вот ключи. Мне нечего скрывать.

– А эти – от Хаф-Груни, – ответил я и отдал ей запасные ключи, которые дала мне Агнес Браун.

*** * ***

Красная краска омытого дождями телефона-автомата блистала чистотой. Внутри сияла желтым светом лампочка.

Я сидел в машине и мучился. Пялился на изгороди, считал камни в них.

То же состояние, как когда нужно было прикончить нашего старого кота Флимре. Патрон в ружье, погладить его, видеть, как он доверяет тебе и не ожидает ничего плохого, как хочет жить, хотя уже не может удержать в себе пищу. Тянуть время, медленно плетущиеся секунды, в которые прожитые вместе годы так явственно вставали перед внутренним взором… Его глаза, в которых вдруг отразилось понимание того, что во мне таится палач.

Выжидать и не решаться, сдаться и отложить ружье в сторону.

Продолжать жить, продолжать гладить мягкий мех.

Потом с неохотой снова вскинуть ружье, торопясь, чтобы снова не охватило отвращение от того, что я собираюсь сделать. Приставить ствол к голове кота и нажать на спуск. Видеть, как его тельце швырнет на землю, держать его в руках, пока не прекратит трепетать кошачья жизнь.

Промаявшись полчаса, я вышел из машины. В короткий промежуток между накатывающими волнами раскаяния схватил трубку и набрал номер хирифьелльского дома.

– Наконец-то ты, – сказала Ханне и начала рассказывать обо всем, что сделала на участке, как ей там нравится, какие выросли цветы и что она сегодня ела. – Ты сказал, что вернешься совсем другим человеком, – добавила она, и все говорила, говорила, так что мне и слова было не вставить. – Я тоже изменилась. Осветлила волосы.

Поток слов иссяк.

Каждый из нас подыскивал для другого подходящие фразы.

– Ханне, – сказал я. – Дорогая моя. Я просил тебя только присмотреть за хутором. Что ты там живешь – это пожалуйста. Только…

– Что – только?

– Наверное, когда я вернусь, нам не стоит больше быть вместе.

Она долго молчала.

Потом в трубку мне стало слышно, как в Хирифьелле плачет девушка. Девушка с тяжелой телефонной трубкой в руке, перед комодом, на котором стоит фотография моих родителей. Это были трое людей из четырех, которые были мне действительно дороги, и я не знал еще, сможет ли Гвен стать пятым.

На следующий день я стоял в Холмсгарте, окруженный чайками, и смотрел, как мне навстречу медленно скользит абердинский паром. И пока

Гвен спускалась по трапу в костюме серо-голубого цвета, со свежеуложенными волосами, мне хотелось только одного: чтобы это Ханне спускалась оттуда, Ханне с загоревшей за лето кожей, с честной улыбкой и пластырем на пораненной при обработке участка ноге.

Но вот Гвен уже здесь, и узы, связывавшие меня с Ханне, распустились быстрее, чем я ожидал. Осталась лишь тоненькая ниточка, да и та порвалась, когда Гвен бросилась мне навстречу, всем телом прижалась ко мне и поцеловала в губы, и я ощутил то, на что едва позволял себе надеяться: что мы *на самом деле* влюбленная пара, что за измену Ханне я должен расплатиться искренней преданностью Гвендолин Уинтерфинч.

Может быть, мне стоило бы удивиться, что от Гвен пахло не соленым морем. А коксом, которым пропитывает одежду дым из леруикских труб.

Но собственное предательство, видимо, застило глаза от подозрительности. Потому что пока она была в отъезде, я провел несколько часов в Квэркус-Холле, роясь в их частном архиве.

*** * ***

Я стоял на коленях под моросящим дождем, держа в руках изящный «*Диксон Раунд Экшн*». Такой ловкий, словно живой. Сталь была холодной, той же температуры, что и дерево, но по ощущениям деревянное ложе казалось более теплым. Я переломил ружье и загнал два тяжелых патрона в оранжевый картон камер. Они скользнули внутрь со звуком, похожим на вдох, и вслед за ним раздался металлический щелчок, когда латунные стопорные кольца коснулись стали стволов. Два «*Эйли Гран-При № 2*» из коробки с патронами в одежном чуланчике Эйнара.

Два выстрела, раскаты которых отзовутся сильнее всех других выстрелов. Два выстрела, которые покажут, как Гвен отнесется к новой встрече с ореховой древесиной, и эта встреча разлучит нас.

Вскоре послышались крики гусей. Они летели в другую сторону – значит, сменилось время года. Небольшая стайка опустилась в траву на Фетларе, переправилась через пролив и теперь приближалась к нам. Многие с ветром взмыли высоко в небо, но два шли над самой землей и оказались так близко, что можно было разглядеть рисунок их перышков. Я поднял дробовик, когда стало слышно хлопанье крыльев.

Никогда я не видел ничего подобного. Ружье, которое досталось мне от отца, по сравнению с этим было как неструганное полено. Диксоновский дробовик играючи улегся в моей руке, словно был частью моего тела, и

только и ждал от меня мысленной команды; остальное он делал сам.

Стройные стволы следили за полетом птицы, спуск произошел как будто сам собой, не требуя от меня никаких усилий, отдача показалась невесомым сообщением плечу о том, что выстрел осуществлен, и, когда дробины настигли цель, я увидел, как разлетается пух. Гусь сложил крылья и понесся наискось вниз – сначала в том же направлении, в котором он летел до выстрела, а потом, умерев еще в воздухе, ударился о землю. Большим пальцем я машинально прошелся по насечкам стали. Гильза выскочила по кривой, обрисованной полоской порохового дыма.

Гвен босиком подошла ко мне.

– *Brilliant shot*[64], — сказала она.

– Выстрел далеко слышно, – сказал я. – А разрешена здесь охота?

– А кто проверит? Считай, что владелец земли дал тебе разрешение.

Я положил дробовик на плоский камень. На ее реплику не ответил. Старался видеть в нас просто двух человек у моря, раздобывших еды, а не мужлана с землей под ногтями и выскочку с богатством за спиной. Это были просто *мы,* голодные и холодные, а перед нами гусь, из которого повалил пар, когда я его потрошил.

Но наше беспокойство нарастало. Ночь, проведенная мною в Квэркус-Холле, не дала результатов. Мне не удалось открыть в архиве никаких тайн. Только просмотрел карты времен войны. Меня все сильнее тянуло бросить все и отправиться во Францию.

Гвен отвернулась от гусиных внутренностей и от моих окровавленных рук. Стояла и смотрела на дробовик. Вглядывалась в деревянные детали, заигравшие на ярком утреннем солнце новыми красками, как живописное полотно, которое становится тем труднее истолковать, чем дольше на него смотришь – пока не смиришься с тем, что оно непостижимо.

– Ты бы оделась, что ли, – сказал я, хватая ружье.

Она ковырялась в еде. Водила вилкой по тарелке, чертя странные эллиптические линии. Жареный гусь казался безвкусным. В комнате слегка попахивало ружейным маслом. Перед едой я почистил дробовик, и Гвен открыла люк в подпол, где я спрятал его в сухом месте.

– Ему бы отвисеться несколько дней, этому гусю, – заметил я, работая челюстями.

– Или несколько недель, – недовольно отозвалась девушка, вытащив из зубов волоконце.

Я спросил себя, когда же мы начнем ссориться о том, о чем нам *собственно* следовало бы ссориться.

– Кстати, – сказала Гвен. – Я поднялась на высокую горку. Увидела

кое-что интересное.

– Ну-ка, расскажи.

– На сарае для лодок на Ансте кто-то нарисовал белый крест.

15

Поздно. «*Гейра*» дошел уже до середины пролива. Кончики пальцев у меня были белыми. Масляная краска, которой был нарисован крест на сарае для лодок, оказалась свежей, а на камнях у кромки воды лежала малярная кисть.

Гвен перевезла меня на «*Зетленде*». Настроение у нее лучше не стало. Я заставил себя доесть свою порцию и сказал, что хочу пофотографировать маяк на Макл-Флагга при хорошем освещении. Такое не делается быстро, и я был уверен, что она не захочет составить мне компанию. Мы расстались довольно холодно, договорившись встретиться вечером в ее домике.

И вот я смотрю на корму парома, а «Коммодор» рычит на холостом ходу. Но Анст схож с Саксюмом. Искать придется всего в двух-трех местах.

Она поднялась со скамейки возле Норвикского кладбища. Волосы, уложенные в высокую прическу, толстое пальто из грубой шерсти на красной подкладке. На запястье тонкий серебряный браслет. Ее седые волосы сияли, но она, казалось, ослабла с прошлого раза.

– *Я совсем забыла про ключ в банке из-под кофе*, – сказала она. – Ты его нашел?

– Что за ключ? – спросил я и замер, держась рукой за дверцу автомобиля.

– Эйнар арендовал бокс на складе в Леруике. Ключ от него хранился в кладовке для еды, в жестяной банке.

– А что он держал в этом боксе? – принтересовался я, подойдя к ней. – Не знаете?

– *Материал, наверное.*

– А это не мог быть груз древесины? – предположил я.

– Да мог… Я думала, это доски и планки, которые ему паромом отправляли из Бергена.

Мне следовало из вежливости посидеть с ней на скамейке подольше, но меня сжигало нетерпение. Я ощущал бледное подобие того, что, должно быть, терзало Эйнара. Если меня так взволновал этот ключ, как же его подгоняла потребность отыскать пропавшую возлюбленную, пропавшую дочь?

– Ты весь в нетерпении, – заметила Агнес Браун. – Вижу по тебе. Торопишься поехать поискать ключ, да?

Я подтвердил, что да.

– Знаешь, зачем я нарисовала крест? – спросила она.

– Из-за ключа?

– Я тут недавно пообщалась со своим врачом. Так что если у тебя есть место в лодке, мне бы хотелось еще разок побывать на Хаф-Груни.

Мы открыли лодочный сарай и вытащили «*Патну*». Седовласая дама, спрятавшаяся от непогоды в красивой одежде. Я сам, как фантом влюбленности сорокалетней давности. Вдруг Гвен заметит нас и приедет следом?

– Ты хорошо воспитан, – произнесла вдруг Агнес.

Я наклонил голову, продолжая грести.

– Не спрашиваешь, что доктор мне сказал, – продолжала моя спутница.

Она плотнее запахнулась в пальто. Перевела взгляд на мою прическу, за последние дни изрядно растрепавшуюся.

Я поведал ей о древесине грецкого ореха, спрятанной Эйнаром от Уинтерфинча. Она терпеливо кивала, но постепенно начала ерзать и кивать чаще, словно ждала какого-то вполне определенного сообщения.

И я пожалел, что поделился с ней. Эйнару ничем не грозило, если б он рассказал ей все. Однако он этого не сделал. Еще одно свидетельство того, как мало Эйнар ее ценил.

По морю прошелся ветерок, сморщивший поверхность воды. Высоко над нами летали чайки. Хаф-Груни приближался с каждым взмахом весел. Я не выпускал из виду яркий белый крест на сарае.

Браун видела, куда я смотрю.

– Что ты сделаешь, – спросила она, устраиваясь поудобнее, – если найдешь эту древесину и сумеешь продать ее за хорошую цену?

– Может быть, выкуплю ферму во Франции. Если мама *этого* хотела. Но этого мне, наверное, никогда не узнать.

Наконец мы добрались до места и двинулись вперед среди желтых травинок. Пожилая женщина осторожно ступала по гладким камням. Все, что она видела, – это прежнюю пустоту. Я нервно взглянул в сторону Анста, ожидая в любой момент увидеть «*Зетленд*», разрезающий волны белой бороздой.

– Мне очень хотелось бы отблагодарить вас как следует, – сказал я.

Запахнувшись в пальто, Агнес смотрела в сторону, на каменные строения.

– До́ма в Эрсте у меня родных почти никого не осталось. Здесь я тоже мало с кем общаюсь. Но есть у меня одно желание, – ответила она.

– Да?

– Чтобы ты спел «*Любовь Господа*» у моего гроба.

*** * ***

– Вон та, наверху, – сказала Браун, показывая на полку. Позади треснувшего металлического чайника стояла красная с черным банка от кофе норвежской марки «Али». – Я как-то купила его в Фёрде, – добавила она. – Думала, это его подбодрит. Он старался показать мне, что рад. Но привязанности к Норвегии больше не испытывал.

Я потянулся за банкой. Когда я снимал ее с полки, она задребезжала.

– Здесь нет ключа, – сказал я, сняв крышку.

– Вот странно, – удивилась пожилая женщина, глядя на покрывшуюся пятнами жесть. – Когда была здесь в последний раз, я проверила – он был там.

Я принес табуретку. Снял чайник, отодвинул пустые зеленые бутылки без этикеток, открыл другую жестяную банку. Ключа не было.

– На нем был указан адрес склада, – сказала Агнес. – Отчеканен на металле.

Ее взгляд не останавливался ни на минуту. Она заглянула на кухню, увидела разрезанного гуся и две тарелки с остатками еды. Наверняка те же тарелки, с которых ели они с Эйнаром.

Но Браун не спросила, кто побывал у меня в гостях. Я и сам-то едва отваживался произнести это имя.

Гвендолин Уинтерфинч.

Как это она сказала пару дней тому назад? «*Кухню пора помыть как следует*».

Я слез с табуретки. Подумал о том, как все происходило в день ее возвращения.

Якобы из Эдинбурга. Но от ее одежды пахло леруикским коксом.

Насколько же она кривит душой, собственно? Вот бы это оказалось случайностью, молил я. Вот бы она сейчас была у себя в каменном домике, и когда я постучу, все было бы как прежде. Вот бы она нашла этот ключ, убираясь, и переложила его в другое место. Пусть бы Гвен была просто маленькой девочкой, державшейся за руку дедушки, а когда он умер, навсегда выпустила бы его руку из своей…

– Агнес, – спросил я, – а где этот склад?

– В Гремиста-Брей возле Холмсгарта.

– Что за Гремиста?

– Небольшая промзона.

*** * ***

Это оказалось местом складирования всевозможных грубых и ржавых штуковин, имеющих отношение к рыболовству. Пять длинных сараев без окон, крытых гофрированной жестью. «*Для обслуживания звонить здесь*» – было написано фломастером на куске картона. Стрелочка показывала на грязный звонок.

Охранник был моложе меня. Рыжий парень в сером комбинезоне из смесовой ткани. На поясе у него висели карманный фонарик на длинной ручке и огромная связка ключей.

– Мне нужно забрать вещи, – сказал я, – которые здесь хранил Эйнар Хирифьелль.

– А ключ у вас есть?

– К сожалению, нет. Но вот мой паспорт. Можем мы как-то договориться? Я его наследник.

Парень подвел меня к одному из сараев, сунул руку в раздвижное оконце и извлек мятый журнал. Покачал головой, зашел внутрь и вернулся с другим журналом. Он напомнил мне типов, обслуживающих паромные переправы.

– А что вы собираетесь забрать? – спросил он.

– Не знаю, – ответил я.

– Не знаете, что собираетесь взять?

– Вероятно, это партия лесоматериала. Он хранил тут какие-то доски…

Охранник продолжал листать журнал.

Последние часы сильно расшатали мои нервы. Я предлагал Агнес отвезти ее в Леруик, но она предпочла отправиться рейсовым автобусом. Я остался стоять на причале, раздумывая о нашем с Гвен договоре. Поделить все пополам.

Потом я отправился к ней в каменный домик, пытаясь решить, как бы мне лучше подать историю с ключом.

Но Гвен там не оказалось. К домику по траве вели ее следы, но травинки уже распрямились. Я сбегал к лодочному сараю. «*Зетленда*» не было. Чувствовался слабый запах выхлопа – значит, уплыла она недавно. Но в проливе было не видать ни одной-единственной лодки.

– Человек с этим именем ничего здесь не оставлял, – сказал кладовщик.

– Вы уверены, что…

– *Сожалею. Но никого с таким именем не было.*

Парень вернул мне паспорт. Однако я не уходил, прокручивая в голове разные возможности.

– А по имени Оскар Рибо? – задал я новый вопрос.

Охранник засомневался еще сильнее. Пролистал уже просмотренные странички, долго смотрел на один пожелтевший лист. Достал рацию и обменялся с кем-то несколькими потрескивающими фразами.

– Сестра у вас есть? – спросил он, цепляя рацию на ремень.

– Сестра? Нет. А что?

– Я спросил охранницу, которая обычно тут сидит. Она говорит, что бокс Рибо много лет не открывали.

– Подождите-ка, – сказал я, – значит, Оскар Рибо здесь что-то хранил?

– *Хранит*. Он заплатил за десять лет вперед. Здесь оговорено еще одно условие. Если нет ключа, то чтобы открыть ячейку, надо правильно ответить на три вопроса. Но, может быть, это все и зря…

– Это почему же?

– Потому что несколько дней назад за его вещами уже приходили.

– И кто же?

– Да вроде молодая девушка. Красиво одетая. Выговор, как у уроженки Эдинбурга. У нее был ключ.

Ну и двуличность! Бросаться мне на шею, обведя меня вокруг пальца… Должно быть, найдя ключ, она ощутила всю свою наследственную решимость и небывалый прилив сил – тех сил в ней, которые справлялись с бушующим морем, которые толкали ее открывать вентили двигателя на «*Зетленде*» на полную мощь.

Но мы же потом не расставались несколько дней… Мне хотелось разозлиться, хотелось возмущаться, но перед глазами у меня стояло ее невинное лицо на веранде в дендрарии.

– Так она все забрала? – уточнил я. – Девушка-то.

– Не знаю. Меня же здесь не было.

– Ну, а что с тем условием? – продолжил я расспросы. – Что в нем?

– В смысле?

– Ну, те три вопроса.

Охранник взглянул на желтую бумагу.

– Э-э-э… Первый – это чистое ли на вас нижнее белье.

– Чего?

– *If you are wearing clean underwear.*

– Это что, шутка?

– Да понимаю я! Но тут написано, что этот вопрос надо задать.

– Ну, вчерашнее. Это правильный ответ?

– Понятия не имею. Больше ничего не сказано.

– Ну, и?..

– Что «ну, и»?

– Следующий вопрос!

– Зовут ли вас *Эдвард Дэро Хирифьелль*. Но я вижу по паспорту, что, во всяком случае, два имени из трех – ваши.

– Да, да. А третий?

Мой собеседник долго пялился в бумагу.

– Я не могу этого прочитать. По-немецки, что ли?

– Ну, попробуйте хотя бы.

– *Waaa hitr preston soh confirm dig hem i sachum?*

Я попробовал представить себе, будто пишу это предложение на доске.

– *Как звали пастора, конфирмовавшего вас дома в Саксюме,* – медленно произнес я по-норвежски с английскими «Р».

– Да, – кивнул охранник. – Вроде так.

– Таллауг, – сказал я. – Магнус Таллауг.

Парень поднял связку ключей. Металл бряцал целую вечность, пока он не снял со связки маленький ключик и не отвел меня к сараю.

На территории склада стоял полумрак и было прохладно. Мимо старых вилочных погрузчиков, мимо порванной коробки с резиновыми сапогами, мимо навесных моторов, свернутых канатов и деревянных ящиков для рыбы мы прошли к боксам, разделенным сеткой-рабицей.

Сердце у меня колотилось. Отсек освещала свисающая с потолка огромная лампа, а под ней стояло что-то, закрытое серым брезентом. Кто-то побывал здесь недавно и оставил следы на цементном полу. Предмет под брезентом имел в длину четыре-пять метров, а посередине на нем было какое-то возвышение.

– Ага. Значит, она не всё забрала, – сказал кладовщик. – Ладно, оставляю вас здесь.

Его шаги затихли, и я ступил в конус света от лампы. Брезент покрывало толстое одеяло пыли, слетевшей с него там, где Гвен приподняла брезент, чтобы заглянуть под него.

Я приподнял край – и увидел матовый колпак и растрескавшуюся резиновую покрышку.

Автомобиль.

Вот в чем дело! Вот почему Гвен прихорошилась, вот почему бросилась мне на шею. Она радовалась, что орехового дерева тут нет, радовалась, что нас не затянет на самое дно оставленная нам в наследство

навязчивая идея. На ночь она наверняка устроилась в гостиницу. Гвен *на самом деле* радовалась, выйдя из паромного терминала, к которому причаливает абердинский паром.

Тогда почему именно *сейчас* она сбежала?

Я аккуратно закатал брезент, чихая от поднявшейся пыли. Автомобиль был серым, как подводная лодка, потертым и помятым. Скорее всего, он был выпущен в начале шестидесятых. Никаких эмблем. Передняя часть вся в щербинках от прыскающих из-под колес камешков. Сиденье водителя потрескавшееся и продавленное. Длинный, но совершенно невыразительный капот. На парковке среди других машин эта не привлекла бы внимания.

На сиденье лежали ключи. Приборная доска была сплошь покрыта инструментами и бакелитовыми переключателями, напоминая кабину пилота в самолете. Я все никак не мог понять, какой марки эта машина, пока не взглянул на баранку и не увидел там на табличке надпись: «Бристоль».

Мы с кладовщиком выкатили автомобиль на солнышко. Он тяжело и неподатливо шел на своих полуспущенных покрышках – подшипники забились застывшей смазкой. Мы отпустили руки, отдышались, стоя рядом, и оглядели его.

На дневном свету все его повреждения стали заметнее. Ободран так, будто вернулся с авторазборки. В рассыпающихся документах из бардачка я прочитал, что этот прототип 406 с двигателем v8, *approved for road use*[65], продан «с определенными повреждениями согласно перечню». В разделе «цена» было написано только одно: «Инвентарь торговых помещений по адресу Кенсингтон-Хай-стрит, 368, по договоренности с владельцем, Тони Круком».

– У нее руль не с той стороны, – сказал охранник, выуживая сигарету.

Я хотел было возразить ему, но сообразил, что для него, британца, руль, конечно, был расположен не там. Он был слева, как принято в Европе. Как надо для машины, на которой ездят в поисках человека, рожденного в Равенсбрюке.

– Ну что, всё в порядке тогда? – спросил я.

– Для нас – точно. А вот вы еще не все внесенные деньги использовали.

– А можно я тогда побуду немного у вас на заднем дворе? – попросил я. – Хотелось бы двигатель завести.

Парень стряхнул пепел с сигареты и поднял большой палец.

«Бристоль» представлял собой смесь американского и английского,

какой-то вечный двигатель из алюминия и чугуна. Внутри воздушного фильтра я увидел приклеенную желтым скотчем записку: «*Проверь тормозную жидкость*».

Неужели это единственное, что хотел сказать потомкам Эйнар Хирифьелль? «*Проверь тормозную жидкость»?*

Кому он писал? Самому себе? Мне?

Я открыл бардачок. Нашел квитанцию, выданную за замену масла, произведенную в Германии в 1961 году. И еще одну за предыдущий год, из Чехословакии.

Я представил себе, как Эйнар появлялся на развалинах церквей, со стамеской и рубанком, и восстанавливал образы и скульптуры с изображением Бога, в которого он, должно быть, верил сперва все меньше и меньше, а потом все сильнее и сильнее. Похоже, машина прошла многие сотни тысяч километров. Может быть, поиски Эйнара были не только поисками, но и бегством. Бегством этого неприкаянного человека, ощущавшего хоть какой-то покой только за верстаком, от самого себя.

В багажнике лежали какие-то завернутые в коричневую вощанку запчасти и ящик с инструментами. Пульс у меня забился быстрее, когда я нашел заплесневелый кожаный футляр от фотоаппарата. Внутри оказался практически новый «*Илфорд Витнесс*». Но пленки в нем не оказалось. Рядом валялся захватанный дорожный атлас Франции. «*Мишлен 1948*». *Я открыл его на странице, где находится* Отюй. Ни стрелочки, ни синего кружочка вокруг какого-нибудь места. Все страницы одинаково затрепаны.

На полу кабины я нашел несколько обрезков бересты и билет на паром компании «Смирил лайн» из Бергена в Леруик за 1978 год. Купленный в день моего рождения, когда мне исполнялось десять лет.

Наверное, это была последняя поездка этой машины.

А теперь не торопись, остановил я себя. Присмотрись внимательно к тому, как все подстроено. Представь себя на его месте, здесь. Что он собирался делать, когда парковал машину? Письма́ он не мог оставить. Даже здесь. Почему? Потому что план не удался. И кто-то все еще разыскивал этот орех.

Гвен. Я пытался наполнить ее тем содержанием, которое, мне *казалось*, в ней было. Вызывал в памяти воспоминания о наших откровенных часах, часах, которые раньше вспоминались с ностальгией, а теперь предстали совсем в ином свете.

– Думай, думай, – пробормотал я.

В знак чего можно оставить машину, полную запчастей и с атласом дорог Франции? Должно быть, в знак того, что наследство находится не на

Шетландских островах.

Я снял с «Коммодора» аккумулятор, залил в машину Эйнара бензин из запасной канистры и завел мотор. Над Леруиком уже опустился вечер, когда «Бристоль», зажужжав, тронулся. В воздухе ощущалась прохлада. Руки у меня были выпачканы, желудок уже много часов не получал пищи.

Я сел впереди и проверил, как работают рычаги переключения скоростей.

В бардачке лежала белая восьмидорожечная кассета. Запись Гольдберг-вариаций Баха в исполнении Глена Гульда. Дедушка слушал ту же музыку, но в исполнении другого пианиста. Я вставил кассету и по наитию пересел на заднее сиденье. Откинулся на спинку. От вентилятора распространялось приятное тепло. Кожаные сиденья нагрелись от моего тела и запахли. Чужой, но знакомый аромат.

Я рывком выпрямился.

Тело подало мне знак. Не мозг, не органы чувств. Будто в преддверии землетрясения. Как в ту секунду, когда я увидел, что дедушка умер. Как когда я понял, что Ханне перебралась жить в Хирифьелль.

Эта машина. Этот запах. Этот рисунок ткани, которой отделан потолок кабины. Эти истрепанные коврики. Душок состарившейся кожи. Игра Глена Гульда на пианино.

Мой взгляд упал на крышку бардачка. У нее не было ручки – только тонкий шнур из плетеной кожи.

Почему я раньше не удивился этому шнуру?

Потому что я *знал*, что тут должен быть плетеный кожаный шнур.

Я моментально перенесся на много лет назад. Я сижу в машине, и мне ужасно страшно. Так же страшно, как когда я услышал треск разрывов из березового леса. Я такой маленький, что занимаю на сиденье очень мало места, а машина идет очень быстро. Тут я вспомнил еще кое-что: спину худого человека за рулем – он говорит что-то, чтобы меня успокоить, но это не помогает, потому что я не могу найти что-то гладкое, деревянное.

Мою игрушечную собачку.

Я искал собачку, а за окном мелькала стена темных деревьев. Потом мои руки вспомнили еще одно. Они вспомнили прикосновение к тонкой ткани. Платью, лежащему в гробу на Хаф-Груни. *Мама сидела в этой машине?*

Я потерял игрушечную собачку или своих родителей?

Воспоминание побледнело, но осталась уверенность.

Я уже сидел в этой машине раньше. В те четыре дня, когда меня не могли найти.

16

Скорее на Анст в незастрахованном «Бристоле»! На пересохших покрышках, с виляющим рулем и голубым дымком из глушителей. Но постепенно что-то менялось: мы с этой машиной понимали друг друга, и это понимание росло тем сильнее, чем дальше я ехал. Подрагивали стрелки приборов, сиденья сотрясались в такт с разбалансированными колесами. Словно животное, рыскало в темноте неясное ощущение из прошлого.

В ночи высилась громада Квэркус-Холла. «*Зетленда*» было не видать. Каменный домик Гвен все так же пуст. Ни души вокруг, ни даже овечьего блеяния, только завывающий у каменных стен ветер.

Отсюда я на гребной лодке поплыл в Хаф-Груни. Поднял крышку подпола, пошарил рукой в поисках чемоданчика с дробовиком.

Его там не было. А у Гвен были ключи от этой постройки.

Значит, обман удался. Со второй попытки. В сарае я выкопал гроб из торфа. Помыл руки и откинул крышку. Развернул папиросную бумагу, провел рукой по ткани платья.

Мои руки помнили. И это воспоминание было настоящим.

Я вернулся на Анст и переночевал в Бристоле. Чтобы поглубже воспринять запахи. Надеялся, что вспыхнут новые воспоминания. Как зерно, еще не разобравшее, в плодородную ли почву оно попало. Проснувшись, я увидел в морской дали Хаф-Груни. Низкий, темный, как осевшее надгробие.

Долго сидел с закрытыми глазами. Новых воспоминаний не приходило.

Запах кожаных сидений *был* знаком, но *больше* мне ничего не вспомнилось, словно рисунок был уже целиком раскрашен, но ничего нового в нем не появилось.

При утреннем освещении я облазил весь автомобиль, но не нашел ничего, кроме мелкого мусора и мелких монет, отчеканенных в пятидесятые и шестидесятые годы: немецкие пфенниги, чехословацкие геллеры, французские сантимы… А потом я нащупал в щели между сиденьями знакомую форму. Кассета с фотопленкой.

*** * ***

Аптека Лэинга в Леруике открывалась в девять часов. Я подождал у входа, разглядывая рыбачьи лодки у причала и спешащих на работу прохожих.

Вероятно, я больше никогда не увижу Гвендолин. Она, должно быть, в Эдинбурге, гребет тысячами гинеи за «*Диксон Раунд Экшн*», «оказавшийся *привлекательным* для некоторых клиентов». Ее летний выигрыш. Приключение, когда она перехитрила глупого норвежца и осуществила романтические планы, которые строила подростком.

Звякнул дверной колокольчик. Я вошел и поздоровался с аптекаршей, светловолосой женщиной за пятьдесят с короткой стрижкой. Она была удивительно красива. Сама аптека могла служить живой иллюстрацией того, как в прошлые времена именно аптекарь являлся связующим звеном между проявочной химией и фотографированием. У них была полочка с пленками производства «Кодак» и «Илфорд», и отдельный застекленный прилавок с парой аппаратов «Олимпус».

– А можно ли у вас сегодня проявить пленку? – спросил я, ставя на прилавок кассету.

– Придется посылать ее в Абердин. Сами мы больше не занимаемся проявкой.

«Черт!» – выругался я про себя и закрыл глаза. А когда открыл их, аптекарша вертела пленку в руке.

– Гм, – пробормотала она. – «Орво Эн-пи-двадцать»… Нечасто попадаются.

– Она старая, – сказал я.

– Я вижу, – кивнула женщина.

– А какого примерно времени?

Моя собеседница зажала кассету между большим и указательным пальцами.

– Конец шестидесятых вроде бы…

Я взглянул на черные бачки для проявки на полке за ее спиной. «Патерсон», дома у меня такие же.

– А порошковый проявитель есть у вас? – поинтересовался я.

Аптекарша открыла журнал с записями.

– Извините, нет. «Орво» редко спрашивают. Есть «Илфорд Микрофен», но с ним вряд ли выйдет достаточно хорошо. Можно было бы взять «Родинал», но один фрилансер, публикующийся в «Шетланд таймс», вчера купил последние пузырьки.

– Я сам смешаю, – сказал я. – А гидрохинон есть?

Вроде бы я правильно произнес это слово. Женщина сняла очки и

искоса посмотрела на меня. Через пару секунд мои глаза дали ответ на не заданный ею вопрос. Она извлекла из ящика таблицу, принесла пустые коричневые пузырьки и красивым почерком начала заполнять этикетки.

– Так, сульфит натрия… А чтобы уменьшить помутнение, вызванное тем, что пленка долго лежала непроявленной, я бы предложила бромид калия. Согласны?

– Полностью, – кивнул я.

Аптекарша отсыпала порошка в маленький пакетик.

– Эта штука ядовита, – сообщила она, налепив на пакетик оранжевую наклейку с предупреждением. – Вы понимаете, за что беретесь?

– Во всяком случае, до момента, когда проявлю пленку, – ответил я.

Вернувшись на Хаф-Груни, я набрал ведро дождевой воды из лужи. Заодно туда угодило насколько травинок, которые я выловил на кухне дуршлагом. Лизнул воду – проверить, не нагнало ли туда соленой морской водицы. Растопил торфом кухонную плиту. Протиснулся в земляной подпол. Проверил, не просачивается ли в щелки свет.

Снова я ощутил магию момента, когда извлекаешь новую пленку из кассеты. Когда знаешь, что на светочувствительном серебре схвачено что-то живое, что можно спугнуть. Что на нем запечатлено другое время, пока невидимое. Может быть, поэтому, подумалось мне, в то мгновение, что я в темноте держал в руках пленку, я цепенел от осознания, что она хранит время, для меня безвозвратно утраченное.

Я намотал пленку на катушку, опустил ее в бачок, откинул люк и выбрался наружу.

Поставил бачок на стол. Сказал себе: «*С этим не шутят. У тебя только один шанс*».

Разогрел воды в ковшике. Опустил в него термометр, купленный в аптеке. Слишком горячая. Добавил холодной.

Так-то. Двадцать градусов.

Затем я быстренько размешал проявитель и залил его в бачок. Постучал бачком по столу, чтобы вышли пузырьки воздуха, и сел ждать.

Путь назад отрезан. Одиннадцать минут ожидания. Одиннадцать минут, не десять и не двенадцать.

Я приготовился промыть пленку и развел соль для фиксажа. Посмотрел на часы. Каждые три минуты я переворачивал бачок и слегка его встряхивал.

Ну вот. Пора сливать. Проявитель потемнел. Хороший признак.

Промывка, фиксирование. Снова промывка.

Задержав дыхание, я открыл бачок.

Пленка повисла, скручиваясь змеей. Мне обрызгало руки мелкими водяными капельками.

У болтающегося ближе к полу конца я увидел несколько кадров с изображениями. Легкая молочная дымка их почти не портила, и когда я повернул их к окну, то увидел, что серебро лояльно восприняло свет, падавший на него во Франции в 1971 году.

Темной комнаты у меня не было. Не было и фотобумаги, и тем более фотоувеличителя. Зато у меня был подпол, осколки стекла от разбитого штормом окна, карманный фонарик и объектив, который я мог развернуть другим концом. Вскоре передо мной уже покачивалась башенка из осколков и дорогой немецкой оптики, и через нее я пытался разглядеть изображения почетче.

Снимки проецировались на нестроганную доску, и под ними водяными знаками проступали годовые кольца. Четкими изображения оставались только на то время, что мне удавалось не шевелить руками, и все они – эти кусочки действительности сентября 1971 года – существовали только перед моими глазами, там и тогда.

Искусным фотографом Эйнар не был: первые кадры были то нечеткими, то снятыми не с той выдержкой, а то сразу и теми, и другими. Первым, что я узнал в кадре, был «Бристоль» на паромной пристани.

Четырнадцать снимков из поездки во Францию. Мама, отец, Эйнар и я. Фотографировали они по очереди. Вот мы перед «Мерседесом», потом – перед «Бристолем». Наверное, в том месте, где они договорились встретиться.

На следующем фото мы сидим на площадке для отдыха – видимо, попросили кого-то сфотографировать нас, потому что там мы все четверо вместе. Семья под солнечным зонтиком с рекламой «Чинзано». Простые фото из отпуска, без ужимок.

И наконец – крупным планом Эйнар и мама. Со времен его фото на паспорт 1943 года на лицо деда наложили отпечаток бесконечные страдания, но это был *он* – изрытый, иссеченный морщинами, как столярный верстак, но глаза спокойные, и рукой он бережно обнимал маму за спину. Мама задумчиво улыбается, волосы дугой легли на щеку, взгляд прямо в камеру.

На следующем снимке Эйнар и я. Моя рука в его руке, но смотрю я на что-то другое.

На игрушечную собачку.

Значит, она была-таки у меня. Моя память пыталась установить связь со снимком, на который я смотрел, но дело шло туго. Кое-что все-таки

вспомнилось: худая рука и щетина на подбородке, коловшая мне щеку.

На следующей фотографии я стою один перед стеной каменной кладки. Показываю игрушечную собачку и улыбаюсь. Возможно, снимок сделан для аскетичной комнаты в доме Эйнара. Отдал бы он мне ее?

Я переступил ногами, стараясь как можно меньше двигаться. Оперся о холодный камень. Казалось, что я сижу в пустой могиле и рассматриваю фото мертвецов. Четырнадцать снимков из обычной поездки. На пленке с двадцатью четырьмя кадрами. Или поездка планировалась недолгой, или она прервалась.

Остался лишь один снимок. Но когда я увидел его, то не смог больше удерживать в равновесии сложную конструкцию из стекла, оптики и карманного фонарика. Она выскользнула у меня из рук, и изображение пропало.

Однако увиденного мне было достаточно.

Мама вместе с отцом. В их одежде можно было различить только разные оттенки серого, но один из контрастов бросался в глаза. На маме было платье с белыми полосками.

Точно такое же, как в гробу.

*** * ***

Я собрал вещи к отъезду. Принес платье, шахматную доску и бумаги. Смотал пленку и убрал ее во внутренний карман анорака.

Сидел и смотрел на пустые стены.

Гвен перла напролом, как трактор. Да, конечно. Но это я виноват в том, что Ханне смело в придорожную канаву. А без Гвен у меня ничего не вышло бы. Я не попал бы к оружейнику и не узнал бы, почему Уинтерфинч так отчаянно жаждал найти орех.

Может быть, то, что я чувствую, – это боли роста. А еще боль утраты «*Диксон Раунд Экшн*» с ложем, которое стоит, как новехонький «Ягуар».

Одно точно. Я больше не переживал из-за того, что недостаточно тоскую по своим утратам. Мне и без того было тошно. Нужно было убираться оттуда, ехать во Францию и пытаться выяснить остальную правду.

Сначала мне было необходимо заехать в Хирифьелль, подготовиться к выкапыванию картошки. Может быть, показаться Ханне и спросить ее, что она там видела.

Остатки гуся я бросил чайкам, помыл две тарелки и лег спать. Паром

на Берген отходит во второй половине дня. Достаточно времени, чтобы забрать «Коммодор». Поднялся ветер, и я надеялся, что эта последняя поездка на «*Патне*» окажется не слишком рискованной.

Среди ночи я сел в постели, проснувшись от кошмарного сна, в котором весь урожай картофеля пропал из-за парши.

Мне почудился невдалеке гул лодочного мотора, но потом этот звук стих. Я снова лег, но не мог заснуть и прислушивался. Все то время, что провел один на Хаф-Груни, я слышал только собственные шаги, ветер и шум прибоя.

Вдруг раздались шаги. Открылась дверь в прихожую.

Я зажег парафиновую лампу и натянул брюки.

Она вошла и поставила среди комнаты чемоданчик с дробовиком. Ее волосы намокли и распрямились. Одежда была вся смята, а пальцы в чем-то черном. На куртке расплывалось жирное пятно.

Я вышел на крыльцо, не коснувшись ее. У причала был пришвартован «*Зетленд*».

Гвен тяжело плюхнулась на кухонную табуретку спиной ко мне.

– Кем ты хочешь быть? – спросила она.

– То есть?

– Помнишь, как нам было хорошо вместе, когда мы на машине ездили в Леруик? В Эдинбург? Когда сидели в ресторане?

– Это было до того, как мы признались, кто мы, собственно, такие, – напомнил я.

– Мы же довольно долго отлично ладили, разве нет? – возразила Гвен, расстегивая штормовку. Видимо, она сильно промокла.

Я много чего должен был сказать. Как мне *действительно* было хорошо с ней и как она в то же время ранила меня. Но я не сумел найти слов. Во мне снова вспыхнула нежность к ней, когда она произнесла:

– Скажи мне одну вещь, Эдуард. Когда все у нас с тобой шло гладко – я тебе нравилась тогда? На самом деле *нравилась*? Как тебе нравилась бы твоя девушка?

– Да, – подтвердил я. – Нравилась.

– Честное благородное?

– Да. Ты мне нравилась так, как могла бы нравиться моя любимая девушка.

– А теперь? – спросила она, выйдя из лужи, которая натекла с ее мокрой одежды.

Я не ответил. Открыл чемоданчик и вынул из него дробовик. Стволы натерты маслом, приклад навощен.

– Я сегодня зашла к Диксону, – рассказала Гвен. – На самолете слетала. Они сразу же вытащили чековую книжку.

– Так почему же ты его не продала?

Девушка достала из кармана пачку сигарет «Крейвен А», но та размокла, и она бросила ее в ведро рядом с плитой.

– Хаф-Груни никуда не денется, – сказала Гвен. – Всегда будет напоминать мне о том, что я поступила с тобой нечестно. И – нет, подожди, помолчи пока, Эдуард. Вот еще что.

Она достала ключ и протянула его мне.

– Я наврала. Не была я ни на каком заседании правления. Я была…

– Не надо, – сказал я. – Я все знаю.

– Знаешь?

– Да. Я там был. Мне рассказали про тебя.

Девушка покраснела. Стыд, жгучий стыд – вот уж чего я не ожидал увидеть на благовоспитанном лице Гвендолин Уинтерфинч.

– Я надеялась получить преимущество, – сказала она. – Но потом я сама себе стала противна. А потом еще на лодочном сарае на Ансте появился этот странный крест… Ты сказал, что собираешься к Макл-Флагга, а сам поплыл назад с седой старушкой. А потом и я туда отправилась, подумала, что пусть хоть дробовик достанется мне.

– А вот чего *ты* тогда не нашла, – сказал я, подняв на ладони связку ключей от «Бристоля», – так это ключ от другого бокса. Он был на этой связке.

– *Что?*

– Да, – кивнул я. – У Эйнара была еще ячейка.

– И там они и были? Заготовки для лож?

– Все до одной. Почти три сотни. Самого лучшего сорта.

Гвен встала и застегнула куртку.

– Ну что ж, значит, делу конец.

– Значит, так. Если только ты не собираешься звонить адвокату.

Гвен подошла к окну, которое мы вместе починили. Оставила отпечаток пальца на еще не застывшей замазке.

– Продай их, – сказала она. – Меня это не заботит. Дедушка умер. Война кончилась, а фонда организации «Скоттиш уидоуз» больше не существует.

– Как мне получить за них лучшую цену? – спросил я.

Она горько рассмеялась.

– Именно *это* я тысячи раз пыталась за последние дни спланировать. Сдай небольшую партию в пару аукционных домов. «Бонэмс» и «Сотбис».

Пусть они напишут в газете, лучше всего в «Санди таймс», что найдена пропавшая древесина грецкого ореха. Пусть пороются в архивах и обрисуют все наилучшим образом. Ох, как это взвинтит цены! Загадки *двух* мировых войн. Тайник с ценной древесиной, намек на темные махинации… Разукрашивай как хочешь. Потом свяжешься с фирмами «Диксон», «Холланд & Холланд», «Перди» и не забудь еще «Босс» – и продавай им напрямую. А, еще «Уэстли Ричардс». Разъясни им, что у тебя вся партия *целиком*. Что больше ничего не появится. Не забудь упомянуть, что ты потомок семьи Дэро. Подай немного на содержание военных памятников на Сомме, чтобы совесть не мучила. Меня это не колышет.

– Ты это серьезно?

– Лишь бы уже отделаться. А остаток жизни буду блуждать по Квэркус-Холлу, подставляя ведра под текущие потолки.

– Мне пора, – сказал я. – Так что больше не увидимся.

Ее тело никак не находило равновесия. Будто она больше не различала левый и правый борт.

– На следующей неделе начинаются занятия, – сказала Гвен. – Еще одна осень на то, чтобы студентка экономического отделения Гвендолин Уинтерфинч убедилась в своей неспособности усвоить программу. Днем пораньше смываться из читального зала, чтобы успокоить нервы скупкой пластинок и шмоток. Не раскрывая рта, просиживать штаны на заседаниях правления. Потом в квартиру. Корпеть над книгами, которые не вызывают ни капли интереса. И снова сюда, сидеть в одиночестве в кабинете дедушки и обозревать Хаф-Груни.

Я захлопнул чемоданчик с дробовиком. Поднялся. Достал свою связку ключей от йейловских замков на ее каменном домике. Гвен тоже протянула мне связку. Норвежские мустадовские ключи.

– И что теперь? – спросила она, направляясь к выходу.

– Теперь я поеду в Норвегию собирать урожай. Потом – во Францию.

Она нахмурилась.

– Зачему тебе во Францию, если ты уже нашел орех?

– Потому что я так и не знаю, что произошло в семьдесят первом, – объяснил я. – А теперь у меня есть средства на поездку.

– Ну, счастливого пути, – сказала Гвендолин.

Я смотрел, как она в полутьме спускается к «*Зетленду*». Плечи у нее вздрагивали, и было понятно, отчего.

Я и сам едва удержался от слез. Она мне *действительно* нравилась. Она мне нравилась, даже когда врала. Мне нравилось ее вранье, потому что на самом-то деле оно приближало меня к правде о моих родителях.

Я спустился к лодке вслед за ней. В промежутках между ударами волн было слышно, как она плачет.

– Не было там ореха, – сказал я наконец. – Не было никакого другого ключа.

Осталась бы она стоять спиной ко мне, скрыла бы этим, что сразу просчитала новую ситуацию и составила новый план действий, – и я, вероятно, поступил бы иначе.

Но она не осталась спиной ко мне. Она резко обернулась, и хотя я не мог как следует разглядеть ее лица, я увидел, что в ее движениях появилась легкость, словно она скинула с себя рюкзак.

– Значит, есть еще надежда, – сказала Гвен, подбежав ко мне. – Мне бы только выбраться отсюда, и всякие дурацкие мысли перестанут лезть мне в голову. Позволь мне доказать тебе это.

– Ты не можешь больше ничего сделать, – возразил я.

– Еще как могу, – заявила она, прижимаясь ко мне, как прижималась на паромной пристани в Леруике. – Я могу бросить Эдинбургскую школу экономики. Возьми меня с собой в Норвегию. Покажи мне свой хутор, Эдуард. Позволь мне быть глупой девчонкой, которая слушает «*Forever Young*».

IV
Оружие отложенного действия

1

На каменных ступенях бревенчатого дома стояла Ханне Сульволл в белом платье. Выглядела она так шикарно, что я вздрогнул и от неожиданности, и от того, как она была хороша со своими золотистыми волосами и загорелой от работы на солнце ровной кожей.

Я почувствовал, что что-то не так, как только свернул с областной дороги. Шлагбаум был поднят. Трава на обочинах скошена. Солнце ярко освещало постройки, растительность цвела буйным цветом. При жизни дедушки меня всегда встречала эта картина: все ухожено, свежо, морковные хвостики стройными рядами торчат на свежепрополотых грядках, кусты смородины красные от обилия ягод.

Так не должно было быть. Лужайка должна была неровно зарасти травой, сорняки должны были вытеснить с грядок овощи. Когда я подъехал ближе и увидел перед домом «Манту», мне стало до боли неловко. Ведь в дверях стояла Ханне, и должно быть, она удивлялась, что это за незнакомый «Бристоль» прибывает в Хирифьелль. Узнав меня, она уже подняла было руку, чтобы помахать мне, но уронила ее, увидев, что в машине нас двое.

Сюда я ехал в прекрасном беззаботном настроении – я *действительно* не думал, что Ханне окажется здесь. Глупо и наивно с моей стороны, понял я теперь. Будто мои представления о реальности потеряли свою четкость на Шетландских островах. Я смотрел на наш приезд в Норвегию просто как на остановку по пути во Францию. Поначалу я испытывал острые уколы сомнения, раскаиваясь в том, что согласился взять с собой Гвен, но как только паром отвалил от Холмсгарта, мне сразу же полегчало. Она взяла с собой всего два старых кожаных чемодана. А *мой* багаж представлял собой хаос коробок и пластиковых пакетов.

– Ты, похоже, не слышал о *fitted luggage*, – сказала она. – Это чемодан, размер которого соответствует багажнику. У нас для «Бентли» были такие. Мне разрешали брать только эти два.

Она тут же влюбилась в расшатанный и скрипучий «Бристоль» и, устроившись на потрескавшемся кожаном сиденье, сказала, что это все равно что Уайтхолл на колесах. Я был счастлив, когда сошел на берег в Норвегии, когда увидел фруктовые деревья и солидные деревянные дома. Счастлив ехать домой на машине с красными временными номерами, пить чистую воду из-под крана, видеть все тот же набор товаров в киосках на

бензоколонках и даже заправляться дорогущим бензином. Когда мы проехали поблескивающий на ослепительном солнце Лауген, Гвен сказала, что *this place is just marvellous*[66], — и она действительно так думала, пока мы не приехали на ухоженный хутор среди леса.

А тут на тебе, на каменных ступенях – эдакая повелительница воинов в белом платье, совершенная, как только что отлитая скульптура, как бы говорящая: «*И все это ты готов поставить на карту, глупец*». Ханне пристально оглядела «Бристоль», пристально оглядела меня, пристально оглядела Гвен. Смерила ее от туфель до макушки взглядом, говорившим: «*Что за гадость притащила в дом кошка?*», *а потом* повернулась ко мне, провела пальцем по моему твидовому пиджаку и сказала:

– Красивый пиджак. Добро пожаловать домой.

После этого она пошла к «Манте».

Я пошел было за ней, но поймал себя на этом и остановился посереди двора, между коренастой девушкой в пальто от «Бёрберри» и гибким, как тростинка, созданием природы.

Я ждал, что Гвен крикнет: *«Who the hell are you?»*, и так крикнет, что шотландский выговор зазвенит на весь двор. Но одним из пунктов программы воспитания высокородных представителей высших классов являлся, видимо, план поведения в ситуациях, подобных этой. Не обращая никакого внимания на Ханне и не глядя сопернице в глаза, Гвен открыла багажник и достала свои чемоданы.

Однако не успела осесть пыль, поднятая «Мантой», как она поставила чемодан прямо на землю, села на него и спросила, глотая слезы:

– Кто это такая, к чертовой матери?

Она не сказала «*кто это была такая*» – она видела в Ханне силу, которая в полной мере сохраняется, – и выговорила это так тихо, так печально, что мне захотелось застрелить ее и застрелиться самому, чтобы покончить со всем этим.

– Ты что, держал ее про запас? – Гвен всхлипнула.

– Она сама сюда переехала, – сказал я, ковырнув ногой гравий.

– Надо же!

Я боялся подумать, что ждет нас в доме. Не валяются ли повсюду разбросанные шмотки и книги Ханне?

– И когда же вы расстались? – спросила Гвен. – Сейчас?

– Давным-давно. Это она себе вбила в голову. Я лишь просил ее присмотреть за хозяйством.

Я взглянул на картофельные поля. Хотел побежать туда, посмотреть, всё ли в порядке, или все-таки на картошке распространились сухая гниль

и парша.

– И когда же ты попросил ее убраться отсюда? – продолжила расспросы Гвен.

– Когда понял, что она собирается обустроиться здесь насовсем.

На летней жаре бревенчатые стены испускали слабый аромат дегтя.

– *You are bloody motherfucking asshole*[67]. И когда же это? Прямо перед нашим отъездом с Шетландских островов?

– Нет. Я сказал ей это, когда ты якобы поехала в Эдинбург. А оказалось, что ты тайком побывала в Леруике.

– Мне казалось, мы это уже обсудили. А скажи мне, когда вы трахались последний раз? Только честно.

Мне не хотелось отвечать. Я ругнулся. Снова ковырнул гравий.

– За несколько дней до моего отъезда на Шетландские острова. Но это было в первый раз за…

– Вот оно что, *теперь* понимаю! – закричала Гвен, вставая. – Это как бы мне наказание за то, что я втайне от тебя проникла на склад!

– Ну хватит уже! – сказал я, пытаясь схватить ее за руку.

– Скотина! – огрызнулась она, увернувшись. – Будь добр, окажи одну последнюю услугу. Отвези меня на станцию. И больше мы не увидимся.

– Я выбрал *тебя*, Гвен. Еще когда позвонил ей. Я *хочу* быть здесь с тобой.

– Ответь мне сейчас только на один вопрос. Если б ты приехал домой один и она бы встретила тебя так… в этом платье… наверняка без трусов и уже вся мокрая снизу… Тогда бы ты устоял?

– Она же не знала, что ты приедешь со мной, Гвен.

– Да отвечай же ты! К тому же ты говоришь, что она *не знала про меня*… Ты что, *совсем* жалкий трус?

– Просто…

Гвен зашвырнула чемодан в багажник.

– Дома только шлюхи так одеваются… Вот ведь черт! *Мне бы* такие сиськи! Спорим, ты себе ее представлял, когда мы с тобой спали вместе.

– Ну хватит, Гвен!

Девушка уперла руки в боки. Отошла подальше. Посмотрела вдаль, на поля, повернула лицо навстречу теплому ветру, несущему с собой запах свежескошенной травы.

– *Черт*, – тихо произнесла она. – В придачу ко всему я ей еще и завидую. Выставить всю себя напоказ и оставаться такой соблазнительной… И не надо прятать никаких красных прыщей на затылке…

– Вовсе она не выставляла себя.

– Ну, разумеется, мужики ведь такого не замечают. Мне-то бабушка не уставала повторять. *You don’t do hair, makeup, legs and cleavage at the same time. You just don’t*[68].

Она еще раз взглянула на бревенчатый дом, отвернулась и уселась в том единственном месте, которое здесь хоть как-то напоминало ей о доме. На пассажирском сиденье английского автомобиля.

Я зашел в дом. Все отмыто дочиста. Нигде ничего принадлежащего Ханне. Двуспальная кровать на втором этаже застелена шершавым серо-голубым льняным бельем. Возле телефона стоит фото моих родителей.

Затем я снова вышел. Гвен закрыла дверцу машины и смотрела прямо перед собой. По травке подошел и сел неподалеку от нас Грюббе. Пушистым хвостом этот кот лесной породы лениво пошлепывал по траве. Посмотрел на меня, но пойти мне навстречу тоже не захотел.

– Поехали, – сказал я и завел «Бристоль». – Сядешь на поезд до аэропорта. Я оплачу тебе билет до Абердина. Или до Лондона. Куда захочешь. Но сначала я прошу тебя об одной услуге.

– *Прости?..* Ты не заслуживаешь никакой услуги от меня.

– Просто пройти по центральной улице вместе со мной.

– Это еще зачем?

– Поймешь потом.

– Это где – в той деревеньке у реки? Чего это ради я соглашусь разгуливать там?

– Только от почты до магазина.

– Я тебе ничего не должна.

– Должна. Должна осознать, откуда я.

– Что, разве не отсюда?

Я притормозил. Заставил себя четко припомнить, что я рассказывал ей о своей жизни и как приукрасил ее. Затем дал задний ход, взял ее за руку и потащил через двор к сеновалу, где пылился дедушкин «Мерседес».

– Узнаешь его? – спросил я.

Гвен прижала палец к крышке багажника и, проведя им по цветочной пыльце, обнажила черный лак. Протерла окошко и заглянула внутрь.

– Это его машина? – уточнила она. – Я видела ее в Норвике, когда хоронили Эйнара.

Я кивнул.

– Никуда нам от этого не деться, Гвен. Ни тебе, ни мне. Он мне никогда не рассказывал ни что был на этих похоронах, ни что…

– *Эдуард*, – перебила она меня. – Все, ты меня достал уже всеми этими

россказнями. Вези меня к поезду.

– Подожди, – сказал я. – Ты же не знаешь, для чего я это рассказываю. Но ты ведь часть этого. Посмотри на дверцу. Этим летом на ней нарисовали свастику, потому что дедушка воевал на Восточном фронте за немцев. Пока я не познакомился с тобой, я был не таким, каким, может быть, тебе представляюсь. Я был нелюдимым. Мой мир кончался у этого забора. И так пока я не встретил тебя.

– А теперь, значит, меня надо таскать с собой в качестве трофея? Чтобы все сказали: «О, а он не такой, как мы думали!»?

– Это не ради меня, просто так будет лучше и для тебя. Без этого как бы не будет полноты картины.

Мы встали возле почты, и вскоре возле «Бристоля» остановились мальчишки на великах. Перегнувшись через рамы, они заговорили о том, во что это *встроен* спидометр.

Гвен резко захлопнула дверцу, затянула пояс пальто и перешла на другую сторону улицы, где остановилась между кооперативным магазином и галантереей, и вытащила сигарету «Крейвен А». Она зажгла ее, глядя на свои туфли, закурила привычным способом, подняв сигарету высоко над плечом в руке, не сжатой в кулак.

И вдруг насторожилась. Вздрогнула, быстро повернула голову.

Никакой «Манты» было не видать. Но на углу возле почты стояли, пялясь на нее, хафстадские парни. Пристроившись около доски спортивных объявлений, они вяло оглядывали Гвен и тихо переговаривались друг с другом. Мари Эверенг, вечно спешившая по делам, вдруг резко сбавила шаг.

Деревенские были верны себе.

Гвен не шевельнулась, и я ее не торопил – видел, что в ней копится упрямство.

– Это ничего, – сказал я, подойдя к ней. – Они просто хотят знать, кто ты такая.

– Как они могут увидеть, *кто я такая?*

– Не могут. Потому и пялятся.

– Но зачем им знать что-то обо всех?

– Да в общем, что такого в том, что они пялятся? Просто хотят быть в курсе того, что происходит вокруг. Я сам такой же. Тоже вечно на все пялюсь. Просто раньше я этого не замечал.

– Значит, ты раньше думал, что все на тебя пялятся?

– Да, – кивнул я. – Так я, наверное, и думал.

Что-то перевернулось в Гвен. Она двинулась к продуктовому магазину

Нурлиена, где голосующие за правую партию покупают бифштекс для воскресного обеда, а детям тех же голосующих за правую партию продают лакомства в долг, и в ее движениях читалась решимость.

Когда мы вошли, торговля замерла. Она взяла корзину и принялась укладывать в нее товар.

«И что теперь? – подумал я. – Может быть, она останется все-таки?»

Гвен сложила в корзину яйца, пакет цельного молока, кусочек копченой грудинки и банку черных оливок. Упаковку коулмановской, а не идунской горчицы. Бутылочку вустерского соуса – перед тем как положить ее в корзинку, Гвен осмотрелась с таким видом, будто вопрошала: «Ну и что такого, что я беру вустерский соус? Раз он здесь продается?»

А что же я?

Я-то собирался съездить в центр, чтобы почувствовать, что стал другим. Мне это даже понравилось сначала – прогуливаться по Саксюму с новой подругой, утверждаться в праве носить туфли от Лобба, покупать вустерский соус и ездить на «Бристоле». Но сейчас я чувствовал себя раздетым. Саксюм сказал то, чего не высказали ни кот, ни Ханне:

Добро пожаловать домой, но мы тебе не очень-то доверяем.

2

Она стояла босиком у окна, завернувшись в один из застиранных пододеяльников в мелкий цветочек, которыми мы пользовались с незапамятных времен. Я лежал в кровати с полузакрытыми глазами. Бог знает, что Гвен думала про этот пододеяльник. Ведь она в жизни не носила ничего, не сшитого на заказ.

Видеть ее спину здесь, возле пожелтевшей обшивки стен, возле моих фотографий природы… Это видение могло вдруг раствориться в воздухе, как неудачный снимок. Она была столь чужда окружающему, что я сомневался, действительно ли вижу ее, хотя она и стояла прямо передо мной, а ее тело излучало тепло. Но стоило мне закрыть глаза, и я уже не был уверен, что она здесь.

– Ладно, – сказала Гвен вчера в магазине. – Давай вернемся на хутор. Продолжай вечно бороться с какой-то там фигней, случившейся в незапамятные времена.

Я так и не понял, почему она передумала. У меня снова зародились сомнения. Может быть, она была готова вытерпеть унижение примитивностью в этом захолустье ради того, чтобы продолжить охоту за миллионами, коих стоили шестнадцать деревьев на Сомме…

Гвендолин всегда вставала рано, но я удивился тому, что она не поставила кипятить воду для чая. На Шетландских островах ее день начинался с этого. Может быть, потому, что в этой комнате находилась и Ханне. Загорелая тень ее вчерашней сидела на подоконнике, болтая голыми ногами.

Гвен почувствовала, что я проснулся, и обернулась. И мы поступили так же, как поступали в Хирифьелле всегда, лишь бы не касаться сложных проблем.

Мы плотно позавтракали, как можно меньше разговаривая.

Покурили на каменном крылечке, наблюдая, как обсыхает от росы трава.

Завели старый трактор «Дойтц» и поехали работать.

Но это давалось ей плохо. Она осторожничала, поднимая тяжести: раскорячивала ноги, чтобы ноша не коснулась ее и не запачкала одежды. Я привел ее на картофельное поле и показал, что надо делать, но Гвен за всю жизнь ни разу не притронулась к земле. Тем единственным, с чем она действительно умела управляться, кроме чайника и проигрывателя, был

«*Зетленд*». Здесь же она бестолково суетилась, не зная, за что взяться, и боясь попортить маникюр. Но в конце концов решилась попробовать.

Лемех взрыхлял землю, откидывая верхний слой, и на поверхности, словно драгоценные камни, появлялись мелкие плоды семенного картофеля. Однако Гвен собирала их пальцами, а не всей ладонью, осторожно складывала в ящик, и это занимало уйму времени, потому что она все время следила за тем, чтобы не запачкать одежду, и постоянно отряхивала руки от земли. Через пять минут, взглянув в зеркальце, я обнаружил, что она остановилась и озирается по сторонам.

Я слез со старого «Дойтца» и положил руку на его капот.

– Как ругаться по-норвежски? – спросила Гвен.

– Чего?

– Я спросила, как *ругаться* по-норвежски! – крикнула она.

– А…

– *Я серьезно.* Останови этот чертов трактор!

Кудахтанье дизельного мотора замерло.

– Как вы ругаетесь? *Damn* здесь не подходит. *Fuck тоже.*

Пара ворон покружила над нами и уселась на елку.

– Ну, *черт* – это как бы универсальное словечко, – ответил я.

– *Ш-э-э-эрт?*

– Ну. Не «Э», а «О». Ты произносишь, как врач-иностранец.

– *Черт!* А что еще? Давай еще!

– Вот попробуй: «к чертовой матери». «Елки-моталки». «Да катись все к чертовой бабушке».

Она схватила камень и бросила в меня.

– *Fuck, катись все к чертовой бабушке. ЧЕРТ! К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!*

– «Мать твою» тоже неплохо, – добавил я.

Гвен продолжала ругаться по-норвежски и неожиданно рванула на себе блузку. Пуговицы покатились в борозды на земле. Она скинула блузку и принялась ее топтать.

– *Черт! Комары! Чешется!* – закричала она и стала чесать руку испачканными в земле пальцами так истово, что кожа покраснела. А потом натянула на себя испорченную блузку и зашагала к дому.

Вороны снялись с ветки и улетели. Я принюхался к воздуху. Худшее, что могло сейчас случиться, – это если б пошел дождь. Может быть, Ингве согласится помочь мне выкопать остальную картошку? И еще одна мысль свербила у меня в мозгу. Если б я вернулся на хутор один, то картина, которая открылась бы мне утром, представляла бы собой длинный ряд

ящиков с картошкой и отдых под сливовым деревом в компании с Ханне Сульволл.

Картошка уродилась неплохая, хотя за ней неделями не ухаживали. Весна выдалась теплой, и картошка начинала прорастать на свету еще до того, как попадала в землю. Но, казалось, сама земля возмутилась, что хуторянин из Хирифьелля так рискует, и взяла все на себя.

Я пошел к дому. Когда был уже на полпути, увидел идущую навстречу незнакомую тетку. Она чапала в клетчатом переднике, платке и высоких резиновых сапогах – они были ей велики, и голенища хлопали по икрам.

Только когда между нами оставалось метров тридцать, я поверил, что это Гвен. Двадцать метров, пятнадцать… Вроде и она, и не она.

Она надела рабочую одежду Альмы.

Воспоминание стрелой пронеслось у меня в голове. Голос бабушки, внимательный взгляд исподтишка. Но это видение тут же исчезло, словно унесенное порывом ветра, – и вот уже это снова Гвен, в одежде, позволявшей ей нагибаться без того, чтобы где-то давило. Косметика смыта. По пути сюда она плакала, да и теперь все еще всхлипывала, погружая пальцы глубоко в землю и нащупывая картофелины, – в черной одежде, с черными пальцами, и на душе черно.

*** * ***

– Почему тут зола среди поля? – спросила она.

– Я тут кое-какую мебель сжег, – сказал я, помолчав. – А здесь – чтобы искры не долетали до домов.

Я продолжал возиться с картофелекопалкой. Обернулся, а Гвен нет. Положил на землю вилкообразный ключ и догнал ее, когда она уже ступила на тот мертвый участок, где землю покрывали обугленные головешки и зола. Зато картофельная ботва рядом поднималась куда выше, чем в других местах.

– А она здесь крупная выросла, – сказала Гвен.

– Зола – хорошее удобрение, – объяснил я.

Она выдернула кустик картофеля. Похлопала им по голенищу, отряхивая от земли. Здоровая, с сеточкой на розовой поверхности «Пимпернелька».

– Смотри, хорошая какая, – сказала Гвен. – Наберем на обед?

– Давай лучше на другом поле накопаем, – предложил я, повернувшись, чтобы уйти.

– Не-а, давай этой наберем, – возразила она, вытащив еще кустик. – Хочу эту. Я ее своими руками вытащила.

– Гвен, – сказал я, отерев ладони о брючину. – Я здесь не мебель сжег. Я сжег гроб.

Она так и стояла с картофельной ботвой в руке, пока я рассказывал о гробе из свилеватой березы и о дедушкиных похоронах номер два.

Долго молчала. Потом начала отделять картофелины от корней.

– Да уж, из тебя все клещами приходится вытягивать, – заявила Гвен.

«Из тебя тоже», – подумал я.

– В любом случае, – сказала девушка, – спасибо, что рассказал. Но я не передумала. Совсем наоборот. Я хочу поесть именно *этой* картошки.

Она собрала клубеньки в складку фартука, ступила в выгоревший круг и пошуровала ногой в угольках, оставшихся от сожженной березы. Словно Альма, танцующая на могиле у дедушки.

– Здесь что-то лежит, – сказала она.

Это было лезвие ножа. На черенке я увидел клейма, которые раньше были скрыты под рукоятью из свилеватой березы. Соскоблил сажу большим пальцем. Проступили цифры номера и свастика.

С чего я взял, что штык русский? Простое объяснение, удовлетворившее ребенка? Несколько слов, оброненных целую вечность тому назад?

Я узнал номер. Тот же самый, что на дедушкином бергмановском «Маузере», который я до сих пор прятал под флисовой изоляцией на чердаке. Штыки получали тот же серийный номер, что и ружья, – значит, этот обломанный штык был *его собственным*. Сам ли он сломался, во время войны или после нее, или дед сломал его в порыве гнева от увиденного?

Вопрос без ответа. Преображения без свидетелей.

Так, раз за разом, менялась наша история. Я ожидал найти правду, а находил только пепел от нее. И опять я один должен делать выводы на основе противоречивых свидетельств.

Мы всё работали. Гвен свалила усталость, она заснула с натруженными мускулами и проснулась голодной. Никогда ей не стать хуторянкой – это нам обоим было понятно, – но охвативший нас азарт превратил нас в шуструю бригаду.

Грузовик, присланный с винокурни в Странне, забрал в соответствии с договором несколько тонн посевного картофеля, рассортированного по огромным деревянным ящикам. Шофер одобрительно кивнул, отмечая хорошее качество продукции, произнес пару фраз соболезнования в связи

со смертью дедушки и удивленно покосился на Гвен.

Я следил, как грузовик протарахтел по скотной решетке и помигал фарами, сворачивая на областную дорогу. За еловым лесом рев мотора затих.

Тишина осени.

Уже скоро пора будет сгонять овец с гор. Потом придет зима, и я буду привязан к хутору. Поначалу мне не терпелось поскорее отправиться во Францию, но меня потихоньку соблазняла отрава неторопливых дней, а столярная мастерская Эйнара походила на надгробие, мимо которого я ходил не задумываясь. Хаф-Груни занял в моей памяти место, покинутое мною как будто много лет назад.

Хорошие это были деньки, потому что мы совсем не упоминали в разговорах ни грецкий орех, ни Квэркус-Холл.

Зато мы сгоняли на Звездочке к Саксюмскому морю. Тянули сеть, а солнце блестело на ячейках сети и на форели в коричневую крапинку. Гребла на нашей старой деревянной лодке Гвен, и уж *это* она умела, а я сворачивал головы рыбам, одной за другой. Она гребла и табанила лучше, чем мы с дедушкой, и я вспотел в своей фланелевой рубашке, снял ее и следующую сеть тянул уже в одной футболке, и поймал себя на том, что, когда выбираю снасти, встаю к ней боком, чтобы продемонстрировать ей мускулистые предплечья. Она гребла к устью реки, а я любовался ею. Она вела лодку по воде с той точностью, которая характерна для каллиграфии. Еще не было семи, и мне хотелось, чтобы мы появились на свет только вдвоем, начав с нуля, без всяких предысторий, без родных… Родились бы сами по себе.

3

Но так ведь не могло продолжаться. Как-то раз, когда мне нужно было в деревню за покупками, пришлось вернуться с полпути, потому что я забыл бумажник. Войдя на кухню, я услышал ее голос на втором этаже и неслышно поднялся по лестнице, остановившись на ступеньке, откуда я слышал дедушкины шаги в последний раз. И когда разобрал, что она разговаривает по телефону – как я понял, со своей матерью, – я осознал, что и наше с ней время подходит к концу.

– Здесь так тепло, так хорошо, – сказала Гвен, и из остального я понял, что она притворяется, будто уехала отдыхать и в скором времени собирается домой. Я тихонько спустился назад, и с этого момента Эйнар во мне больше меня не отпускал. Как и мысли о тех четырех днях. Я перерыл чердаки в поисках писем, которые он должен же был писать маме, но ничего не нашел. Сел, положив перед собой вещи с Хаф-Груни. Шахматную доску, дробовое ружье, платье. Газетные вырезки. В поисках новых связей между ними. Забрал с собой смотанную в кассету пленку «Орво NP20» в темную комнату. Включил красную лампу и стал рассматривать ее с помощью увеличителя.

Вот мы на площадке для отдыха. Я с игрушечной собачкой. Мама и Эйнар.

Я отпечатал все кадры на бумаге. Под плеск химикалий постепенно проступали изображения, контрасты закреплялись на бумаге. На фотографии, сделанной на площадке, стало возможно разглядеть лица. Я увидел, каким веселым был Эйнар, стоя там рядом с мамой.

На другой фотографии – мальчик, тот, кому предстоит вырасти и стать человеком, на которого умершие смогут положиться.

Потом я проявил свои собственные пленки с фотографиями, сделанными на Шетландских островах. Дедушкино лицо на первом кадре. Потом Хаф-Груни, немногочисленные кадры с Гвен. В конце – замысловатый мотив. Военная карта из Квэркус-Холла, измятая и затертая, намокшая под дождем и высохшая.

Я поднял корпус над увеличителем и сделал крупный снимок. Когда в ванночке с проявителем возникла карта леса Дэро и стало видно запруду на реке, у меня немного дрожали руки.

Снаружи послышались шаги.

– Ты где? – крикнула Гвен.

– Здесь, – ответил я.

– Можно войти?

– Нет, у меня тут светочувствительная бумага. Погоди немного, скоро закончу.

Я выключил красный свет. Перед глазами у меня по-прежнему была проекция военной карты, сохранившаяся на сетчатке. Я повесил фотографии сушиться, и единственный снимок, который я взял с собой оттуда, изображал Гвен, гребущую на «*Патне*».

– Хм, – сказала она и долго всматривалась в фотографию. – Я такая, значит?..

– Тогда была такой, во всяком случае.

– Совсем неплохо быть такой.

– Пошли со мной, – предложил я. – Я тебе кое-что покажу.

Гвен надела верхнюю одежду, и мы отправились в березовый лес. Накануне мы проходили по тем же местам, но теперь на веточках, торчащих из земли, повисла роса, и сотни паутинок засверкали на солнце.

– Видишь? – спросил я.

Гвен удивленно покачала головой.

– Вчера их не было, – сказала она. – Или… мы их вчера не видели.

– Нет.

– Это целый мир. Невидимый мир, который только сейчас открылся нам.

Она подошла к пеньку и присела перед ним. Осторожно дотронулась пальцем до паутины и спросила, повернувшись ко мне:

– Сфотографируешь ее?

– Нет. Мне это не нужно. Я и так не забуду.

*** * ***

Одно имя из газетных вырезок постоянно крутилось у меня в голове. Ж. Берле. Женщина из полиции, которая участвовала в расследовании 1971 года. Я представил себе, как приеду во Францию, пойду в отделение полиции, спрошу, где ее можно найти, поеду к ней домой, заглядывая в листочек бумаги, на котором будет записан адрес…

Нет, сказал я себе. Ничего хорошего из этого не выйдет, одна пустая трата времени и плутание по улицам на машине, плохой французский, бесконечные четырехполосные шоссе и настороженность собеседников. Лучше воспользоваться помощью старого союзника.

Я пошел в дом и снял телефонную трубку.

– Зарубежный отдел справочной Управления связи, чем могу помочь? – ответили мне.

– Мне нужно найти Регине Андерсон.

– Государство, адрес?

– Нет, не так, – сказал я. – Она сама работает в вашей справочной.

Чуть позже я записал длинный телефонный номер, который начинался с цифры 33. Принадлежал он некой Жослен Берле, которая, как сообщила шепотом Регина Андерсон, теперь живет в Перонне, недалеко от Отюя. В тот же вечер я поднялся в гостиную бревенчатого дома и поднял трубку.

– Меня зовут Эдуар Дэро, – сказал я по-французски. – Я звоню из Норвегии. Это касается полицейского расследования двадцатилетней давности. Поисковой операции, которая проводилась в тысяча девятьсот семьдесят первом году.

Жослен не отвечала. Мне было слышно, как она переложила трубку в другую руку. Я напомнил себе, что надо соблюдать этикет.

– Вы ведь та самая Берле, которая расследовала дело об исчезновении? – уточнил я.

– *Эдуар?* – спросила она вдруг. Голос ее звучал почти по-матерински.

– *Да,* – пробубнил я.

Надолго воцарилась тишина.

– В семьдесят первом… – начала она было, но оборвала фразу. – Нет. И вообще. Так не делается.

– Простите, пожалуйста, но нельзя ли мне встретиться с вами? – попросил я.

– Сожалею, – ответила она неожиданно резко. – Я больше не работаю в полиции. Я ушла со службы в семьдесят пятом году.

– Да, но…

– *Dites-moi, que désirez-vous savoir au juste?*

«Скажите, что вы желаете узнать?» – перевел я для себя на норвежский.

– Если я приеду во Францию, могли бы мы встретиться, чтобы вы рассказали мне обо всем? – спросил я.

– Дело не было раскрыто. Встреча с вами означала бы, что я не соблюдаю служебные инструкции.

Некоторое время я искал подходящие слова.

– *Peut-être pas. Mais acceptez-vous de me parler tout de même de cette affaire*[69], — заговорил я в надежде, что моя просьба не покажется слишком настойчивой и что француженка все-таки расскажет мне о деле, пусть и

нарушив правила.

Жослен Берле кашлянула.

– Когда вы думали приехать во Францию?

Вот оно, подумал я. Теперь все зависит от меня. Скажу, что еду, и придется ехать.

– Да скоро уже, – ответил я вслух. – А вы хорошо помните это дело?

– Помню? Я помню его, словно все произошло… ну, если не вчера, то, во всяком случае, на прошлой неделе.

4

Ранние заморозки.

По тонкому слою инея я шел через двор к пекарне, чтобы разжечь огонь в каменной печи в подвале. Тонкие осиновые полешки горели быстро и ярко. Сегодня предстоит напечь картофельных лепешек. Гвен нравилось жить такой очищенной от лишнего жизнью. Получать вознаграждение за все, сделанное своими руками. Немножко как на Ансте, где утомительные автобусные поездки в Леруик под проливным дождем вознаграждались новой пластинкой и вечерами в удобном кресле, со сладким чаем. Обозримые задачи, поощрение сразу же, и никто не следит за каждым твоим шагом с трибун.

Я вдруг испугался остаться в одиночестве, стоять перед ржавым противнем и думать о том удивительном времени, когда со мной тут кто-то был.

Я вышел в другую дверь, сбоку, и в нос мне ударил омерзительный запах. В этой комнате стояла большая морозильная камера, где мы хранили мясо. Я чуть приподнял крышку, и через маленькую щелку до меня донеслась такая тошнотворная вонь, что мне показалось, будто я *вижу* этот запах, исполненный гниения, тяжелый, как чад от подгоревшей пищи. В комнате было темно, и когда я повернул выключатель, ничего не изменилось. Должно быть, перегорели пробки.

Там, в этой вонище, мне и пришла в голову одна мысль.

Письма. Письма Эйнара к матери. В каком месте надежнее всего можно спрятать что-то здесь, на хуторе? Там, куда можно часто ходить, не вызывая подозрений. В морозильнике.

Я прикатил тележку и вытащил камеру наружу. Откинул крышку, чтобы выветрилась вонь.

Гвен подошла, неся кадушку теста для лепешек. Остановилась, потянув носом.

– Чем так воняет?

– Тухлым мясом.

Она стояла с кадушкой в руках и не двигалась с места.

– Теперь понимаю, что он имел в виду.

– Это ты о ком?

– О дедушке. Он рассказывал, что сотни солдат гибли, штурмуя окопы. Их трупы повисали на колючей проволоке и гнили на солнце. Он говорил,

что воняло, как от сломавшейся морозильной камеры. Но у нас морозильник никогда не ломался, и я не понимала, что он имеет в виду. А сейчас поняла.

– Ты еще хочешь печь лепешки? – спросил я. – Или бросим это дело?

Гвен посмотрела на меня.

– Хочу. Больше всего на свете я хочу печь лепешки. Только закрой эту крышку.

Я месил тесто, думая о том, как я сам спрятал бы письма. Может быть, сложил бы их в одну большущую пачку, замотал в пластик и крепко-накрепко завязал бечевкой, обложил бы их плоскими камнями, чтобы пачка казалась такой же тяжелой и твердой, как мороженое мясо. И пометил бы как «*Лосиное сердце 1967*» или что-то вроде того.

Позже в этот день, когда Гвен заявила, что никогда не ела ничего вкуснее картофельных лепешек с норвежским коричневым козьим сыром, я отправился к морозильнику.

Я взрезал пакеты, лежавшие сверху, но нашел только фарш из лосятины. Погрузил его на тачку и отвез к лесу, чтобы закопать. После трех заходов я добрался до дна. Лужица розоватой от крови воды в углу. Спертый воздух.

«Что за ерунда?» – сказал я себе. Дедушка повыкидывал бы все, что залежалось. Я нашел пакет с надписью на желто-коричневом скотче, сделанной мной. «*Кряква 1981*». Сорвал слои газетной бумаги – это был «Лиллехаммерский обозреватель» за 20 августа того года, в тот день открылся охотничий сезон. Я тогда впервые вышел к Лаугену с отцовским ружьем шестнадцатого калибра.

Писем в морозильнике не оказалось. Ну, конечно.

Мне ясно представилась такая сцена. Я стою, окутанный тошнотворным запахом гниения, и взрезаю конверты. Вода с кровью быстро просачивается в пакет, пропитывая бумагу, и я узнаю почерк Эйнара и тороплюсь, потому что буквы начинают расплываться. Слова пропадают на глазах, история жизни истекает смесью крови и чернил.

Но это была всего лишь фантазия.

Мне вдруг стало стыдно. Ведь я читал мамины письма. Разве я так мало узнал из них? Где она любила сидеть, читая письма от своего отца? Где в Хирифьелле она была ближе всего к нему, но в мире с остальными?

Ответ был прямо передо мной.

Я нашел письма от Эйнара среди материалов в столярной мастерской. Между досками, к которым ни Сверре, ни Альма ни за что не притронулись бы. Деревяшки, предназначенные стать индульгенцией несостоявшегося

наследника хутора, как бы говорили: приди и посмотри. Пусть я не умею работать на земле, зато умею работать стамеской, рубанком, лаком и льняным маслом.

Вот они, спрятанные от мышей, прочей живности и посторонних взглядов, плотно связанные и пересохшие, слегка обсыпанные опилками. Почти двадцать писем, в которых Эйнар поведал обо всем, что произошло в 1943 году и позже. Он писал на обеих сторонах листа по-французски, оставляя ровные поля. Вот так же письма Эйнара заполнили и обе стороны *моего* чистого листа, и теперь я узнал, на что отвечала мама.

Когда Эйнар появился на хуторе в 1967 году, она встретила его ненавистью. Может быть, подозревала, что во время войны он с самого начала планировал присвоить себе ореховые деревья. Кроме того, в письмах Эйнара, в тех мелких подробностях, о которых он выспрашивал, сквозило, что он пытается получить доказательства того, что мама – действительно тот человек, за кого себя выдает.

Я прочитал все письма. Я узнавал себя и в его манере излагать события, и в маминой. Поднялся на затекших ногах, оглядел старинные книги на шкафу. Ощущая уверенность, которой не были благословлены ни мама, ни Эйнар.

Эйнар был моим дедушкой.

Я подержал в руках столярные инструменты, взглянул на ровный почерк Эйнара. И как будто увидел его прямо перед собой, ощутил неразрывную связь с 1943 годом.

5

Когда Эйнар приехал в Отюй, мой прадед не пожелал иметь с ним дела. Эйнар рассказал Эдуару Дэро о своем поручении и о саперной карте и передал ему конверт от Уинтерфинча с окончательным расчетом за древесину.

Эдуар велел ему убираться.

– Денег сколько договорено, – сказал он. – Но деньги сейчас ничего не значат. *Настоящей* оплатой было бы разминирование леса. А он вместо этого создал там минное поле. Не будет древесины, помощи больше неоткуда будет ждать. Уноси ноги, пока немцы не увидели твоих документов. Деньги оставь себе. Мне не нужен в лесу дурак под чужим именем.

Эйнар понемногу прозрел. Понял всю бессмысленность поручения. Пробираясь по стране, он постоянно наталкивался на немецкие патрули, видел, как истощено население, но близко с *последствиями* войны не сталкивался. Только теперь он понял, насколько обожаемая им Франция разорена и погружена в мрачный садизм.

Эйнар забрал конверт и отправился восвояси, размышляя о том, как же плохо он представлял себе действительность. Побег на Шетландские острова объяснялся беспокойством о брате. Он так и писал: «*Я знал, что раз я уеду из Хирифьелля, Сверре не отправится больше воевать. Я никогда не собирался сражаться на стороне союзников, просто мне надо было уехать, а когда я слышал слово “немец”, сразу представлял себе Сверре в форме*».

Оставшись лишним на строительстве лодок, Эйнар встретил Уинтерфинча, первого за много лет человека, с которым он смог со знанием дела обсуждать тонкости столярного дела. Эйнар изготовил кое-какую мебель для Квэркус-Холла, а после того, как он соорудил кресло с деталями из черного дерева, Уинтерфинч стал обращаться к нему по имени. «*И вот однажды вечером он рассказал о партии древесины грецкого ореха, которая была дорога ему не из-за ее денежной стоимости*».

Уинтерфинч горько сожалел, что не срубил деревья до начала войны. С 1941 года он все сильнее беспокоился из-за сообщений о продвижении немцев в глубь территории страны и о том, что они явочным порядком вырубали леса для возведения крупных оборонительных сооружений у Атлантического побережья. С Эйнаром он договорился, что тот срубит

деревья, спрячет древесину там, где сочтет нужным, и будет ожидать дальнейших указаний.

Попав же в Отюй и увидев, что там происходит, Эйнар отказался от этих планов. Жизнь потеряла смысл, солдат из него получился бы никудышный, а то единственное, что он умел – создавать изысканную мебель, – во время войны никому не было нужно.

Но он не успел уйти далеко, как услышал позади себя похрустывание гравия. Это ехала на велосипеде худенькая девушка. На ней была заношенная рабочая одежда, под платком – иссиня-черные кудрявые волосы. Движения порывистые. Кожа да кости, как и у многих в то время, но гордость во взгляде. Дочь фермера, Изабель Дэро. Эйнар видел ее в доме Эдуара во время разговора с ним.

– Ты хороший француз? – был первый ее вопрос.

Он чуть не выдал себя. Собирался уже сказать, что француз из него настолько хороший, насколько может им стать норвежец, но просто кивнул.

– У тебя есть карта саперов?

Эйнар опасливо осмотрелся.

– Говорят, участникам Сопротивления не хватает взрывчатки, – сказала девушка. – А снаряды шестнадцатого года целехоньки.

– Они же смертельно опасны, – возразил Эйнар.

– Вот поэтому они *кое-кому* и нужны, – заявила Изабель.

– Это ты сейчас придумала?

– Нет. Пока ехала сюда на велосипеде.

– Тут ехать-то всего ничего.

– А я быстро соображаю.

– И что думает твой отец?

– А он соображает медленно, – сказала Дэро и отвела Эйнара в сторону от дороги. Он разрезал подкладку куртки и показал ей карту саперов, которая прижималась к его спине весь долгий путь, проделанный им под именем Оскара Рибо.

– Хуже всего, когда слышишь выстрел, – сказала она. – Один. Позавчера они застрелили мою учительницу. Закопали булочника живьем в землю, потому что он был участником Сопротивления. Не успеем мы собрать урожай, как его конфискуют. Мы кормим солдат, которые стреляют в наших соотечественников.

Потом она спросила Эйнара, обратил ли он внимание на девочку, возившуюся на ферме возле курятника.

– Это моя сестра, – сообщила Изабель. – Как думаешь, сколько ей лет?

Эйнар покачал головой.

– Двенадцать?

– Ей пятнадцать, – сказала она. – Она не растет, потому что мы голодаем. Хотя у нас и своя ферма.

*** * ***

Изабель уговорила отца позволить Эйнару остаться у них взамен на то, что он отдаст им деньги на свою поездку и станет помогать по хозяйству. Позже, сверяясь с картой, они осторожно проникли в лес. Земля все еще была изрыта кратерами от попаданий снарядов. Кое-где среди обугленных, надломленных стволов проклюнулись молодые деревца, в других же местах вообще ничего не росло. Они увидели тут и там спрятанные в кустах и увядшей траве ржавые артиллерийские снаряды, уложенные специально для защиты от браконьерской вырубки.

Внутри этого заграждения, созданного пожарами и разрушениями, стояли ореховые деревья. Изуродованные, изрытые шрамами, на земле, взрыхленной саперными лопатками. Стволы были такими огромными, что их нельзя было обхватить руками. На них проросли хилые веточки, похожие на покалеченные ручонки младенцев, но листья на этих веточках были желтыми и вялыми. В тишине от земли поднимался странный запах неживой природы.

Изабель никогда раньше не бывала в этом лесу и разделяла с родителями презрительное отношение к расплывчатым планам Уинтерфинча разминировать его. До войны лес представлял собой ценность, не только как строительный материал и топливо, но и, конечно, как источник богатых урожаев жирных грецких орехов. Эти древние деревья пережили и Наполеоновские войны, и революции, но обстрел газовыми снарядами погубил их.

Эйнар застыл на месте. Он представил себе, как тут было до войны: просторный участок, на котором зеленая листва одного непотревоженного дерева едва касалась листвы другого. Ему вспомнился собственный лес в Хирифьелле, с той разницей, что дома он *сам* специально травмировал деревья. А потом вдруг сообразил, чего не хватает в этом лесу. Пения птиц. Стояла полная тишина.

Немцы, видимо, предусмотрели возможность того, что кто-нибудь попытается таким образом добыть взрывчатку. Дороги вокруг запретного леса патрулировались, но лес Дэро располагался на склонах реки Анкр, и с помощью карты они ухитрялись незаметно пробираться сквозь заросли,

проникая к ореховым деревьям по безопасным тропкам. А там уже все было готово. Саперы сложили снаряды на запретной территории высокими пирамидами и даже удалили детонаторы.

Они разбирали снаряды, высыпали взрывчатку и потихоньку складывали ее возле запруды, образованной маленьким мысом в русле реки. Вокруг него, если верить карте, оставалось множество газовых снарядов. Эйнар не знал, как взрывчатку переправляют дальше, но на следующий день она всегда отсутствовала.

В лесу они постоянно натыкались на железяки, оставленные прошлой войной. Жестяные миски, шлемы, гильзы от патронов, военные сапоги с остатками костей внутри… Они старались не задумываться о том, что это место представляет собой массовое захоронение. Но в Эйнаре, приехавшем с безлесных Шетландских островов, не мог не проснуться столяр, когда он оказался среди деревьев. Однажды, когда был один, он вырыл яму вокруг корней дерева и обрубил их топором. И только когда дерево покачнулось, он сообразил, что падение может вызвать взрыв, и бросился плашмя на землю. Земля задрожала, но взрыва не последовало.

Крупнозубой пилой он выпилил из ствола плашку и смочил ее водой. Тотчас же на поверхности заиграли невероятной красоты краски. На красно-оранжевом мерцающем фоне проступили четкие черные очертания. Благодаря участию в закупках материала для мастерской Рульмана Эйнар разбирался в сортах древесины грецкого ореха, и ему не потребовалось и нескольких секунд, чтобы подсчитать в уме, что это дерево – в мирное время – стоит колоссальных денег.

Изабель пришла в ярость. Заниматься этим вместо того, чтобы собирать снаряды?

Однажды ночью она пришла к нему, пряча что-то за спиной. Это был старый могильный крест с облезшей краской, нижний конец которого все еще был темным от влаги.

– Тебе не надо знать, откуда он, – сказала она, положив крест на пол. – Сделай только еще два, и чтобы они выглядели такими же старыми. И вырежь на них вот эти имена. – Она протянула Эйнару листок бумаги.

Имена на нем были еврейские. Годы смерти – 1938-й и 1939-й.

– Евреи не ставят крестов, – сказал Эйнар.

– Делай, что говорю, – велела Изабель. – Докажи, что ты *на самом деле* краснодеревщик.

При свете стеариновой свечи он взял две старые дощечки, вставил в пазы поперечины, вырезал стамеской имена, выкрасил буквы белой краской, а потом намазал кресты землей и отработанным маслом, чтобы

было похоже на древесную гниль и пятна плесени. Под покровом ночи они вышли из дома. Дэро то и дело брала его за руку, чтобы провести потайными тропками среди полей. Где-то рядом шла ночная бомбежка – пробираясь на кладбище, они слышали взрывы совсем рядом. Добравшись до места, они вытащили из земли два креста, установили вместо них поддельные и примяли землю вокруг.

Когда они прокрались назад на ферму, Изабель рассказала, что немцы схватили семью евреев. Но у оккупантов были сведения только о двух последних поколениях семьи, поэтому на поддельных крестах вырезали имена бабушки и дедушки ныне живущих представителей семейства. На следующий день священник собирался отвести немцев на кладбище и показать им эти кресты в доказательство того, что в этой семье хоронят родных по христианскому обычаю.

*** * ***

Об этом эпизоде Эйнар написал, что мама может сама проверить его истинность. «*Ты можешь сама обратиться к этим людям, и они подтвердят мою историю*», – писал он, указав также адрес человека по фамилии Станишевский. Когда он в письме приблизился к описанию обстоятельств ареста, почерк у него стал неровным, и внезапно я прочел предложение, от которого по спине у меня побежали мурашки.

«У Изабель было сшитое до войны нарядное синее платье. За несколько дней до прихода немцев она оделась в него, и с тех пор ее образ в этом платье является мне каждую ночь».

Когда схватили семью Дэро, Эйнар скрылся не сразу. Несмотря на то, что другие участники Сопротивления подозревали его в том, что это он их выдал, Эйнар совершил безрассудный поступок: наведался на ферму Дэро, чтобы взять себе что-нибудь на память об Изабель. Все хозяйственные постройки были сожжены – обычная практика у гестаповцев, чтобы выкурить прячущихся там детей. В жилом доме все было разрушено, в луже крови лежала их собака. На конюшне Эйнар нашел синее летнее платье, затоптанное в грязную солому.

«Я взял его с собой на память и в качестве доказательства того, – писал он, *– что я никого не предавал. Но я был в смертельной опасности, и мне пришлось бежать. Недалеко оттуда жил один мой друг, умелый столяр, вместе с которым я работал в мастерской Рульмана в Париже. Его имя Шарль Бонсержан. Он вырос в семье рыбаков в сутках езды*

оттуда, а когда пришла война, как и я, сбежал домой».

Эйнар скрывался у Бонсержана до высадки союзников в Нормандии. Он узнал, что Изабель сидит в Равенсбрюке, и когда восстановилась телефонная связь, позвонил Уинтерфинчу и попросил у него денег на взятки и разъезды, чтобы съездить за ней и привезти домой, как только падет Берлин.

Уинтерфинч отказал ему. Спросил только, где же «его древесина».

Вот тогда-то Эйнар и взял грецкий орех в заложники. Вместе с Шарлем Бонсержаном он съездил в Отюй, и они срубили остававшиеся деревья и выкорчевали корни. Затем перевезли всё в надежный тайник. Эйнар считал грецкий орех собственностью семьи Дэро и все позднейшие указания Уинтерфинча игнорировал. Единственным человеком, который мог установить цену на это дерево, говорил он, является Изабель – или, как он стал говорить позже, ребенок Изабель.

*** * ***

В последующих письмах Эйнар раз за разом упоминал, что «наследство» находится в том же месте. Где это место, он не писал, «*по причинам, хорошо известным нам обоим. Здесь, на Шетландских островах, у людей ушки на макушке»*. Но, похоже, место это было во Франции.

Мама приезжала к нему на Хаф-Груни. Наверное, там он и отдал ей платье Изабель, потому что в одном письме написал, «*как приятно видеть, что оно вновь наполнено жизнью»*.

Эйнар настаивал на том, что наследство принадлежит маме и что он поможет ей с оформлением прав на него. Но в первые годы после моего рождения она не дала ему окончательного ответа, и только прочитав самое последнее письмо от него, написанное летом 1971 года, я увидел его план изложенным черным по белому.

«*Я встретился с господином Уинтерфинчем. До этого мы с ним очень долго не разговаривали. Время от времени случайно встречались и обменивались ненавидящими взглядами, должен я сказать. Ведь все эти годы он пытался отыскать твое наследство, он даже приобрел летний домик под Отюем. Конечно, мне бывало жаль его, особенно когда я видел его в Анste с внучкой, маленькой девочкой. Но ведь он собирался неправомерно присвоить себе эти ценности, хоть я и признаю, что отчасти он имел на них право. Однажды он так выразился: “Зачем*

очищать лес от снарядов, если той семьи больше не существует?" Я сказал, что теперь, когда, наконец, появилась наследница, достойным решением было бы отдать деньги ей, чтобы она могла выкупить семейную ферму. "Она мошенница", – сказал он. Уф, какая же каша заварилась из-за поступков, которые не стоило совершать! Твою мать не вернешь. Но теперь мы можем наконец разобраться с этим делом, и тогда я уеду отсюда. Предоставляю тебе, Николь, решить, что ты собираешься делать.

Уинтерфинч бывает на Сомме в сентябре каждого года. Ближайшая гостиница находится в соседнем городке, Альбере. Не могу сейчас вспомнить ее название, что-то такое с базиликой. Я останавливаюсь в дешевом пансионе подальше оттуда, жить возле Отюя свыше моих сил. Кстати, у них неплохой ресторан. Вам бы пообедать с Уинтерфинчем, выслушать его историю и решить, какую цену вы сочтете справедливой. Да, это целое состояние, дорогое состояние. Однако делай как знаешь. Если договоритесь, ты или можешь рассказать ему, где находится дерево, или сказать мне, как я ему должен его доставить. Не забудь, он сложный человек, с перепадами настроения. Постоянно меняет свои решения.

Послушай, давай обсудим подробности по телефону. Хорошо, что Сверре готов одолжить вам машину. Но привет ему не передавай.

И вот что еще. Если вы захотите побыть с ним одни, я подумал: может быть, я посижу с малышом Эдвардом? Я никогда детей не нянчил, но в нашу последнюю встречу многое узнал о нем. Я выстрогал для него из букового дерева игрушечную собачку. Она может шевелить ушками и вилять хвостом. Я сделал ее и задумался. Я уж столько лет столярничаю, а это первая игрушка, изготовленная мною.

Всего тебе хорошего, привет Вальтеру. Да, и позвони мне, пожалуйста. В телефонную будку у паромной пристани. Как обычно, в воскресенье. В шесть часов, тоже как обычно. А я буду ждать. Как обычно.

Э. Х».

6

Гвен сидела на крылечке амбара с Грюббе на коленях. Он лежал на спинке и нежился, а она пальцами почесывала ему животик.

– Как хорошо от него пахнет, – сказала она, ткнувшись носом в пушистый мех. – Особенно здесь, где у него мех немножко засалился.

– Это где он не достает, чтобы умыться.

– М-м-м… Чудо. У меня никогда не было дома животных. Даже собаки. Хотя места было полно.

Я подсел к ней на каменное крылечко.

С каждым днем холодало.

– Осень уже, – продолжила Гвен. – Когда загоним овец с гор?

Я ответил не сразу.

И наверное, она уже слишком хорошо меня изучила, узнала взгляд, предвещавший тяжелый разговор.

Все тот же вопрос.

Зачем раскапывать могилу, когда на ней расцвели цветы?

– *Ну, хорошо,* – сказала девушка. – Я же знала, что этот день наступит. Хочешь во Францию, да?

– Это так по мне заметно?

– По тому, как ты медлишь. По твоей походке. Когда мы разговариваем, ты думаешь о своем. Не слышишь половины из того, что я говорю.

Грюббе, наверное, почувствовал, что она нервничает. Он оттолкнулся задними лапами и соскочил с ее колен.

– Ты хочешь поехать туда сейчас, – сказала Гвен, сняв клочок шерсти с воротника. – Потому что, когда овцы снова спустятся с гор, ты уже не сможешь. Что, не так?

– Я нашел письма, – рассказал я. – Переписку мамы с Эйнаром. На французском. Хочешь, почитай.

– Что интересного может быть для меня в их письмах?

– Из них понятно, что они поехали во Францию в семьдесят первом году, чтобы встретиться с твоим дедушкой.

Гвендолин поднялась. Отошла на пару шагов.

– Так, так… Ясно. Если мы поедем во Францию вместе, то между нами все кончено.

Она что-то знает, сказал я себе. Ищет повод, чтобы оправдать

изменение поведения.

– Это почему? – спросил я.

Гвен подняла прутик и бросила его в крапиву.

– Ты что, дурак? Ведь совершенно ясно, что дедушка имел какое-то отношение к тому несчастному случаю, разве нет? И уж приятной неожиданностью это точно не окажется.

Я хотел было сказать, что знаю про их летний дом. Но сказал только:

– Так ты никогда не бывала в Отюе?

– Я? Нет, никогда.

Я пожал плечами. Гвен вспылила.

– Что ты хочешь доказать? Я же говорила, мы каждое лето отдыхали в Европе, разъезжая на «Бентли» и останавливаясь в гостиницах. Но мы всегда ехали прямо в Дувр, оттуда в Кале и потом в Париж. И когда мы проезжали съезды к Сомме, дедушка даже увеличивал скорость.

– Надо же!

– Хочешь сказать, что я вру? Тогда решай уж, Эдуард. Хочешь ты, чтобы я поехала с тобой, или нет. Ты же мне не доверяешь. Ты думаешь, что я что-то знаю о твоем исчезновении.

– Ну так и что, знаешь?

– *Сказала же, нет!* Да и не хочу знать.

Мне пришло в голову, что Ханне в начале лета говорила примерно то же самое.

Именно здесь, где мы сейчас сидим.

И что я оставил ее, в сущности, по этой причине.

7

Через несколько дней мы пересекли границу Франции. Не очень-то веселая это была поездка. Казалось, на заднем сиденье молча сидят, прислушиваясь к тому, что мы говорим, два чужих человека, и эти чужаки и есть мы.

Потертые кожаные чемоданы Гвен, упакованные, как для поездки на работу, заняли много места. «Бристоль» посетил с двухдневным визитом автостанцию в соседнем поселке, где его встретили, как старого друга, смазали, отладили и снабдили новыми покрышками вместо потрескавшихся данлоповских, на которых ездил еще Эйнар.

Мы помчались на юг, паромом перебрались в Бельгию и остановились там в отеле. Настораживающие интонации в бристолевском двигателе затихли, и от этого еще явственнее слышались настораживающие интонации в *наших* разговорах.

«Лейки» в моем багаже не было. В чемодане я спрятал только старые фото 1971 года и копию военной карты. Может быть, и Гвен припрятала нечто подобное. Например, ключ от летнего дома.

Мы спали друг с другом каждую ночь, каждое утро болтали, как раньше, но при малейших разногласиях в разговорах зазвучали обидные словечки.

Во второй половине дня мы добрались до места. До холмистых окрестностей Соммы. Дорога шла вдоль бесконечных полей с натянутыми меж опорами высоковольтной линии проводами. Пейзаж, навевающий забвение, не привлекающий внимания. Во всех направлениях одно и то же: жаркое, пыльное марево, в котором памяти не за что зацепиться.

В автомобильном громкоговорителе оживленно балагурили ведущие французской радиостанции. Они тараторили так быстро, что я не успевал понять, о чем речь. А Гвен посмеивалась над их шутками и подпевала самодовольной поп-музыке, хотя сама же назвала ее гадкой.

Болтовня по радио вселила в меня неуверенность. Я был на пути к собственному фамильному имени. На пути к родине мамы. Я внутренне предвкушал, как у меня возникнет ощущение своей принадлежности к этому месту, ожидал, что почувствую себя дома. Мы остановились у торговой палатки, но кураж, пришедший ко мне в разговоре с Жослен Берле, покинул меня, и я начал запинаться. Теперь, когда я оказался на земле Франции, мое произношение звучало не так, как надо.

Я взял себя в руки и купил «Голуаз». Синюю пачку с изображением галльского шлема. Французы укладывают в пачку не по двадцать, а по девятнадцать сигарет, так что они расположены в три ряда, где каждая сигаретка покоится в углублении между сигаретами предыдущего ряда. Меня это впечатлило.

Давай, кури, Эдуар Дэро, сказал я себе.

Мы проехали еще несколько миль. Гвен опустила мишленовскую карту на колени и сказала:

– Следующий поворот направо.

И тут все закрутилось всерьез. На дорожном щите была надпись «Альбер» – название городишки недалеко от Отюя. Мы не бронировали отеля, у нас не было никакого определенного плана. Сквозь дымку светило осеннее солнце, вокруг расстилались плоские поля, у горизонта муравьями ползали тракторы.

Дальше началась война. Не та война, что была у Эйнара и Изабель, – война Дункана Уинтерфинча. Мы миновали маленькое кладбище с белыми надгробиями. Они были установлены симметрично, вплотную одно к другому, как взвод солдат на построении. Так я и сказал Гвен.

– Они и *есть* солдаты, – тихо ответила она.

Дальше мы увидели еще одно захоронение, потом еще. За нами никто не ехал, и на возвышении я притормозил. Оттуда мы увидели сразу четыре обширных кладбища.

Мне как будто послышались отзвуки войны из моей собственной истории. Мы приблизились к линии фронта, к тому месту, где я пропал, к готовому взорваться газовому снаряду, к запруде, в которой утонули мои родители. «Бристоль» жужжал негромко и доверчиво, готовый везти меня туда. Но я не был готов к этому, мне нужно было спрятать в чем-нибудь собственную предысторию. Остановившись возле одного из кладбищ, я сказал, что хочу осмотреть его.

Пара сотен надгробий. Прошло столько лет, а их все еще навещали. Во многих местах в букеты были воткнуты записки. Я присел на корточки, разглядывая одну из них, ламинированную в пластик. Она была написана недавно, внучкой рядового, погибшего 1 июля 1916 года. Она писала солдату, что его вдова больше не вышла замуж. «*She missed you terribly, never remarried and took great delight in bringing up her only child*»[70].

Гвен сидела в машине, глядя прямо перед собой. Я немного поплутал по кладбищу, повернул было назад, но увидел еще одно захоронение в паре сотен метров оттуда. Оно было вдвое больше первого. Почти все погребенные там были убиты 1 июля, в первый день битвы.

Мы поехали дальше. Молчание становилось неприятным, и чтобы избежать его, я остановился возле кладбища на окраине Альбера и снова пошел один к железным воротам.

Все поплыло перед моими глазами. Так бывает, если подойти к высокой башне и посмотреть наверх. Или если плыть на пароме и посмотреть вниз. Кресты тянулись до самого горизонта. Имена французские. Я прошел до конца, пытаясь прикинуть число похороненных. Насчитал три тысячи. Обернулся и увидел, что на всех крестах по два имени. Теперь ко мне были обращены три тысячи новых имен. Французские могилы не были украшены. Половина текущей во мне крови происходит от народа, который не любит ворошить прошлое, сказал я себе. Это британцы приходят на могилы, это британцы отказываются забыть.

– Совсем нет цветов, – сказал я Гвен. – Так странно…

Я завел машину, и мы поехали. Моя спутница продолжала молчать.

– После той войны девятьсот тридцать гектаров земли во Франции было занято военными кладбищами, – сказала она через некоторое время. – Мы на все будем заходить?

И тут, словно нас принесло туда течением, показался щит с надписью «Отюй».

– Ты проехал мимо? – бесстрастно спросила Гвен.

– Да, – сказал я. – Слишком… тяжело. Даже захотелось повернуть домой.

– Смотри, – сказала она, кивнув на самую высокую точку на местности, на вершине пологого склона.

Там возвышался какой-то чужеродный колосс, цвет которого в дымке было не определить. Огромная арка, не гармонирующая с окружающим ее пейзажем, словно кричащая поверх холмов.

– Тьепваль, – сказала Гвен. – Памятник не вернувшимся с войны.

Я посмотрел на нее.

– Прекрати! – прошипела она. – Я *не была* здесь. Просто хорошо учила историю.

– Успокойся. О Тьепвале рассказывал оружейник. Я просто хотел сказать, что арка несуразно огромная.

– А знаешь, *почему*?

Поставив машину на нейтралку, я подчеркнуто четко произнес:

– Нет, не знаю.

– Чтобы на ней уместились все имена. Они высечены на колоннах. Семьдесят три тысячи солдат. Которые пропали без вести или которых не сумели опознать. Именно здесь ты найдешь солдат дедушкиной роты. И

нет, я туда не хочу.

Сзади подкатил автобус с туристами. Я отъехал к придорожной канаве, чтобы пропустить его. Выжидательно посмотрел на Гвендолин, но она больше ничего не сказала.

Мы двинулись дальше, постепенно спускались ближе к реке, доехали до обзорной площадки и вышли. На склоне под нами желтел в дымке осенний лес.

Вот я и на месте. Раньше я много раз представлял себе Анкр – как он свободно течет по руслу из округлых камней, среди темного непроходимого леса, заросшего у земли кустами, заваленного сухостоем. Огромного, раскинувшегося на километры. Но в действительности я увидел широкое болото; сама же река оказалась просто полноводным ручьем. Деревья росли небольшими рощицами. Дно долины покрывали мириады стоячих прудов и канав с серо-коричневой водой. И мне открылось, как та война приобрела такой характер. Ведь сотни тысяч людей сражались на открытой местности: ни гор, ни утесов, любые передвижения заметны издали.

Вряд ли трудно будет найти лес Дэро. Улучить момент, достать военную карту Уинтерфинча и сверить ее с местностью. Найти их пулеметные позиции рядом с ореховыми деревьями. Вряд ли это далеко от Спейсайд-авеню, линии снабжения, где он и был найден с оторванной рукой.

Гвен, наконец, вышла из машины. Облокотилась о капот и поднесла руки к радиатору, под струю теплого воздуха.

– Узнаешь эти места? – спросила она.

Я покачал головой.

– Совсем не узнаю. Но где-то там внизу есть лес, – сказал я, показывая на склон.

– Интересно, где же ферма?

Я огляделся. Раньше я думал, что она расположена возле рощи, но дно долины было заболочено и непригодно для обработки. Тут и там стояли дома-фургоны, и я не мог взять в толк, чем можно заниматься на этой пропитанной водой земле.

– Да кто его знает… – сказал я. – Должно быть, выше по склону, где лучше земля.

На Гвен была голубая рубашка с короткими рукавами. На запястье у нее тикали дедушкины часы.

– А *ты* хочешь увидеть лес? – спросил я. – В котором он потерял руку?

Она поправила одежду.

– Да. Я решила, что сделаю это. Все равно же мы увидим его только на расстоянии.

Молчание меня выдало. Для меня единственно честным было бы пережить все заново, каждый наш шаг, в те же часы, и посмотреть, что из этого выйдет.

– Ты что, собираешься *зайти* в лес? – удивилась Гвен.

– Пока не знаю. Но мне нужно попасть туда рано утром. В то время, когда все и произошло.

– В лес ты не пойдешь, – заявила она. – Или я уеду домой.

Я оглядел окрестности. Надеялся, что почувствую дрожь в коленях, переживу серию дежавю, и тогда события 1971 года оживут и найдут во мне отклик. Но единственным живым человеком здесь была Гвен, и я понял, что распутье, у которого я стою, более судьбоносно, чем я предполагал.

– Поехали, – сказал я.

Совсем скоро перед нами возник новый указатель, а на нем – название, словно злой дух отравлявшее мою жизнь.

Отюй.

– Ну, надо так надо, – решил я. – Идем пешком.

Мы оставили «Бристоль» возле военного кладбища и пошли в сторону жилья. Мимо с ветерком пронесся «Рено 4» – так, что затрепетали обшлага моего пиджака. Где-то тявкали собаки. Отюй я себе тоже пытался представить, и мне виделся оживленный городок с бельем, сохнущем на веревках, и выглядывающими из окон жителями. А оказалось, что это пустынная деревня без единого магазинчика – одни пыльные домишки из кирпича цвета ржавчины и старые автомобили-мини. На въезде двое мальчишек играли в футбол. Мы прошли мимо женщины, пропалывавшей грядки на огороде, – она не обратила на нас никакого внимания.

Гвен взяла меня за руку. Сжала ее некрепко, но, казалось, каждый ее нерв перетек из ее руки в мою. Однако ток шел только в одном направлении. От меня к ней не передавалось ничего, и я презирал собственную подозрительность: она-то вцепилась мне в руку, словно мы с ней шли к церковному алтарю.

Потом девушка выпустила мою руку, и мы вдруг оказались за пределами Отюя. Перед нами открылась новая бесконечность земельных участков. Мы вернулись на кладбище, разыскивая фамилию Дэро на надгробиях, но ничего не нашли. Получалось, что мамина с Эйнаром история была неправдой.

Но это правда. *Я* был в этом уверен.

– Пойдем туда? – предложила Гвен, свернув на дорожку, которая круто спускалась вниз. – Кажется, река протекает там.

Мы так и сделали. И вдруг передо мной предстал другой Отюй. Отюй моих воспоминаний. Метрах в ста перед нами возникло здание, показавшееся мне знакомым. «*Оберж де ля Валле д'Анкр*». Нарядный ресторанчик из красно-коричневого кирпича с белыми поперечными полосами в кладке.

Туман в памяти рассеивался.

– Ты чего остановился? – спросила Гвен.

– Это здесь.

Ощущение, которого я так ждал, витало где-то рядом. Словно что-то потустороннее зашевелилось, проснувшись, и искало способа проявить себя.

– Что «здесь»? – не поняла моя спутница.

– Я здесь был.

– Серьезно? *Ты вспомнил?*

Перед моим мысленным взором промелькнуло несколько картин. Руки отца подхватывают меня под мышки и поднимают в воздух; произнося какие-то слова, подходит мама. Они с восторгом обсуждают что-то, повторяя все время одно и то же слово.

Внезапно в моей памяти ясно и четко зазвучал голос отца.

– Окунь, – сказал я.

– Что?

– *Окунь*. Отец и мать говорили что-то про окуня.

Гвен двинулась дальше вниз.

– Постой, – сказал я. Еще одно воспоминание, нечеткое, странное, пыталось пробиться на поверхность. – Коричневое, белое… – пробормотал я. – Буквы, что ли?

Ресторан был еще далеко.

– Если ты сейчас окажешься прав, – сказала девушка, – то это не воображение.

Застыв словно в трансе, я разглядывал кирпичное здание впереди. Траву у его стен. Винтовую лестницу.

– Окунь, коричневое и белое? – переспросила Гвен.

– Да, – сказал я. И это «*да» прозвучало так*, как если б мы стояли перед алтарем.

Мы бросились бегом.

– Посмотри-ка, – сказала она. – Вот, на стене. Меню.

Оно висело в застекленной рамке с ржаво-коричневой металлической окантовкой. Ребенку до него было не достать – только если б его подняли. Слово «МЕНЮ» было написано белым.

– Вот оно, – произнесла Гвен, показывая в меню. – *Perche en sauce safranée.* Окунь под шафрановым соусом.

Видимо, меня поднял к меню отец, вряд ли хорошо владевший французским. А потом подошла мама и перевела.

Узнавание постепенно продолжалось. Туманное воспоминание, от которого засвербило под ложечкой. Я присел, оказавшись ростом с ребенка, и почувствовал, как мне в ноздри просачивается запах травы, услышал, что река журчит иначе, когда я так близок к земле. Воспоминания вставали на место. Трава здесь пахнет по-другому, дома такие цветы не растут, и мне почудилось, что из туманного далекого прошлого я слышу звук голосов родителей.

Окунь.

Это слово постоянно рикошетило в памяти. Оно словно натыкалось на заросшие мхом стены подпола и отбивало от них накопившиеся наслоения. Мне снова послышался голос отца. Неотчетливо, лишь отзвуком. Мы стоим в меньшем доме в Хирифьелле и разглядываем цветную иллюстрацию с рыбами.

Наконец-то я получил этот подарок судьбы. Настоящее воспоминание об отце. Теперь оно останется со мной навечно. Мы разглядываем рыб и произносим их названия. Воспоминание обрело четкие очертания, и вот мы снова перенеслись из Норвегии сюда, где он держал меня под мышки и мы повторяли: «*Окунь*».

– Тут все еще готовят его, – сказала Гвен. – Похоже, их фирменное блюдо.

Дверь была закрыта. Я не уходил, кружил рядом, и вскоре дверь приоткрылась и из нее высунулась неприветливая мадам лет за пятьдесят.

– *Nous n’avons pas encore ouvert. Avez-vous réservé une table?*[71]

Она говорила так быстро, что я с ходу не разобрал ее слова. Ее терпения хватило на пару секунд, и дверь захлопнулась.

– Обслуживание обедающих на сегодня закончено, – перевела Гвен, посмотрев на часы. – Она спросила, заказан ли у нас столик на вечер.

Я молчал, изо всех сил стараясь удержать возникший в памяти образ.

– Что с тобой? – спросила девушка. – Ты вроде был таким… радостным?

– В первый раз мне что-то четко вспомнилось об отце. Его голос у самого моего уха. Щетина колет мне щеку, но не больно. Мама

воодушевлена. Оба такие… цельные.

Гвен сделала шаг ко мне. Улыбнулась. Как будто надеясь, что этого мне будет достаточно.

– Еще одно, – сказал я. – Мадам говорила о заказе столиков. Они ведь регистрируют заказы, да?

– Ну, естественно.

– Может быть, они не выбрасывают книги записи?

За десять минут Гвен сумела, галантно демонстрируя шарм и освоенный в частной школе французский, к тому же подсунув несколько франков под вязанную крючком скатерку, убедить хмурую мадам принести нам потрепанную книгу записи в голубой обложке. Прежде чем вручить ее нам, хозяйка наморщила нос и сдула в окошко пыль с книги.

– А давно у вас в меню, – спросила Гвен, – окунь под шафрановым соусом?

– Всегда был, – сказала хозяйка, кладя книгу перед нами.

Мы нашли забронированный на имя Николь Дэро столик по дате – 22 сентября 1971 года. Трое взрослых и ребенок.

Я оглядел зал. Желтоватые скатерти, постукивание раскладываемых приборов… Попробовал при помощи этих звуков вызвать воспоминания, но они не шли на ум.

– Тут снова ее имя, – отвлекла меня Гвен от этих мыслей.

– Где?

Девушка перевернула страницу. Там были записаны заказы на следующий вечер.

– Они опять заказали столик. Но только на трех взрослых. Как и накануне, но без ребенка.

Я не отрывал глаз от имени матери.

– Гм, – сказал я.

– Что?

– Да нет, ничего.

– Как это ничего? С кем они собирались отужинать?

– Наверное, – сказал я, – с твоим дедушкой. А Эйнар должен был остаться со мной. Но в тот вечер столик остался незанятым. Их уже не было в живых.

*** * ***

В тот вечер я ел то же, что ели мои родители во время своей последней

трапезы.

Окуня под шафрановым соусом. Эта пряность была столь же нова для меня, как, наверное, и для них в свое время. Мгновенные всполохи аромата кроваво-оранжевых ниточек, истекающие в мягкий светлый соус. Это благоухание глубоко проникало в меня, пробуждая к жизни давно прошедшие дни. На какие-то секунды мне удавалось удержать перед мысленным взором эти картины.

Вкусовые ощущения были похожи на воспоминания. Легкое блюдо без амбиций, соус, требовавший сосредоточенности: никаких кричащих ощущений в органах чувств. Всего лишь неповторимый нежный аромат, заставлявший мой мозг вибрировать и настраивавший его на частоту 1971 года.

Нечеткая игра теней, расплывчатые образы… и все же я сильнее, чем когда-либо, ощущал свою близость к родителям. Представлял, как мама растерялась, впервые попав в Отюй и расспросами узнав дорогу на ферму, куда ее не пустили. Мне казалось, я проник в мысли, одолевавшие ее, когда она вернулась сюда, чтобы поставить точку в каком-то деле.

Я знал, что не должен останавливаться, что следует повторить все наши действия шаг за шагом и рано утром, уже скоро, пойти заново пережить ту смерть.

Но я отогнал от себя эту мысль. В эту секунду вокруг царили тишь да благодать. Ничего рискованного, ничего безрассудного в этой поездке. Они приехали сюда завершить какую-то старую историю, оставить ее в прошлом.

Человек в печали не закажет окуня под шафрановым соусом.

Постепенно Гвен отдалялась от меня, а я едва замечал это. За едой она молчала, произнеся только одну фразу, над которой я потом долго размышлял. Мельком взглянув на мой бокал с водой, сделала мне выговор, но подала его, как дружеский совет.

– Эдуард, – сказала она. – Когда ешь в таком месте и тебе дают такие чистые бокалы, рот нужно утереть салфеткой *до* того, как пригубишь. Тогда на бокале не останется следов.

Она как будто предчувствовала.

Что этот совместный ужин окажется для нас последним.

*** * ***

Мы не спали друг с другом в тот вечер. Гвен закрылась одеялом и

повернулась ко мне спиной.

Сон не приходил. В голове шумело после долгой поездки, так что я оделся и тихонько прошел по коридорам. Мы поселились в отеле базилики, но я был не в настроении поведать Гвен о том, что мы с родителями, вероятно, ночевали тут в 1971 году.

В гостиничке было всего десять номеров. Проходя мимо покрашенных белой краской дверей, я задавался вопросом, за которой из них мы тогда жили. Здесь, должно быть, тоже имелась книга регистрации постояльцев двадцатилетней давности. Я вышел подышать прохладным ночным воздухом и дошел до церкви. На улице рядом горланила пара подгулявших французов, мимо проехал и исчез за углом бледно-серый «Ситроен» с желтыми фарами.

Жослен Берле жила примерно в часе езды отсюда. По дороге сюда я рассказал Гвен о ней. Может быть, завтра мы сумеем с ней встретиться. Но что, если она расскажет, что в то время показания дал человек с одной рукой? Я никогда не питал неприязни к Дункану Уинтерфинчу. Тем более здесь. Не его вина была в том, что произошло. Я начал планировать, как мы поедем дальше, в кабинет врача в Ле-Кротуа, где меня нашли.

Когда я вернулся, Гвен все еще спала, и мне вспомнились Шетландские острова, вечер, когда мы напились «У капитана Флинта» и заселились в пансионат «Сульхейм гест хаус». Смешки и касания на лестнице, а потом мы шмыгнули в номер, заперли дверь и раздели друг друга в просачивающемся сквозь гардины призрачном свете.

Такой же свет падал на нее и теперь, в эту ночь в восьмом номере отеля базилики. Ее тело было окрашено желтоватым отсветом. Я лег на диван и заснул в том же напряжении и на том же расстоянии, что и в первые ночи на Шетландских островах. Номер отеля превратился в Хаф-Груни и Квэркус-Холл, а половицы между нами – в морские волны.

Я проснулся от всхлипываний. Гвен сидела в халате, держа в руках спрятанные мною от нее фотографии.

– Ты не показывал их мне, – сказала она без выражения, словно обращалась к половым доскам.

Я сел. Мой чемодан был выпотрошен. Рубашки были развешены на рейке для одежды. Брюки аккуратно сложены на полке.

– Я переснял его карту времен войны в Квэркус-Холле, – признался я. – Я тогда еще подумывал – может, у тебя другие планы…

Но фотография, на которую смотрела Гвен, была не снимком военной карты, а моим фото с игрушечной собачкой.

– Это у *тебя* другие планы, оказывается, – сказала она. – Да мне дела

нет до того, что ты фотографировал втихаря. А вот интересно, почему ты не показал мне *эти* фото?

– Ну же, признайся, что ты бывала тут и раньше. У вас же был тут летний дом?

Девушка как будто не услышала. Не могла отвести глаз от этого снимка, сгорбилась, стараясь сдержать всхлипывания.

– Я не знаю, что случилось с твоими родителями, – сказала она еле слышно.

– Ты не ответила, – настаивал я. – У вас тут был дом.

– Летний дом? – рассеянно буркнула Гвен, как будто я спросил, не видела ли она мои носки.

– Эйнар писал о нем в одном из писем.

– Чушь, – сказала она, покачав головой. – Не было у нас никакого летнего дома.

Я натянул одежду, в которой ходил вчера. Гвен продолжала сидеть, глядя на мое фото с игрушечной собачкой.

– Что там такое с этой фотографией? – спросил я, затягивая ремень.

Она выдвинула ящик комода. Повозилась с шлифованными флакончиками духов, с тенями для век. Достала косметичку от Джудит Лейбер и запихала все назад, под черные резиночки. Пробормотала что-то неразборчивое. С силой задвинула ящик. Подскочила ко мне в ореоле гнева и ночного крема от Элизабет Арден. Толкнула меня обеими руками к стене и залепила мне пощечину.

– Одно тебе скажу, Эдуард. Там, на хуторе, когда я ходила в старой рабочей одежде и не мылась под душем, это было лучшее время в моей жизни. Картофельная лепешка с этим странным сыром – самое вкусное из того, что я когда-либо пробовала.

Мне стало нехорошо. Я сел, обхватив голову руками и проклиная себя за то, что не рассказал ей все. Те недели в Хирифьелле и мне никогда не забыть. Я подошел к ней и провел рукой по ее волосам. Она головой стряхнула мою руку и достала сигарету. Ногтем провела по бумаге, осторожно распотрошила ее, и табак улегся пирамидкой в ее ладони. Встала, открыла окно, сдула крошки на улицу. Кинула на меня взгляд в зеркало.

– Обещай мне одно, – сказала она, – что ты никогда не зайдешь в тот лес.

Я смотрел в окно. Гвен поцеловала меня в лоб и добавила:

– Прогуляйся, *mon chéri*[72]. Спустись к Анкру, покури «Голуаз». Сделай что-нибудь театральное. Призови дождь, бурю. Дай мне побыть

одной.

*** * ***

Пристальные взгляды из-за стойки администратора. Желтые осенние листья, облетающие под порывами ветра и липнущие к окнам.

Кровать была застелена. Простыни заправлены. На письменном столе лежали фотографии. Пустая пачка от «Крейвен А». На спинке стула висел пиджак Дункана Уинтерфинча.

Она оставила письмо.

«Эдуард. Я уезжаю домой, на Анст. Не ищи меня. Я выставлю Хаф-Груни на продажу. Деньги пойдут на содержание Квэркус-Холла. Будь добр, не возражай, пощади меня и себя.

И тебе тоже лучше поехать домой. Оставь себе дедушкин пиджак на память.

Of the summer when we were forever young[73].

Гвен».

Я сел на кровать. Ждал появления чувства, которое так и не возникло. Желания страдать от неразделенной любви, жестоко и неистово. Потребности броситься на вокзал, озираясь с отчаянием, схватить за плечо девушку в похожей одежде, перепугаться, увидев, что это не Гвен, громко звать ее, чтобы ее имя разносилось над перронами.

Но получилось как с мамой. Я представлял ее себе, размышляя, тоскую ли я по ней так, как положено сыну. Так же и теперь я представлял себе свои любовные страдания, размышляя, настоящие они или кажущиеся. Сидел один в номере отеля и смотрел в пустоту, видел отсутствующие чемоданы и чувствовал давно выветрившийся аромат духов. Но и тоска, и страдания были жалкими и бессильными.

Может быть, потому, что я чувствовал: это еще не конец.

Ведь Гвен оставила мне в подарок вопрос о том, почему она уехала.

Неужели то, что я спрятал пачку фотографий, могло так ее задеть? Или она использовала это как предлог, чтобы смешать мне карты, чтобы сбить меня со следа?

Я снова вгляделся в снимки. Задумался, не упустил ли я чего. Чего-то, что рассказало бы ей, где находится ореховая древесина. Но все, что было на снимках, – это мы с родителями и Эйнаром в поездке. Ни мрачных

лесов, ни подозрительных строений. Одни мы, семьей, на автодорогах и местах отдыха. И на одном снимке, где остался отпечаток пальцев Гвен, смазанных жирным кремом для рук, – я и игрушечная собачка на фоне каменной кладки.

Чего я не вижу?

8

Сквозь запотевшее матовое стекло теплицы я едва замечал какое-то шевеление. Это она передвигалась между растениями. Время от времени останавливалась и делала что-то, чего мне не было видно. Изредка, когда на стекле скапливалось достаточно воды и по стеклу стекала большая капля, я видел ее ясно.

Бывший инспектор полиции Жослен Берле.

Я подошел к теплице поближе. Шевеление внутри прекратилось, и она раздвинула створки дверей. Эта дама оказалась высокой и стройной, как бегунья на длинные дистанции. Своего возраста она не скрывала. Седые пряди были зачесаны назад и закручены на затылке в кичку. Вокруг глаз ее кожу прорезали глубокие морщины, но в остальном она выглядела почти так же, как на фото из газеты.

Жослен смерила меня взглядом. Эта женщина выпустила меня из своих рук в жизнь и теперь, казалось, спрашивала себя, нельзя ли было помочь мне еще чем-то.

– Я много лет задавалась вопросом, узна́ю ли вас, – сказала она по-французски.

– Узнала? – спросил я.

Она внимательно рассматривала меня. Видимо, даже не заметила, что я обратился к ней на *ты*. Кивнула.

– Да, – ответила она. – Ваш рот, ваш нос… Так странно вас видеть…

Мне стало неудобно.

– Вы говорите по-французски? – уточнила она. – Или будем разговаривать на английском?

– Лучше на английском, – сказал я. – Хотя в детстве я немного знал французский.

Я закусил губу. Может быть, я использовал не те слова. Произнес их так, что их было не понять.

– Вы и сейчас неплохо им владеете, – отозвалась Берле на английском, более ломаном, чем мой французский. Из теплицы тянуло духотой. У нее там были грядки с овощами и множество роз. Клапаны вентиляции на потолке регулировались при помощи хитроумной системы талей и шнуров – хозяйка оставила их чуть приоткрытыми, но это ее не устроило, и два клапана она закрыла совсем. Похоже, такая же тонкая настройка происходила и в самой Жослен Берле: она прикидывала, сколько свежего

воздуха можно впустить в старую историю, чтобы не навредить нежным растениям.

– Давайте зайдем в дом, – сказала она, стянула с себя передник. Ополоснула секатор в бочке с водой, а потом сунула его в бочку с песком и извлекла оттуда сияющим чистотой.

Я с любопытством покосился на бочку. Жослен снова перешла на французский.

– Просто песок, – сказала она. – Пропитанный старым машинным маслом. Песок удаляет комочки земли. А масло защищает сталь от ржавчины.

В узкой и темной прихожей хозяйка повесила мой твидовый пиджак на вешалку. Непонятно, заметила она ярлычок на нем или нет; помогли ли ей годы службы в полиции разглядеть, что буквы на нем стерли не мои позвонки…

– Посидим на кухне, – предложила она. – Этот рассказ не для уютных кресел. Да у меня уютных кресел и нет.

*** * ***

– Я знаю, – сказала Берле, – что ваши родители умерли около шести часов утра. Нас известил об этом мужчина, ловивший карпов. Он сидел на другом берегу. Это далеко, и кусты там растут густо, но он хороший свидетель. Лучше не бывает.

Я склонил голову набок.

– Рыбалка на карпа требует терпения и наблюдательности, – объяснила моя собеседница. – Надо сидеть совершенно неподвижно. Около шести часов он услышал крики и увидел, что кто-то в красной куртке бежит к воде. Сначала подумал, что там тоже ловят рыбу и один рыболов бежит помочь другому вытащить крупного карпа, но потом настала полная тишина. Свидетель подумал: что обычно делают, подцепив рыбину сачком? Либо выходят с ней на берег, либо пытаются поймать еще одну. Но рыболовы на другой стороне как сквозь землю провалились, будто невидимки. Свидетель привстал, и ему показалось, что в воде лежит что-то красное. Тогда он сел на велосипед, поехал домой и вызвал полицию.

Слушать этот рассказ было больно. Берле говорила бесстрастно, иногда переходя на французский, но потом снова возвращалась к английскому.

– И тогда, – спросил я по-французски, – вы пошли в лес?

– Не сразу. Когда он позвонил, я нашла это место на карте и очень удивилась. Ведь там располагался запретный лес, с неразорвавшимися снарядами. И вот мы с еще одним инспектором полиции доехали до места, где удил рыболов, и переплыли реку на резиновой лодке.

– А лес был огорожен? – уточнил я. – Колючей проволокой, например?

– Местами. Но следили за ограждением плохо. После этого несчастья поставили новое ограждение, гораздо выше, но и теперь просто поразительно, до чего плохо ограждены леса на Сомме. Мы, французы, довольствуемся предупредительными щитами. Но ведь если не умеешь читать, это не поможет. – Жослен почесала руку.

– На ком из них, – заговорил я после тягостной паузы, – была красная куртка?

– На вашей матери, – сразу же ответила Берле. – Что-то вроде анорака. Ваш отец был в темной одежде, и найти его оказалось труднее.

Она не сводила с меня глаз. Смотрела оценивающе, как дедушка смотрел на растрепавшийся канат.

– Мы сумели поднять их на плот. Думали, что они подорвались на снаряде, и удивились, увидев, что тела их невредимы, – рассказывала она дальше. – Ни единой ранки. Следы на траве вели ровно к тому месту, где их нашли. Будто они побежали в воду и специально не высовывались из нее, чтобы утонуть.

– Газ, – пробормотал я. – *Le gaz.*

– Что?

– Газовый снаряд. Разве не газовый…

Жослен чертила на поверхности стола указательным пальцем невидимый узор.

– Да. Но это выяснилось много позже. При вскрытии. В их легких обнаружилось постороннее вещество. Не горчичный газ и не фосген. Состав, который химики затруднились определить.

– Рыболов больше никого не видел? – задал я еще один вопрос.

Берле покачала головой.

– Нет. Но ведь кустарник на берегу очень густой. Вы наверняка всю жизнь задумывались о том, что им понадобилось в том лесу, – вот и я сразу же подумала об этом. Но нам не дали разрешения зайти в него. Пришлось дожидаться военных саперов. Они приехали лишь через несколько часов. К этому времени я уже забила тревогу. Ведь пока мы ждали их, то, разумеется, обследовали местность вокруг и обнаружили автомобиль, вызвавший наш интерес.

– «Мерседес»?

– Точно. Черный. Стоял у грунтовой дороги недалеко оттуда. С норвежской регистрацией. Капот был холодный, так что он или уже давно там стоял, или ехать ему было недалеко. Я рискнула и приказала его открыть.

В моих ушах зазвучали дедушкины слова. *«Как-то в него попытались влезть»,* – сказал он много лет назад, когда я спросил, почему возле замка багажника на Звездочке ржавые царапины и пятна.

– Увиденное, – сказала Берле, – потрясло меня. Игрушки, детская одежда. Маленький голубой плащ. Ваши имена на билетах на паром. Три пассажира. Мы разместили по периметру леса добровольцев, перекрыли дороги, чтобы ревом моторов не заглушило детский плач. Но наша основная версия, из-за места обнаружения тел, состояла в том – вы меня простите, надеюсь, – что вы тоже утонули. Поэтому, пока не приехали саперы, искали вас с помощью драги с лодок, искали на полях вокруг леса. И не переставали размышлять о том, зачем они приехали туда.

– А следы ног вы нашли?

– Да, следы вели от машины в лес. Я вот вспоминаю, что мы нарушили запрет и все же заслали в лес полицейскую собаку, овчарку, которой дали понюхать вашу одежду. Но она тут же напоролась на осколочный снаряд, и ей оторвало задние лапы. Пришлось ее прикончить, когда она выползла к нам. Надо было ждать прибытия специально тренированных собак, к тому времени трава распрямилась. Все было непросто – мы боялись, что и вы наступите на снаряд. Саперы работали в противогазах.

– А не было там игрушечной собачки? – спросил я и сразу же подумал, что прозвучало это очень глупо.

– Игрушечной собачки?

– Да, деревянной, – сказал я, думая о несчастной овчарке. – Кажется, я брал ее с собой, но она пропала.

Моей собеседнице потребовалось некоторое время, чтобы понять, почему меня волнует судьба игрушки.

– Я думаю, мы нашли бы ее, – сказала она. – Если она не свалилась в воду. Но это только карпам известно.

Жослен Берле жила одна, и даже странно было, что у нее так много альбомов с фотографиями. Они полностью занимали две секции книжного стеллажа напротив телевизора – к этому телевизору был обращен кухонный стол, за которым мы сидели. По телефону она сообщила, что в 1975 году ушла из полиции. Но только когда мы разговорились, Жослен сказала, что после этого работала в отделе усыновления. Причина этого была столь очевидна, что мы не коснулись ее ни словом. Однако я готов был

присягнуть, что самый первый из ее альбомов, который хранился только в ее памяти, был посвящен *мне*.

А в моей хранилось архивное дело не меньшей толщины. История о столяре-краснодеревщике и об одноруком торговце лесоматериалами. Меня тянуло рассказать ей все. Но *хочет* ли она, собственно, знать это? У меня не было желания выступить главным свидетелем, явившимся через двадцать лет к человеку, сделавшему в свое время все возможное. Для нее это дело было закрыто, как и дела устроенных в семьи детей в ее альбомах. За их судьбой она следила до входа в новый дом, а затем, ради них и своего блага, оставляла их в покое.

Жослен не спросила меня, не знаю ли я чего-нибудь еще. Она рассказала, что известно *ей*, не проявляя вновь возникшее любопытство. Еще один человек, не желавший ворошить прошлого. Должно быть, во мне говорит настойчивость Эйнара, подумал я, заставляя идти до конца, даже когда все вокруг умирают.

Возле раковины на кухне в стеклянной вазе стояли свежие тюльпаны – я видел такие же в теплице. Берле встала и поставила вазу на стол между нами.

– Я даже не предложила вам ничего, – сказала она, открывая спартанский кухонный шкафчик. – Хотите чаю? – Налила воды в обшарпанный чайник и продолжила: – Мы хорошо представляем себе их действия в те дни. Они остановились в отеле базилики. Поужинали в «*Оберж*». Народу там было много, на экскурсию приехал автобус с американскими курсантами. Столик был заказан на троих взрослых и ребенка. Но четвертый посетитель так и не явился. Вроде бы к столику подходил какой-то человек и чем-то возмущался, но официант был слишком занят, чтобы запомнить его внешность. Потом вы заказали еду, попросили оставить за вами столик и на следующий день, а четвертый прибор официант убрал. Администратор гостиницы видел, как вы вернулись в тот вечер. Было поздно, и вроде бы ваша мама сердилась и разговаривала односложно. Вы уже спали, ваш отец нес вас на руках. Похоже, вы все собирались лечь спать. А потом сонный ночной портье принял телефонный звонок и перевел его на ваш номер.

– Кто-то звонил нам в ту ночь?

– Да. И тут многое можно предположить. Например, что ваши родители договорились встретиться с кем-то в лесу.

– А вы узнали, кто звонил?

– Только то, что этот человек говорил по-французски. Время звонка было выбрано странное. Мы даже думали, может, это франкоязычный

канадец, забывший о разнице во времени, но это уж совсем маловероятно. Портье снова лег спать, но ему позвонили из соседнего с вами номера – жаловались, что у вас ребенок плачет. Портье оделся и поднялся к вашей двери, однако все было тихо. То ли ваши отец и мать успели уйти за это время, то ли вы заснули.

Я взял себя в руки и продолжил расспрашивать:

– А в каком номере мы остановились? Я сейчас тоже живу в той гостинице.

Жослен Берле долго оценивающе смотрела на меня, а потом тихонько покачала головой.

– Этого я не помню. К сожалению. Но там ведь всего десять номеров, так что вполне может оказаться… Однако вернемся к делу: мы нашли там их багаж и одежду. В комнате был порядок. Не похоже, чтобы они торопились, покидая ее. Зубные щетки в стаканах, постель заправлена, одежда аккуратно развешана. Номер был забронирован на четыре дня, и обслуга удивлялась, что вы не спустились к завтраку.

Дома в Хирифьелле мой мозг выбрал себе несколько точек заземления: застекленную веранду, где я сидел, глядя на опушку елового леса и одинокую сосну с сорочьим гнездом. Отличное зрелище, когда нужно подумать. В классной комнате это был плакат, который никогда не убирали: он висел между картой мира и картой Норвегии. Плакат пожелтел на солнце, которое светило на него через окно в праздное время летних каникул.

У Жослен Берле тоже была такая точка: стык водопроводных труб на стене в кухне. Трубы были проложены низко, над самым плинтусом. Наверное, погрузившись в свои мысли, она частенько сидела вот так, обхватив руками левое колено. Думала Жослен долго, а потом ее руки разжались и она отвела глаза от стыка.

– Позвольте спросить вас, Эдуар, для чего вы сюда приехали. Обрести покой? Или вы ищете что-то другое?

– Наверное, это странно слышать. Но я должен выяснить, что же случилось.

– Да, но *зачем?* Я снова прошу меня простить. Но вы *хотите* этого? Ведь неспроста мы склонны лучше помнить то хорошее, что случилось с нами в жизни. Способность человека забывать плохое поразительна. И горькие воспоминания окрашиваются в светлые тона жизненным опытом. Дети могут приспособиться практически к чему угодно. Но вы пытаетесь проникнуть назад, к правде прошлого. Это может безвозвратно травмировать вас.

Конечно, она была права. По ее словам, когда мы вернулись тогда в гостиницу, мама была в плохом настроении. Я же был уверен, что расстроенный человек не закажет окуня под шафранным соусом. И это, возможно, было тем моим единственным воспоминанием, в которое я сам верил.

– Значит, от меня что-то скрывают? – спросил я.

– Никоим образом. Но даже *предположения* о том, что тогда случилось, могут оказаться для вас слишком мучительными.

Вода закипела, и Берле выключила горелку.

– Это так… несправедливо, – сказал я. – Я знаю, что в этот лес заходили в сорок третьем году, и ничего не случилось. А мама с отцом тут же напоролись на снаряд.

Жослен покачала головой.

– Ничего странного. Ведь корпуса газовых снарядов *железные*. Они ржавеют. Но очень медленно. Может быть, в Первую мировую войну на них можно было наступить – и ничего. Но когда в лесу оказались ваши родители, снаряды пролежали там уже пятьдесят лет.

– А теперь?

– Теперь они проржавели еще сильнее. Так работает сама природа. Лес становится все более опасным.

Берле догадалась о моих планах.

– Даже и не думайте, – сказала она. – Люди до сих пор подрываются на этих снарядах. Всего пару недель назад такое случилось под Тьепвалем. Двое дорожных рабочих попали в больницу в полубессознательном состоянии. Они задели газовый снаряд, настолько проржавевший, что оболочка истончилась до пары миллиметров. Когда я об этом прочитала, сразу подумала о том событии – *вашем* событии.

Она замолчала. Искоса взглянула на меня. На подросшую неразгаданную тайну. На маленького мальчика, который теперь наяву сидел за ее кухонным столом. Я все больше утверждался в мысли о том, что ей не хочется будить воспоминания.

– Как вы думаете, что же произошло? – заставил я себя задать ей еще один вопрос. – Если вы дадите волю своим предположениям.

– Моя основная теория такова. Но чтобы ее понять, надо представлять себе, где мы находимся. Пребывание на Сомме вгоняет людей в *тоску*. Места сражений производят столь сильное впечатление, что некоторые впадают в состояние аффекта. Страшные рассказы создают потребность опереться на что-то осмысленное в жизни, на что-то гуманное. Я знаю, каково это – знать, что не можешь иметь детей. Пустота внутри, пустота

вокруг. Так что, я думаю, вас похитили. Здесь, рядом с местом самой ужасной мясорубки в истории человечества.

– То есть кто-то просто… забрал меня с собой?

– В отделе усыновления я раз за разом сталкивалась с таким отчаянным, годами вынашиваемым желанием. Пусть и замаскированным в корректные одеяния и натянутую вежливость. Так что да, я думаю, вы потерялись и родители стали вас искать. Понятия не имею, при каких обстоятельствах. Вероятно, вы просто заблудились. А потом кто-то нашел вас. Напуганного и отчаявшегося. Может быть, сначала вас просто хотели забрать в безопасное место, но потом дала себя знать иная потребность. Миллионы людей не умеют просчитывать результат своих действий. Какая-то идея несколько минут кажется удачной. Потом наступает отрезвление. Приходит мысль: а что скажут соседи? Ребенок вскоре проголодается, заплачет. Свидетельства о рождении у него нет. Очень быстро восторг от первоначального плана проходит. Чаще всего отрезвление наступает уже через полчаса. Иногда через несколько дней. Есть, конечно, такие, кто надеется заработать на потерявшемся ребенке. Но и такой план рассыпался бы на следующий же день, когда им на глаза попалась бы газета с сообщением, что ваши родители погибли.

– А в гостиницах наверняка удивились бы, – сказал я, – откуда это у постояльцев вдруг взялся ребенок?

– Вот именно. Вы исчезли на несколько дней, а те, кто вас забрал, должны же были где-то ночевать. Поэтому мы побывали во всех местных гостиницах и пансионатах. Мы подозревали, что похитители – бездетная пара в возрасте тридцати-сорока лет. Или одинокая женщина того же возраста. Мы перетрясли все книги записи постояльцев в округе. Но если не считать, что нам открылись целых девять случаев супружеской неверности, не нашли ничего. Я думаю, они привезли вас в Ле-Кротуа, потому что это далеко от того места, где проходили основные поиски. Подождали до утра понедельника, потому что в выходные все учреждения закрыты. И пришли в приемную врача. То место, где найдешь внимательных, ответственных людей. Может быть, они подождали в сторонке приезда полиции. Вероятно, они еще живы. Может, у них есть дети, может, нет. Но я совершенно уверена, что они уехали из Ле-Кротуа как можно дальше.

– Не припомните, как звали врача? – поинтересовался я.

– Увы, нет. Помню только, что он был старый и властный. Кто-то постучался в дверь к ассистенту врача, а когда та вышла, вы сидели в приемной один. Они вас сразу же осмотрели. Узнали вас по фото в газете.

Поняли, что вас недавно покормили, вели вы себя спокойно. Одежда была испачкана, но единственное повреждение – синяки.

Я нахмурился.

– Синяки?

– Да. Множественные.

– *У меня?* И где?

Жослен Берле встала и подошла ко мне. Остановилась передо мной, будто изо всех сил сдерживая готовую выплеснуться нежность.

– Мы не раскрыли этих подробностей газете, – сказала она и дотронулась до моей правой руки выше локтя. – Вот *здесь*. Она провела пальцем по моему плечу и предплечью. – Глубокие кровоподтеки. Кожа почернела. Но ниже локтя ничего, и на левой руке тоже. Вас прижало к чему-то.

Ее палец задержался на моей руке на секунду дольше, чем требовалось. Я чуть было не положил свою ладонь поверх ее, но Берле, должно быть, почувствовала это и отодвинулась.

– Вас оставили со мной, – сказала она. – Я пыталась вас разговорить. Сказать что-нибудь, что могло бы вывести нас на след. Но вы молчали. Словно происшедшее блокировало вашу память.

В тот день я и перестал говорить по-французски, подумал я.

– А потом приехал дедушка?

– Я видела, как вы встретились. Вы бросились к нему, и он подхватил вас на руки. Ему пришлось на несколько дней задержаться в Амьене для завершения всех формальностей.

– А потом мы с дедушкой уехали домой?

– Да. В черном автомобиле. Сначала он опознал ваших родителей – их тела самолетом отправили в Осло. Ваш дедушка был совсем не сентиментален. Но казалось, он чего-то… ждет. Ждет, что произойдет еще что-то.

Я представил себе его. Его созревшую за те дни ненависть к брату, желавшему добра, но запутавшему жизнь всем окружающим – как собачонка, слишком рьяно виляющая хвостом и вдребезги разбивающая посуду.

– Я совсем забыла предложить вам чаю, – сказала Берле.

*** * ***

Выбравшись на улицу, я закурил «Голуаз» и некоторое время стоял,

разглядывая «Бристоль», раздумывая, не стоило ли рассказать Жослен об Оскаре Рибо. Но это не пришлось к слову. Конечно, профессия научила ее не затягивать прощания. Она слегка кивнула в дверях, не выказав никаких чувств.

Я стоял и курил, повернувшись спиной к ее квартире. Мимо проехала пара автобусов. Затем мне послышалось, что кто-то крикнул, а потом я почувствовал, как нечто ударилось мне в плечо, и сразу же услышал, как это нечто катится по асфальту. Это Жослен Берле кинула в меня с третьего этажа маленьким предохранителем – и попала. Она выглядывала в кухонное окно, опираясь руками о подоконник, как о борт корабля.

Вскоре я опять стоял в ее прихожей.

– Курите, значит, – сказала она.

– Да, – ответил я.

– Может быть, вы чего-то недоговариваете?

– Может быть, и вы тоже.

Берле подняла с полу черную кожаную перчатку.

– В конце концов, мы сошлись во мнении, что речь идет о спонтанном киднеппинге, – сказала она, положив перчатку рядом с другой, парной к ней, на маленький столик. – Это было единственным объяснением, ведшим дело к завершению.

– Но разве оно завершилось? – спросил я.

– Нет. Для меня дело осталось нераскрытым.

Продолжение повисло в воздухе. Чтобы закрыть старое дело, требовалось что-то и от меня. И я достал фотографии. Рассказал бывшей сотруднице полиции все, что знал. Она разглядывала мое фото с игрушечной собачкой тем же взглядом, что и Гвен. Печальным и сочувственным. Маленький мальчик за несколько дней до своего исчезновения, стершего события того времени из его памяти.

Потом Жослен Берле сидела, четырьмя пальцами поглаживая лоб вверх-вниз, словно настраивая свой мозг заново начать вычисления.

– Ни на какие новые мысли это меня, собственно, не наталкивает, – сказала она. – Но в расследовании всегда остается что-то неразъясненное. Например, вашим родителям выдали две связки ключей от номера, а мы нашли только одну. В нагрудном кармане вашей матери.

– Я думаю, что в тот день со мной остался Эйнар, – сказал я.

– Или так, – кивнула Жослен, – или один ключ они потеряли, пока искали вас. Невозможно распутать все нити. И что еще меня мучает, так это платье.

Я похолодел. У меня напрягся затылок.

– Какое платье? – вымолвил я.

Берле почесала щеку.

– Одно время гостиничную прачку подозревали в том, что она подворовывает у постояльцев, но делу не стали давать ход. Когда ваших родителей нашли, они были одеты для прогулки. Однако накануне вечером официант в ресторане обратил внимание на платье вашей матери, очень красивое, синее, старомодного покроя. Ваш отец… Что случилось? Что-то не так?

– Я… Нет, ничего, продолжайте.

– Ваш отец был в костюме. Когда мы осматривали номер, костюм нашли, а платье – нет. Это меня удивило. Кто бы стал – сразу после смерти постояльцев – пробираться в их номер, чтобы украсть старомодное летнее платье?

9

Хорошо одетая супружеская чета выгуливала собачку. Я пожалел, что у меня нет с собой моей «Лейки» – с ней я выглядел бы, как обычный турист у воинского памятника.

– Я ищу ферму, – сказал я, – которой когда-то владела семья Дэро.

Супруги переглянулись. Покачали головой. Может быть, я неправильно произнес слова. Я попробовал повторить, старательно округляя свои «О». Пожав плечами, местные жители пошли дальше.

«Бристоль» стоял на обочине. Матовые передние фары напомнили мне взгляд верного старого пса. Медлительного, но привычно и приятно пахнущего. Вот бы *он* рассказал мне о пережитом за все те тысячи километров, что он возил Эйнара.

Я распахнул дверцу и сел на сиденье, высунув ноги наружу. Нашел кассету с записью Боба Дилана и перемотал до «*Mister Tambourine Man*». Нагнулся и зашнуровал ботинки. Утром я схалтурил, завязав их на простой бантик. Теперь же сложил шнурки, чтобы сделать узел «турецкая голова». *Так вот* почему, сообразил я, Гвен умеет вязать узлы, которые держатся весь день. Потому что однорукому человеку самому обувь не зашнуровать.

Я поднялся со свежезавязанными шнурками и с предчувствием, что она все еще где-то поблизости. Перешел по мостику Анкр, поднялся по склону и наткнулся на ржавый железнодорожный путь. Дошел до старого кирпичного здания с арочной крышей. На фото, где я держу игрушечную собачку, сзади меня как раз такая стена. Но ведь таких зданий миллионы?

Я побродил вокруг, отбрасывая ногой обломки металла, попадавшиеся в траве, подтянулся к окну и заглянул в заброшенную приемную. На полу валялись огромные настенные часы, разбитые. Поблизости больше никого не было – только слышались чириканье птиц и далекий шум автотранспорта.

Я пошел дальше, надеясь встретить кого-нибудь, кого можно расспросить. Встретил согбенную старую даму, стоявшую в канаве с желтым надувным мячом в руках. Вдруг из кустов выскочила маленькая девочка. Старушка, смеясь, кинула ей мяч.

Уж *она-то* прожила достаточно долго, чтобы ответить мне и показать, куда идти.

– Но ведь семьи Дэро нет здесь, – сказала старушка, когда я задал ей вопрос.

– Вы их знали? – спросил я.

Она покачала головой.

– После войны там поселились другие люди. Но, кажется, несколько лет назад и они уехали.

Я пошел, следуя ее указаниям. Если она не ошиблась, ферма должна была находиться в паре километров дальше орехового леса.

Так и оказалось. Старую грунтовую дорогу я с трудом разглядел под заслонявшими ее деревьями. Проехать по ней больше было нельзя – в весенний паводок вода текла по ней, как по руслу, а сейчас посередине росла высокая трава.

Мне представилось, будто мы с мамой идем вместе. Это был просто образ, возникший в моей фантазии здесь и именно здесь получавший смысл, потому что мы шли этой дорогой по отдельности, но с почти одинаковыми ожиданиями. Есть ли во мне что-то от этого места? Или я мог вырасти где угодно?

Но вот видение матери исчезло. Что-то такое крутилось у меня в памяти, но я никак не мог ухватить это что-то. Так шишка на дереве не знает, что она связана с корнем, пока не упадет и не рассыплет вокруг себя прорастающие семена.

В пятидесяти метрах впереди показалась ферма Дэро.

Жилой дом с провалившейся крышей. Стойло без ворот. Сараи, двери которых косо болтались на петлях. Описания из писем Эйнара вставали на места. Курятник. Крыльцо, на котором мой прадед беседовал с загадочным Оскаром Рибо.

Я уселся на верхней ступеньке и оглядел двор. Здесь они стояли. Эйнар и Изабель. Надеялись, что кончится война. А потом сюда, именно сюда, заявилось гестапо и арестовало ее вместе со всей семьей, а Эйнар ускользнул.

Теперь у самого дома пустил корни кустарник, а из-за ползучих растений со стен осыпалась краска. На ветру хлопал брезент. В хлеву валялся дохлый голубь. Пол в конюшне покрывали посеревшая солома и мышиный помет. На кухонном столе в доме лежало велосипедное колесо. Едой здесь не пахло, должно быть, уже много лет.

Мне хотелось быть человеком, на которого мертвые могли бы положиться, но никто из мертвых не появился, чтобы мне помочь.

Время от времени я спрашивал себя: если я найду грецкий орех и у меня появятся деньги, следует ли мне тогда выкупить эту ферму? Приезжать сюда на лето, выдавливая из трагедии последние капли крови и говоря духам предков, что кольцо замкнулось? Раз уж добрался сюда, я

походил по ферме, надеясь ощутить что-нибудь. Чувство принадлежности, ответственность. Но ничто здесь не трогало меня. Я как будто смотрел на пустую раму, оставшуюся от пропавшей картины.

Только покидая ферму Дэро, я почувствовал, что мне жаль уходить отсюда.

Ну, хотя бы это, подумал я.

Я вернулся к машине, и внезапно мне показалось, что времени у меня полно. Никто не обращал на меня внимания. Все, видимо, привыкли к экскурсионным автобусам, к вездесущим туристам с фотоаппаратами, показывающим пальцами в разные стороны, к английским автомобилям, останавливающимся посреди дороги.

Между могилами на кладбище бегали, перекликаясь, школьники. Интересно, что бы о них подумал Дункан Уинтерфинч? В этот момент мимо проехало такси. Минуя проход к могилам на другой стороне кладбища, оно сбавило скорость. Пассажирка нагнулась к шоферу, что-то говоря ему.

Гвен.

В новой синей куртке. Волосы ухожены. Она возилась с картой, показывая что-то на ней. Такси уехало. Я двинулся следом, но упустил их. Бросил это дело и зашел в кафетерий с белой пластиковой мебелью и резким освещением. Сел, чувствуя комок в горле. Мне помнилось ее лицо над тарелками в «*Рабе*», аромат ее кожи и легкие вздохи перед тем, как она погружалась в сон. Настойчивость и решительность, с какими Гвен управлялась с «*Зетлендом*». Все прошло, и остались мрак и пустота, как на безлесных Шетландских островах. Такая же мимолетная встреча, как припев популярной песенки. Она разыскивает пропавшую партию лесоматериалов. Это наверняка.

Часом позже я стоял возле леса Дэро. Я добрался сюда по ведущей между каменистыми пустошами грунтовой дороге, остановился там, где, думалось мне, мама с отцом могли припарковать «Мерседес», и сориентировался по военной карте. Но пробыл там недолго и не запоминал никаких подробностей. Я собирался быть там на следующее утро.

Дальше я отправился искать летний дом Дункана Уинтерфинча. Поездил между кладбищами, проходя в скрипучие железные калитки и бродя среди надгробий, пытаясь осознать трагедию 1916 года и представить себе, как мыслил старый капитан. В каменной стене было латунное окошко, которого я не заметил раньше. На латунной крышке – фигура креста. Я открыл крышку и нашел внутри тетрадь в переплете.

Книга памяти. В ней записывали дату, имя и страну. Если хватало

духовных сил, оставляли какое-нибудь высказывание. Я расписался на свободной строчке. Осторожно, чтобы не продырявить ручкой бумагу, написал: «*Дэро*». Положил книгу на место. Оглядел памятник неизвестному солдату. *Known unto God*[74].

Тут мне пришла в голову еще одна возможность. Я открыл латунное окошко и снова достал Книгу памяти.

*** * ***

Местное отделение Комиссии по военным захоронениям стран Содружества было похоже на ателье проката, где можно одолжить дорогое оборудование. В огромных аккуратных ангарах стояли газонокосилки, мини-экскаваторы и цементомешалки. Единственным, что добавляло торжественности, были флаги союзных государств, реявшие на высоких флагштоках у въезда. На площадку перед входом свернул грузовик – он остановился, оставив двигатель крутиться на холостом ходу, а с пассажирского места выскочил мужик в комбинезоне и принес несколько бухт электрического забора. По вентиляционным решеткам поверху я догадался, что это машина для перевозки скота. Подошел ближе и услышал овечье блеяние.

Овцы явно составляли здесь большинство наемных работников. Возле памятников они паслись целыми стадами. Ходили и щипали траву там, где пройтись вдоль заброшенных окопов с газонокосилкой было бы слишком опасно.

Овец увезли. Я отбросил мысли о собственном стаде и постучал в двери служебного помещения. Не получив ответа, вошел. У стола в глубине помещения сидели трое мужчин и две женщины в зеленых костюмах садовников. К доске-мольберту был прикреплен план территории. Их работа состояла в поддержании памятников войны в надлежащем состоянии, посадке цветов и замене выгоревших на солнце флагов.

– А вот Книги памяти с военных кладбищ, – спросил я по-французски, – куда они деваются после того, как их заполнят до конца?

С сомнением оглядев меня с ног до головы, один из садовников в конце концов проводил меня в подвал. К стальной двери, которую он отпер, не торопясь. Замигала ближайшая световая трубка, свет в бесконечно длинном архиве вспыхивал все дальше от входа. Здесь хранилось рукописное собрание тех многообразных форм, в которых за семьдесят лет выражалось горе. Потрепанные, политые дождем Книги памяти – так

выглядят попавшие под дождь и снова просохшие газеты с покоробившимися страницами.

– Здесь погибло шестьсот тридцать тысяч человек, – сказал садовник. – И это только одних союзных войск. И только за эту битву, тысяча девятьсот шестнадцатого года. У немцев свои захоронения, и там их лежит не меньше.

Он хотел знать, зачем мне нужно просмотреть все эти тысячи записей, которые никто никогда не листал, но выбросить которые было бы неправильно. Я сказал, что мои родители погибли здесь в 1971 году и я ищу последние слова, написанные их рукой.

Это была не вся правда. Я искал еще и другую подпись, оставленную мужчиной с одной рукой. Мне показали, на каких полках стоят книги с кладбищ из окрестностей Отюя и из окрестностей леса Хай-Вуд – из всех тех мест, где «Черная стража» сражалась в 1916 году.

На каждое кладбище приходилось по несколько томов. Исписанные авторучкой страницы с именами. Бумага надорвана порывами ветра. Подписи, оставленные в двадцатых годах, были четкими и стройными, иногда их были сотни за один и тот же день. Наверное, писавшим приходилось стоять в очереди. Короткие фразы на полях. «*We miss you dearly. Sarah is nine years old now and she is doing fine*»[75].

Родители солдат. Солдатские вдовы. Бенефицианты опустевшего фонда «Скоттиш уидоуз».

Я достал книгу за тридцатые годы, нарыл другую, за 1953 год, и увидел отличия в том, как в британских школах преподают чистописание. Увидел, как менялся характер записей по мере того, как старели и умирали родители солдат. Как война из кровавой семейной драмы превращается в событие национальной истории.

Но я не вчитывался внимательно в эти строки. Я проглядывал страницы в поисках размашистой подписи. Той, что я видел раньше, на контракте, которым Дункан дал Эйнару разрешение жить на Хаф-Груни «*until the end of time*». Может быть, именно о той подписи он больше всего в жизни жалел.

Столбцам этим не было конца. Чтобы найти нужную подпись, потребовались бы часы. Я решил пролистать книгу до сентября, месяца, когда битва за лес Дэро была наконец выиграна.

Вот он.

«Капитан Уинтерфинч, “Черная стража”» и сокращение «*ret.*» – в отставке, пояснявшее, что теперь он гражданское лицо. Он по-прежнему указывал свои звание и подразделение, хотя управлял фирмой, имевшей

отделения по всему миру.

Посещения повторялись ежегодно. Я везде находил его подпись в сентябре. Здесь в это время сыро, по-видимому, потому что на осенних записях было больше пятен от плесени и сырости, чем на летних. Страницы коробились, и встречались записи, неряшливые из-за неслушающихся ручек. Даты указывались в столбце возле разворота, и я увидел, что с 1928 года Уинтерфинч выработал свой ритм. Он приходил с утра в числе первых, предпочитая остаться в одиночестве со своей скорбью. Его подпись занимала две строчки, и вместе с ним никто никогда не приходил.

С 1931 года он приходил по утрам *раньше всех*. Каждый год капитан Дункан Уинтерфинч навещал могилы своих солдат. Сначала в Тьепвале, а потом методично объезжал все кладбища до единого. Толкал скрипучие калитки и входил. Этот ритуал был для него столь важен, что он не мог положиться на выложенные возле книг памяти принадлежности для письма, но всегда привозил свои собственные – авторучку с раздвоенным пером и зелеными чернилами.

Я стал листать быстрее, обнаружил пробел в пять военных лет и снова увидел его имя в сентябре 1945 года.

Буквы в подписи в этом году имели более выраженный наклон. Может, он побывал возле леса Дэро, увидел кратеры от выкорчеванных деревьев? Ведь ему это представлялось, должно быть, смесью предательства и кощунства.

Я продолжал методично искать. 1968, 1969…Он все так же приходил первым. Все так же подписывался как капитан Уинтерфинч. То же и в 1971 году. Я уже разобрался в этой системе и открыл записи за осень 1971-го. Начал с октября. Стал листать страницы назад, приближаясь к началу собственного летоисчисления.

Вскоре я знал, что Дункан Уинтерфинч в последний раз навестил своих падших однополчан ранним утром 23 сентября 1971 года.

В Тьепваль он впервые приехал не один. Под его подписью стояла другая, которую я не ожидал здесь увидеть. А еще меньше ожидал увидеть то, *что* она написала. Вот тут оно и обнаружилось, последнее желание мамы, высказанное перед смертью.

«Н. Дэро. Да пребудет с вами покой».

10

Я проснулся в три часа утра. Ночью мне померещилось, что со мной кто-то есть. Я включил свет и увидел белые дощатые стены. Сел, глядя на телефон. Подождал – вдруг зазвонит. Подготовился к тому, что меня навестят духи двадцатилетней давности.

Нет. Здесь только я один. Единственный, кто знает все, что случилось тем утром, кто слышал каждое произнесенное слово.

Я оделся. Включил кипятильник и сделал себе чашку крепкого растворимого кофе. Заключил, что никогда не смогу в точности воссоздать случившееся. Но я знаю *достаточно*. А правда мне нужна настолько достоверная, чтобы я смог обрести душевный покой.

Наверное, они договорились встретиться с Дунканом Уинтерфинчем в ресторане. Но там их беспокоили многочисленные посетители, раздражал шум и гам. Человек, выстроивший себе из дуба дворец в самом пустынном уголке Великобритании, не был настроен вести переговоры, перекрикивая чужие голоса. Тем более когда речь шла о самой важной в его жизни сделке, возвращении «Шестнадцати деревьев Соммы». Он покинул ресторан в гневе и раздражении, и всю ночь его, наверное, грызло копившееся десятилетиями негодование. По словам Гвен, он всегда просыпался в три часа. «*И тогда он требовал исполнения своих распоряжений*».

В ту ночь Дункан позвонил в наш номер в отеле. Резко задребезжал старомодный телефонный аппарат. Вероятно, он предложил моим родителям встретиться на рассвете в Тьепвале. Там он сможет рассказать, не отвлекаясь на шум автомобилей и на любопытные взгляды – никаких посторонних звуков, кроме щебетания птиц, – о наступлении «Черной стражи» в 1916 году. Последний рассказ ветерана войны. Под тем же небом, в том же воздухе, при том же освещении.

У британцев существует традиция, что земля, на которой умер солдат, принадлежит ему. *Этого* Эйнар не был готов признать, ослепленный их с Изабель историей, разыгравшейся в том же лесу.

Может быть, намерения у Дункана Уинтерфинча были добрые. В своем преклонном возрасте он вряд ли претендовал на многое. Просто не следил за временем. Вероятно, это мама предложила. «Давайте встретимся *сейчас*», – сказала она, по всей вероятности. Раз уж трехлетний сынишка все равно не спит, какой смысл сидеть в номере и дожидаться рассвета?

*** * ***

Утро выдалось прохладное. Я уселся в «Бристоль» и в полумраке двинулся по пустым улицам. Золоченый церковный шпиль едва виднелся на фоне неба. Так же, как двадцать лет тому назад. Не смыкающий глаз ребенок, его сонные родители. На пути к памятнику войны и ожидавшему их однорукому человеку. Я вспомнил свои ощущения, вызвал в памяти отблески уличных фонарей, скользившие по капоту, мягкое урчание мотора, желтоватый свет приборной доски, маму и отца на пути к смерти.

На возвышении я увидел Тьепвальский монумент. Колоссальный рельеф, невозможно сказать, уродливый или прекрасный, предназначенный оставаться там на века и транслировать крики умирающих.

Парковка была пуста. Слышно было только мои шаги по гравию. Памятник по мере моего приближения вырастал в темноте, а я думал: «*Ты был здесь раньше. Помнишь вздымающуюся к небу арку, пение птиц за спиной?*»

Я остановился и глубоко вдохнул сырой утренний воздух. Пошел дальше. Промелькнула мысль, что и Гвен может оказаться здесь. Потом я остановился перед каменным колоссом, поднялся по широким ступеням, вошел в зябкое царство освященного камня и оказался среди мертвых. Звук моих шагов гулко отдавался под сводами. Всюду темнота, прохлада, старина.

Прошло десять минут. Постепенно светало. На поверхности камней заиграл утренний свет, обнажив бесконечность высеченных знаков, ряд за рядом уходивших вдаль. Взошло солнце, и меня обступили семьдесят три тысячи имен.

Я нашел каменный блок, посвященный «Черной страже». Здесь они стояли, Уинтерфинч и мама. У него за спиной его солдаты, у нее – история жизни, начавшейся в Равенсбрюке. В эти утренние часы для их рассказов хватало времени. Рассказ мужчины, желавшего перед смертью разобраться в своей жизни. Рассказ женщины, оставшейся в долгу перед своей матерью, которой она не помнила.

Я поступил так же, как они. Поднялся по каменным ступеням основания, нашел замурованный в стену латунный ящик с изображением креста, достал из него Книгу памяти и расписался там – моя подпись была первой этим утром.

Почему не решить все там и тогда? Зачем им понадобилось в лес? Может быть, Дункан сделал маме деловое предложение. Назвал

определенную сумму. Потом мама с отцом поехали дальше вдвоем; может быть, это давало им время посовещаться…

Я покинул Тьепваль и отправился к ореховому лесу моей семьи. Размером примерно такой же, как березовый, но с таким густым подлеском, что кусты оттопыривали изгородь наружу. На отдалении в лесу виднелись несколько буковых деревьев, кроны которых вырисовывались на фоне голубого неба. Птицы молчали. Воздух был приправлен поднимающимся с земли прелым запахом.

Когда я подошел к заржавелой колючей проволоке, мне стало так тоскливо, что я чуть не повернул назад. Холодным потом одежду приклеило к коже. Перед глазами у меня встали выветрившиеся имена мамы и отца, высеченные на голубом саксюмском граните не видимой отсюда могилы, возложить цветы на которую у меня не хватало душевных сил.

И тут лес ответил мне. Налетел ветерок, донес ароматы осени. Шелест деревьев. Легкий проблеск дорогого воспоминания.

Рука отца в моей. Крепкая и сильная. В другой руке что-то новое, интересное. Игрушечная собачка.

А теперь – контуры еще одного воспоминания. Ничего четкого, только неуемность в теле. Мне не терпится. Потому что они всё говорят, говорят, и конца этому не видно.

И вот трехлетний малыш решил: пора уже им вспомнить обо мне. Шаловливом ребенке, каждое утро игравшем в прятки среди яблонь. «*И как бы ни устала, я играю с ним, потому что всякий раз как мы снова находим друг друга, это служит напоминанием о том, что жизнь имеет смысл*».

Они не собирались заходить в лес. Обо всем уже договорились, стояли и обсуждали последние детали. Хватка отцовской руки с каждой секундой слабела. И вот он выпустил мою руку навсегда. Я бросился прочь. Побежал туда, куда бегал всю свою жизнь. За деревья.

Правда состояла в том, что моих родителей убил я. Если б я не спрятался от них, они жили бы по сю пору.

*** * ***

Я заставил себя зайти туда. Хотя сердце выскакивало у меня из груди, а тело так противилось этому, что даже яички втянулись. Но я был, наверное, одним из десятков тысяч людей, которые чувствовали себя здесь так же.

Я перелез через ограду, осторожно опустившись на ноги с другой стороны, стал спиной к сетке и пошел вдоль нее, так что она цеплялась за одежду на спине. Роса с веток омывала мое лицо, как будто я шел сквозь строй слепых, опрыскивающих мне лицо жидкостью в некоей оккультной церемонии.

Найти дорожку оказалось невозможно. Вероятно, здесь с 1971 года никто не бывал. И я пошел дальше, все так же спиной к ограде, ощущая царапанье колючей проволоки, пока не добрался до полосы старых осин.

Осина. Она первой вырастает на вырубках, на заброшенных дорожках. Я нагнулся под ветку и двинулся в глубь леса по осиновому следу. Всюду заросшие окопы, воронки от снарядов и поваленные стволы. И дебри, которыми природа прикрывала нанесенные войной раны.

Я вышел на полянку. Голая, мертвая прогалина, где с трудом пробивалась трава. Шестнадцать больших воронок. Более узких и с более прямыми стенками, чем ямки от попаданий снарядов. Корни ореховых деревьев. Тысячи мертвых солдат подо мной. Смешанных с землей, как мука и вода смешиваются в тесте.

Вокруг по-прежнему стояла полная тишина. Я подумал, что если б случайно забрел сюда, не зная предыстории этого места, все равно почувствовал бы то же самое: что это уже не лес, что это место никогда больше не станет лесом. Это было массовое захоронение.

Вокруг высились возвышения, похожие на небольшие груды камней. Они были накрыты старыми листьями, опадавшими на них десятками лет, но кое-где просвечивал ржавый металл. Груды гильз от снарядов, собранных саперами.

Чуть в стороне стояло скрюченное дерево. На земле под ним лежало несколько крупных орехов. Должно быть, это дерево пустило корни еще до 1944 года. Потомок шестнадцати ореховых деревьев семьи Дэро.

Похоже, орехи были свежими. Такие же мы ели дома на Рождество. Под скорлупой их форма и поверхность напоминали мозг. Я поднял несколько штук и положил в карман. Сквозь кустарник увидел, что чуть дальше поблескивает вода.

Место, где они утонули. Должно быть, двадцать лет назад я убежал к запруде. Этой ночью я заставил себя пойти сюда, но теперь цепкие лианы собственного благоразумия обвивались вокруг моих ног, и я вспомнил про овчарку, у которой оторвало лапы. Поскрипывали мертвые листья. Внутренний голос просил меня вспомнить что-то, что-то определенное. Вспомнить что-то первоочередное.

Воспоминания перенесли меня в Хирифьелль. Вероятно, это была

первая зима без мамы и папы. Я сижу на плотном снегу и смотрю на Альму с дедушкой. Они стоят в дверях, легко одетые, в свете лампы на потолке. Говорят что-то, и я понимаю, что это обо мне. Но здесь, где я стоял *сейчас*, важным было то, что снег *держал меня* тогда. И что под ним была весна.

Мой взгляд постоянно возвращался к стволам деревьев и к воде, поблескивающей на дне долины, спускающейся от ничейной земли с ее газовыми снарядами и верной смертью. И я вдруг понял, *что* должен сделать. Я будто всю жизнь проходил, держа в руках кусок шнура и не зная, зачем он мне. А теперь понял, что это тетива лука, сплетенная из пуповины.

Я выбрался из леса и поехал на другую сторону запруды. Продираясь сквозь заросли и грязь, спустился к тому месту, где, видимо, стоял рыбак, ловивший карпов. Тина была плотно утоптана, кругом валялись разбухшие рыбьи потроха и окурки. Значит, рыба тут хорошо ловится до сих пор.

Я поспешно скинул с себя твидовый пиджак, снял обувь и брюки. Босиком вошел в воду, и ноги сразу погрузились в ил, из которого поднялись зловонные гнилостные пузыри. В сторону прыснула жаба. Я лег плашмя в грязную воду, и мои руки облепила ряска. С трудом продираясь сквозь тину, я поплыл вперед.

Отсюда пара сотен метров. Тишина и запустение, слышны только всплески моих рук и ног. Я повернул голову набок и огляделся. В ряске за мной оставалась неровная полоса воды. Было такое ощущение, будто за мной наблюдают. Словно я двигаюсь к яблочку мишени.

Я подплыл другому берегу. Над ним низко склонялись деревья, их ветви свешивались в воду.

И вот я там, в том месте, где их настигла смерть.

Вода держала меня. Проплывая над снарядами, я пытался найти прошлое, с каждым взмахом руки как бы отодвигая от себя бесконечную завесу собственной памяти, – и вот я, наконец, проник в самую сердцевину.

Я вспомнил.

Я вспомнил.

Не как связное происшествие, а как серию неизгладимых впечатлений.

В густых кустах мама с отцом. Размахивая руками, они выкрикивают мое имя, а во мне, что тогда, что теперь, возбуждение игры перерастает в зловещий ужас.

Они бросились к берегу, и тут в воздух поднялось ядовито-зеленое облачко. Мама упала, скорчившись, попыталась ухватиться за отца. Потом они оба встали, но тут же скатились с илистого берега в воду. Барахтались, пытаясь выбраться, но тела не слушались их.

Умирали они долго. Первым прекратил шевелиться отец. Поверхность воды разгладилась. Он лежал, раскинув руки, и вода над его лбом слегка подрагивала, словно отражение последних мыслей. Мама лежала на боку, с вытянувшимися по течению реки волосами, а на ее лице, повернутом в мою сторону, застыло успокоение. Ее глаза говорили: ты в безопасности, я могу умереть.

Но после этого я ничего не помнил. Только огромную черную пустоту. Я словно в трансе вплавь вернулся назад, ухватился за низко наклонившуюся ветку и выбрался на берег, где валялись рыбьи потроха и затоптанные коробки от сигарет.

Сердце колотилось. Я попытался вытереться рубашкой, но оставался мокрым и не сразу сообразил, что продолжаю потеть от ужаса. И вот когда я натянул на себя старый твидовый пиджак, в голове у меня словно вспышкой высветилось на мгновение важное воспоминание. Я узнал эту смесь запахов. Холодного пота, влажного твида и табака «Балканское собрание».

Больше я ничего не помнил. Но стало совершенно ясно, что произошло.

Крики моих родителей. Приглушенный хлопок в лесу. Незнакомец, приблизившийся ко мне и уведший прочь.

С этого момента перед моей памятью опустился защитный занавес.

Спас меня Дункан Уинтерфинч. Должно быть, когда я убежал, он последовал за родителями – может быть, помогал им искать меня. Потом услышал на отдалении свист ядовитого газа, увидел, как маму с папой окутывает зеленый туман, ощутил отчаяние. Вот оно, снова… Такая же бессмыслица, что и та, какую он день за днем переживал в 1916-м. Человек падает замертво. Его не спасти.

К тому времени я, видимо, выбрался из своего укрытия. Спасайся, кто может! Он подхватил меня рукой и прижал к груди с такой силой, что оставил синяки. Прижал носом к своему прокуренному пиджаку.

Я превратился в его оторванную руку.

Мы бросились бежать по Спейсайд-авеню. От ядовитого газа защиты нет. От него можно только убежать. Он швырнул меня в машину и рванул с места. Напуганный старик, распоряжающийся империей лесоматериалов и корящий себя за смерть двух человек, и плачущий ребенок – куда им ехать в шесть часов утра?

Наверняка в летний дом.

Должно быть, позже в Отюй приехал Эйнар. Услышал сирены, узнал, что два человека мертвы и что пропал ребенок. Заперся в отеле. Стоял в

пустом номере, осмысливая случившееся. Поступил он как в 1944-м. Забрал на память единственную бесценную вещь, с дорогим для него ароматом: старое летнее платье Изабель. И поехал к тому единственному человеку, который мог что-то знать: к Дункану Уинтерфинчу. Может быть, я радостно выбежал навстречу, увидев знакомое лицо. Редкий случай в жизни Эйнара. Чтобы кто-то был рад встрече с ним.

И тут мне вспомнилось, что писал Эйнар в одном из писем. В 1944 году он скрывался у друга по имени Шарль Бонсержан. «*Он вырос в семье рыбаков в сутках езды оттуда*».

Семья рыбаков. *Вот* правильный след. Ведь где же им жить, тем, кто из поколения в поколение кормится рыбной ловлей? Не на черноземье же.

А на побережье. В месте вроде Ле-Кротуа.

11

Поездка на весь день в 1944 году. Пара часов на машине сегодня.

Ле-Кротуа напомнил мне Леруик. Тот же соленый запах, те же суденышки в море. Я не рассчитывал на многое. Найти хоть что-то, свидетельствующее, что меня туда *на самом деле* привез Эйнар. Дорога туда пролегла через дельту Соммы, гигантское речное устье с песчаными дюнами, болотцами и стоячей водой. Отличное место для утиной охоты, здесь неделями можно было бы заниматься ею.

Неширокая главная улица, горстка домов у песчаного берега, пара-тройка магазинчиков и заколоченное здание школы. Я бродил от дома к дому, разыскивая врачебный кабинет. На скамейке сидели два рыбака. Я собирался было обратиться к ним, но не стал – очень уж неприветливо они посмотрели на меня. А вот киоск у площадки с видом на море стоял тут лет двадцать, не меньше, как и обслуживающая его кругленькая тетенька.

– «Голуаз», – сказал я ей. – И еще зажигалку, будьте любезны.

Не оборачиваясь, она протянула руку за спину, вытащила нужную мне пачку в девятнадцать сигарет и положила ее на прилавок.

– А сколько у вас здесь врачебных кабинетов? – спросил я.

– Два, – сказала она. – Хотите бросить курить?

– Да нет пока. Я вообще-то ищу одного старого врача. Он принимал тут в семьдесят первом году.

– В семьдесят первом?

Я ответил вежливым «да».

– Тогда только один и принимал. *Доктор Буссат*. Работал до самой смерти.

– А когда он умер?

– В восьмидесятом, кажется. А может быть, в семьдесят восьмом… Не помню. Может, в семьдесят девятом?

– А не скажете, где располагался его кабинет?

– Он теперь закрыт.

– А раньше где был?

– Прямо под боком у мастерской «Ситроен», – показала продавщица, высунув руку из окошка киоска. – Когда дети были маленькими, я с ними ходила к нему: оба переболели ложным крупом. Прямо по улице, до конца.

Приемная врача, в которой меня обнаружили, теперь использовалась как комната отдыха. Там сидели четыре механика, которые сначала сказали,

что я ошибся, а потом покачали головой, то ли не желая вникать в мои проблемы, то ли и вправду ничего не зная.

На них была рабочая обувь и закапанная маслом спецодежда. Свободные люди, не обязанные ни бриться, ни вставать перед кем-либо, ни держать ответ перед теми же. При этом с дружной подозрительностью относящиеся к чужакам вроде меня.

– А на что вам знать про того врача? – спросил один из них. – Он же давно умер.

– Он помог мне в детстве, – сказал я. – Я просто хотел снова увидеть его кабинет.

Мужики покачали головами. То, что было раньше и прошло, интересовало их мало.

Я огляделся. Голые стены, табуретки вокруг стола с пластиковой столешницей, календарь «Пирелли» с полуголыми бабенками, открытый на том летнем месяце, где фото самой красивой из них.

Где-то здесь меня оставили. Теперь тут только полные пепельницы, сваленные в углу запчасти и грязный пол. Я с тем же успехом мог зайти куда угодно и почувствовать ровно то же самое. А именно ничего.

Механики отряхнули комбинезоны от табачных крошек и разошлись. Но один остался – старый дядька с перекошенной губой. Он сидел с краю и не проронил ни звука. Теперь, с запинкой выговаривая слова, пристально смотрел на меня, видимо, опасаясь насмешки.

– Доктор Буссат лечил меня после войны, – медленно выговорил он. – В гестапо меня били дубинками. – Речь давалась ему с трудом. – Вообще-то раньше я торговал рыбой, – сказал он, – но м-м-механику не н-н-надо много говорить. А зачем *вам* нужно узнать про господина Буссата?

Почему бы и не рассказать? Я пересказал свою историю, а потом мы оба огляделись в комнате, словно теперь и для моего собеседника она предстала в образе приемной.

– Помнится мне, что-то об этом писали в газете, – сказал он. – Но вы, может быть, и теперь сможете что-нибудь тут найти.

Мой взгляд упал на стоящий в углу комод. Темно-коричневый комод, который местные жители уберегли от острых кромок деталей для двигателей и инструментов. На нем лежала груда старых каталогов запчастей к «Ситроенам».

Комод был изготовлен в неподражаемом стиле ар-деко. Я присел на корточки и заглянул снизу на его дно, но клеймо принадлежало не Эйнару. На нем были изображены рыбка, инициалы Ш. Б. и год – 1940.

Шарль Бонсержан. А ведь это местечко даже меньше Саксюма. Память

о людях сохраняется тем дольше, чем меньше улиц в том месте, где они жили.

– Остался от Буссата, – с напряжением выговорил механик. – Рука н-н-не поднялась его в-в-выбросить.

– На нем написано «Ш. Б.», – сказал я. – А Шарль Бонсержан хорошим был столяром?

Мой новый знакомый не понимал моего выговора. Я попробовал еще раз, и тогда он сказал:

– А, да. Шарль-то. – Он наклонил голову, ожидая от меня пояснений, откуда я знаю это имя.

– Вы с ним знакомы? – обрадовался я.

– Да нет, не знаком.

Он снова начал заикаться, поэтому переждал немного и лишь затем выговорил:

– Но я знал, кто это. Ле-Кротуа – небольшой городок.

Механику пора было идти чинить машину. Но, вероятно, ему стало любопытно узнать, что я собираюсь делать. Он выдавил из себя несколько обрывочных фраз, как будто наломал веточек для растопки костра.

– Шарль был на несколько лет старше меня. В его семье все рыбачили, но у Шарля оказались золотые руки. Он поехал в Париж и выучился на столяра. Работал там, пока не разразилась война. Вернулся сюда, стал изготавливать мебель для местных.

– Это он сделал мебель для кабинета доктора Буссата?

– Может, и он. Красивая, помню, была. Вся в том же стиле, что этот комод.

Старик ждал, что еще я ему расскажу. Хотел проверить, есть ли правда в деревенских сплетнях. Я спросил, не было ли у Шарля приятеля из Норвегии. Или по имени Оскар Рибо. Механик покачал головой, сказав, что настолько хорошо они знакомы не были. Я видел, что наш разговор ему уже наскучил.

– Шарль столярничал только в молодости, – сказал он. – После войны он уж не столярничал.

– А что так?

– Он участвовал в *La Résistance.* Его тоже схватило гестапо. Пытали его. Два пальца отрезали. Что-то еще ему повредили, из-за чего у него руки стали дрожать, вроде как у меня губа. Работать-то он работал и потом. Они саботажников держали в одном большом доме до самого освобождения. Но такие резные вещи он уже делать не мог.

– Как интересно, – сказал я, зная, что тут мне придется

довольствоваться лишь этой правдой.

Я попытался поставить себя на место Эйнара. На руках у него ребенок. Голова идет кругом из-за только что случившейся трагедии. Поблизости никого, кто мог бы вникнуть в его положение. Все перевернулось вверх дном. Уже ничего не изменишь. Дочь умерла. Племянник умер. Внук перепуган. Остается обратиться к другу, у которого он скрывался и раньше.

Для Эйнара Хирифьелля это оказалось продолжением его побега 1944 года. Побег привел его в Ле-Кротуа. Может быть, сам Эйнар и позвонил дедушке. Сообщил ему весть, которая, он знал, подкосит брата и возбудит ненависть, и от этой ненависти будет невозможно избавиться до конца жизни. Но лишь бы я был в безопасности. Он попросил дедушку приехать сюда, но дождаться утра понедельника, когда откроется кабинет врача. Притвориться, что ничего не знал, чтобы ему не отказали в усыновлении, не признаваться, что ребенка увез, а потом подкинул его собственный брат.

Шарль Бонсержан договорился с врачом, и у Эйнара образовалась чуточка времени на общение со мной. Хоть самая малость, прежде чем пришлось возвращаться на Хаф-Груни, к дождям и камням.

Четырьмя днями измерялась не загадка моего исчезновения. А благородство двух моих дедушек.

Механик сидел и смотрел на меня. Потом прервал молчание.

– Кстати, о Шарле, – сказал он. – После войны доктор Буссат пытался ему помочь, но от дрожи излечить его не удалось. Так что Шарль занялся тем же, чем его отец, – стал рыбачить.

– А кто-нибудь из его родных жив? – спросил я.

– Чьих, Буссата или Шарля?

– Шарля.

– Да живы-то они живы…

– Но они тут не живут?

Мой собеседник покачал головой.

– Уехали. Из них Шарль последним был, кто рыбачил. Странная история, собственно говоря.

Я погрузился в задумчивость. Механик поднялся, давая понять, что ему пора браться за работу.

– А что такое? – снова подал я голос.

– Чего?

– Вы сказали «странная история».

– Ну, когда немцы оккупировали побережье, они первым делом попортили все рыбачьи лодки. Сожгли или разбили, чтобы невозможно было бежать в Англию или контрабандой ввозить оружие. После

освобождения Шарль первым принялся ловить рыбу.

– А что тут странного?

– Да лодка необычная была. Огроменную такую лодку он построил, чтобы ставить сети у берега. Как раз тут объявился один плотник, помогал ему. Не представляю, где они ухитрились сразу после войны раздобыть материал. Крест на кладбище, и тот не из чего было сколотить. Но лодку эту радостно было видеть. Народ изголодался.

Из кармана комбинезона у механика торчала авторучка. Я попросил ее у него на минутку, после чего разорвал обертку «Голуаз», высыпал сигареты в карман рубашки, а на внутренней стороне обертки набросал очертания «*Патны*».

– Такая была лодка? – спросил я.

Механик покосился на мой набросок.

– Вы же совсем обычную лодку нарисовали. Они все тут похожи на эту.

Я скомкал бумагу в шар. Встал, выглянул в окно.

– А эта его первая лодка, она еще здесь?

– Нет, он ею недолго пользовался. На следующий год раздобыл другую, побольше, на ней можно было в море выходить. Оно и к лучшему. Его жене первая не нравилась. Он поставил ее в док на песчаной отмели, где Сомма впадает в море. Место труднодоступное, повсюду плавник. Я там как-то в семидесятые годы охотился на уток. Тогда лодки там уже не было.

Я спросил, чем жене Шарля не угодила первая лодка.

– По традиции суда называют именем женщин из своей семьи. Жены, там, или матери, или дочери. Его жену звали Даниэль.

– Ну и что?

– Народ удивлялся, что на носу лодки чужое имя. Лодка называлась «*Изабель*».

*** * ***

Я покинул место, где меня нашли. Выехал из Ле-Кротуа мимо перекатывающихся в канавах выцветших пластиковых пакетов. Проехал по берегу вдоль Па-де-Кале. Приезжал я сюда с одним вопросом, а возвращался с двумя ответами.

Я представил себе Эйнара в те дни, когда пришло освобождение. Члены семьи Дэро были казнены, Изабель исчезла. Он, конечно, понимал,

что ее поиски потребуют много времени. И что Уинтерфинч скоро пришлет людей за орехом.

Как спрятать огромную партию ценной древесины, по его мнению, принадлежавшей Изабель?

Построить из нее лодку.

Последним испытанием для подавленного горем столяра-краснодеревщика, научившегося чинить лодки для норвежских моряков, нашедших пристанище на Шетландских островах, явилось возвращение в Отюй. Вместе со своим верным товарищем они свалили деревья, вынесли распиленные бревна из забросанного снарядами леса по надежной тропке и перевезли их на побережье.

Вдвоем с Шарлем Бонсержаном, с которым десятью годами раньше они стояли у верстаков, создавая мебель в стиле ар-деко, краснодеревщики подкладывали стволы ореха под циркулярную пилу и распиливали их на самые лучшие заготовки, виденные ими в жизни. Придавали им форму ружейных лож, но размером чуть больше нужного, чтобы из них можно было собрать шпангоуты с их специфичным легким изгибом.

В сыром приморском климате дерево высыхало бы постепенно, не трескаясь. Эйнар окрестил лодку именем «*Изабель*», чтобы та могла сама найти ее, когда его не станет. Они с Шарлем спустили лодку на воду. Забрасывали сети, таскали рыбу, зарабатывая деньги на судно побольше. Опрокидывали «*Изабель*» килем вверх на песчаной отмели в безлюдном, пустынном устье Соммы. Чтобы деревянное судно разбухло, требуется много дней, а что лодку украдут, было маловероятно. Так это и продолжалось до 1971 года.

Если б я не убежал в лес, Уинтерфинч получил бы свои долгожданные ружейные заготовки. Теперь же его жизнь круто поменялась, и ее остаток он посвятил Гвен. На далеком Хаф-Груни Эйнар принялся делать гробы. Немногочисленные островитяне выказывали недовольство пугающим зрелищем, часто возникавшим перед ними в сумерки, требовали от него добыть себе другую лодку. Вот и повод забрать «*Изабель*» к себе. К этому времени буквы ее имени выцвели, и он дал ей другое – «*Патна*».

Я так себе это представил. Как-то в начале семидесятых годов двое мужчин в возрасте под шестьдесят пересекли Ла-Манш. Вероятно, на рыбацком судне, волоча на буксире большую гребную лодку под видом спасательной шлюпки. Вполне обычная картина. Посильный морской переход. В хорошую погоду дней пять-шесть. На север вдоль побережья, потом к Шетландским островам. А позже, через несколько лет после смерти Уинтерфинча, под «*Патной*» закончилась жизнь Эйнара.

*** * ***

Над морем носился ледяной ветер. В Ла-Манше вздымались белой пеной волны.

Я подумал о том, какая сейчас погода в Норвегии. Скоро выпадет снег. Наверное, овцы потянутся вниз, в леса, не желая пастись на голых вершинах в сильный ветер, под мокрым снегом. Позор для хуторянина последним спустить своих овец с гор.

Надо торопиться.

12

Двумя днями позже я стоял на палубе парома, идущего к Ансту. «Гейра», рыча, тяжело и мощно двигался вперед. Видимость была плохая, в воздухе кружились снежные хлопья, дул сырой и холодный ветер. Меня сжигало нетерпение. Раз уж *здесь* погода такая, дома овцы, должно быть, уже бродят по брюхо в снегу.

Анст я уже знал, как родной. Я стоял впереди на носу, жевал шоколадку из автомата, причуды которого хорошо изучил и помнил, как звенят монетки, проваливаясь в прорезь. За моей спиной работали все те же парни, в тех же комбинезонах.

Загонял я «Бристоль». Руль дрожит, вылетело освещение приборной доски, один клапан неприятно тикает.

Домчал бы он только меня до лодочного сарая, а там и отдохнет…

Я скорее спустился к берегу. Трава сырая, камни потемнели от дождя. Надо мной пролетел буревестник. Я ухватился за канат, протянутый вдоль крыши сарая, и, цепляясь за него, добрался до ворот. Белый крест четко вырисовывался на сером фоне сарая и неба.

Навесного замка нет. Вместо него в ушки забита деревяшка. Внутри пусто. Только глухое эхо плещущейся воды. Я выпрямился и посмотрел в сторону Хаф-Груни. Остров высился в бесконечной, казалось, туманной дали, пустынный и серый. Словно ничего из того, что я пережил, и не было. Словно снимка на дедушкиной фотопленке и не существовало.

Вскоре я уже стоял перед Квэркус-Холлом. Навстречу мне не попалось ни машины, ни человека. Даже овцы попрятались. Большой дом казался еще более холодным и старым. Трава гнулась под порывами ветра, серо-коричневый зайчишка нырнул в норку возле самой стены.

У меня снова возникло ощущение, будто прошло ужасно много времени. Десять или двадцать лет.

Я подошел к каменному домику и там, наконец, увидел нечто из настоящего времени. На приступке стоял битком набитый пакет с мусором – ручки завязаны узлом. Пластиковый пакет из «*Клайвз рекорд шоп*».

Дверь открыта. В доме тепло, но самой Гвен не видать. В гостиной жужжал тепловентилятор. На плите стоял чайник с водой. Рядом с ним чашка. Спала она, очевидно, на диване, закутавшись в плед. Я наклонился к нему носом и почувствовал ее запах. Аромат парфюма, который я в последний раз уловил в отеле базилики. Тогда я постепенно перестал

ощущать его, а теперь он вновь окутал меня.

Оставалось еще одно место. Сарай для лодок. Я спустился по дорожке. Начиналась метель, на лице у меня таяли снежинки. И тут я ее увидел. На темной воде, с поднятыми веслами, «*Патна*» покачивалась в такт накатывающим волнам.

На голове у Гвендолин была черная вязаная шапочка. На щеки налипли мокрые пряди волос.

– Гвен! – крикнул я.

Она резко обернулась. Не казалась удивленной, что видит меня. Только отстраненной, бесстрастной. С расстояния сорока метров было видно, что все кончено.

Она вставила весла и принялась грести. Вот этого у нее, у Гвендолин Уинтерфинч, не отнять. Она и лодки – это единое целое. Эта девушка была словно спаяна с берегами Шетландских островов. Она бы выглядела так же четыреста лет назад. Зрелище столь же древнее, как и дерево, из которого сделана лодка, в которой она сидела.

Гребла она не к сараю для лодок, а к большому плоскому камню невдалеке от меня. Хотела, чтобы я поднялся на борт? Вскоре мне стал слышен плеск весел, и она поставила «*Патну*» бортом к камню. Я взялся за планшир, перекинул одну ногу в лодку и, оттолкнувшись другой от камня, почувствовал, что мое тело стало частью волнующегося моря.

– Я разве не просила тебя не искать меня больше? – тихо сказала Гвен, а потом подняла голову и смерила меня взглядом. Я не мог разобрать, с каким выражением ее глаза смотрят на меня. Словно она сама с собой договаривалась о том, что делать дальше.

– Просила, – признал я.

– Тогда почему ты здесь? – мягко поинтересовалась она.

– Хочу еще раз увидеть Анст, – ответил я, окинув взглядом просмоленные планки, рыбины и отполированные до блеска штоки уключин.

Гвен пожала плечами.

– Почему ты не взяла «*Зетленд*»*?* – спросил я.

– Захотелось погрести. А что, ты собирался в Норвегию на гребной лодке?

Я пожал плечами в ответ. Было же совершенно очевидно, что для столь скорого возвращения на Шетландские острова могло быть только две причины. Или встретиться с ней, или заполучить «*Патну*». Но на сей раз правда состояла в том, что мне хотелось и того, и другого.

– А ты куда направляешься? – продолжил я расспросы.

– Ну, – сказала она, – скажем, на Хаф-Груни? Ради прошлого?

Гвен была уже не той разъяренной отвергнутой девушкой, что сбежала из отеля во Франции. Теперь в ней сквозило какое-то возбуждение, какая-то горячность, словно она почувствовала облегчение, приняв какое-то важное решение.

– Гвен, – начал я, – я думаю, что Эйнар…

– Я увидела огни твоих фар, – перебила она. – Ни за что бы не подумала, что ты вернешься сюда. Понятия не имею, что ты разузнал во Франции. Но раз уж ты здесь, я отдам тебе одну твою вещь.

Гвен выпустила левое весло из руки, запустила ее в карман куртки и протянула мне извлеченный оттуда предмет, после чего снова схватилась за весло и стала грести мощнее.

– Какое-то подозрение у меня возникло еще в нашу первую встречу, – сказала она. – Какое-то странное предчувствие о тебе и обо мне.

А дала она мне игрушечную собачку, сделанную Эйнаром в 1971 году. Я представлял ее себе другой, поменьше, похлипче. Но это *точно* была она. Точно такая, как собачка на фотографии, и руки мои тоже ее помнили. Прикосновение к полированному дереву, изгибы спинки, членики ног…

– Да как же она… – начал было я и тут ощутил, что прошлое снова вступило со мной в контакт. В основание игрушки была вставлена пластина на пружинке, и если на это основание надавить, собачка кивала головой, ноги под ней складывались, а хвостик вилял. И тут кончики моих пальцев нащупали хорошо знакомый им резной рисунок. Белку, прикрывающую мордочку хвостом.

– Я всю жизнь думала, что это дедушка мне ее подарил! – прокричала Гвен сквозь вой ветра. Она запыхалась и говорила только в паузах между взмахами весел, которые уже умчали нас далеко от берегов Анста. – Но когда я брала ее в руки, дедушка становился таким странным… и он разрешал мне играть с ней только в моей комнате в Квэркус-Холле. Я нашла ее позавчера среди своих игрушек. Она *твоя*. Поэтому я и сбежала тогда из отеля. Когда увидела на фото тебя с этой собачкой, оставалось только признать правду. Что когда ты исчез, дедушка был там. И что осенью семьдесят первого я была с ним в летнем доме.

Настала долгая пауза. Слышно было только поскрипывание весел и плеск волн вокруг лодки.

– Значит, у вас был-таки летний дом? – нарушил я молчание.

– Я ничего из этого не помнила. Убежав от тебя, я сидела в Амьене и ревела. Потом позвонила нашему управляющему делами. Он рассказал, что дом продали в семьдесят втором году. Сообщил мне адрес. Я взяла такси, и

в конце концов мы этот дом разыскали. Он плохо сохранился, вид обветшалый: в нем жил какой-то чудаковатый безработный. Стоя перед домом, я почувствовала, как пахнет земля из сада.

Я подумал: вот все и встало на свои места. Но меня охватило горькое раскаяние в том, как я к ней относился.

– А когда я вошла, – продолжила Гвен, – мне слабо припомнилось, как я сидела на полу и играла с кем-то. Должно быть, игрушечная собачка была у тебя с собой. Вероятно, сразу после этого пришел Эйнар. Наверное, я тогда отобрала у тебя игрушку и спряталась. Мне же никогда не приходилось ни с кем делиться. И она отправилась с нами на Шетландские острова.

Я надавил на основание собачки. Все четыре ноги у нее подкосились, и она легла на живот. Затем я стал давить слабее спереди, и она подняла голову. Как собака, которая радуется, поняв, что хозяин ведет ее гулять.

– Не надо страшиться этой истории, – сказал я. – Ведь твой дедушка спас мне жизнь.

Мы были уже недалеко от Хаф-Груни. Вокруг камней кипели буруны, скоро будет видно дома. Я все чаще поглядывал на стыки между планками, на дно и борта «*Патны*».

Я рассказал Гвен, что побывал в том лесу. Рассказал о синяках, которые, видимо, Дункан оставил на моем предплечье, когда прижимал меня к телу своей единственной рукой. Она слушала, но смотрела по сторонам, словно все это было уже не важно для нее.

– Почему Эйнар не обратился в полицию? – рассеянно спросила Гвен.

– Вероятно, ему это даже в голову не пришло. Что хорошего могло из этого выйти? Его дочь была мертва. Он знал, что меня ему придется отдать. Что брат навсегда возненавидел его. Он хотел только, чтобы подольше длились эти последние часы.

– Как ты думаешь, они простили друг друга? Эйнар и дедушка?

– Кто знает, – сказал я, пристроив собачку себе на колено. – Давай я погребу?

– Да нет…

Мы замолчали. С неба то валил снег, то сыпал дождь. Море бурлило под килем. Руки Гвен на веслах совсем промокли, кожа вокруг ногтей сморщилась.

– А зачем нам, собственно, плыть на Хаф-Груни? – спросил я. – Что нам там делать?

– Давай побудем там несколько дней, – предложила она. – Ты и я.

– Я не могу, Гвен. Мне надо домой, согнать овец с гор.

Она обернулась к острову, выправила курс и продолжила грести. Лишь поинтересовалась:

– Тогда почему ты сейчас здесь?

Мы же давно расстались друг с другом, подумал я. То, что я отвечу ей сейчас, будет лишь словесной шелухой, в которую будет облечено воспоминание о расставании.

– Потому что эта лодка сделана из грецкого ореха, – сказал я.

Отреагировала девушка странно. Она что, была… *разочарована?*

– Должно быть, дело было так, – снова заговорил я и рассказал ей, что когда-то лодка носила имя «*Изабель*». – Вероятно, она такая неповоротливая из-за того, что шпангоуты сделаны из ореха.

Гвен перестала грести. Переложила весла, чтобы высвободить одну руку, стащила шапочку и вздыбила волосы пальцами.

– Не одни шпангоуты, – сказала она. – Вся лодка сделана из грецкого ореха. Даже банка, на которой ты сидишь. Здесь древесины хватило бы на две лодки, но когда она спущена на воду, этого не видно. Это гениальный обман зрения. Киль сидит очень глубоко. Вероятно, он из массива ореха. Самые плохие части снаружи, на виду, но и они невероятно высокого качества. Толщина досок три дюйма. Это стандартная толщина заготовок для лож охотничьих ружей.

Мы подошли к Хаф-Груни с южной стороны. В поле зрения появились домики на берегу и прибрежная отмель, на которой скапливался пла́вник.

– Когда ты узнала? – спросил я.

– Когда вернулась домой из Франции. Сидела в своем домике и обдумывала происшедшее. Вспомнила, что «*Патна*» появилась у Эйнара в то же время, когда он начал сколачивать гробы. Лодка для лова сельди должна быть крепкой. Но чтобы *такой* крепкой… Я спустилась к сараю. Расковыряла деготь. И точно, грецкий орех.

– Ты уверена?

– Обернись, посмотри под банкой.

Я опустился коленом на рыбины и заглянул вниз. На черной доске был расчищен овал до самого дерева. Даже в этом тусклом полусвете мне видно было, что древесина столь же великолепна, что и на диксоновском дробовике. Словно Гвен протерла пальцами запыленное окно, и глазам открылся вид на сказочный замок.

Я вернулся на место. Гвен, нагнувшись, достала что-то с рыбин, а потом снова взялась за весла и подняла их высоко, так что с них капала вода. Мы тихонько покачивались у мелководья перед берегом Хаф-Груни. Я попытался думать, как быть дальше. Есть же у нас какое-то будущее.

– Давай поделим все пополам, – сказал я. – Они выросли на ферме моей бабушки. Так что древесина принадлежит все же моей семье. Но узор на ней принадлежит солдатам.

Гвендолин покачала головой. Лодку снова начало сносить прочь от Хаф-Груни.

– От этого пропасть между нами станет только заметнее, – сказала она. – В глубине души ты и сам это понимаешь. Если б это была обычная лодка, ты поплыл бы в Леруик, добрался паромом до Норвегии и отправился сгонять овец. Мне спешить некуда. Если ты захочешь, я перезимую у тебя. Но деньги всегда будут стоять между нами.

– Так возьми все, – предложил я.

– Теперь легко говорить. Это жалкое корыто стоит целое состояние. На эти деньги можно купить два таких хутора, как твой. Я могу… пусть не достроить Квэркус-Холл, так хотя бы привести в порядок уже построенное. Деньги меняют человека, Эдуард. Ты мне предлагаешь взять все, но ты лжешь себе. Никто так не делает. Даже ты. В глубине души ты считаешь, что все это принадлежит тебе. Твоему роду. Ты будешь следить за тем, как я трачу деньги. Тебе будет казаться, что я растранжириваю твое наследство. Возненавидишь каждую купленную мною сумку. Будешь задаваться вопросом: «Что бы я сделал, если б *“Патна”* стояла в сарае, когда я туда добрался?»

– Не знаю. Вероятно, разобрал бы ее на части. И – сел бы и задумался.

– Неужели?.. Вот только интересно, что бы ты сделал, подумав.

Мне вспомнилось то, что моя мать написала в книге посещений на военном кладбище.

– Наверное, мама предпочла бы продать все твоему дедушке. Без всяких экивоков.

– *Она-то* конечно. Но она не была влюблена ни в кого из Уинтерфинчей. А тебя очень скоро одолели бы сомнения. Стоит нам немного повздорить, и тебе уже кажется, что ты предал Эйнара, предал весь род Дэро. Что Дункан Уинтерфинч так и не выполнил свою часть договора. В какой-то жизненной ситуации тебе понадобятся деньги. Ты будешь проклинать себя за то, что расстался с ними, а меня – за то, что я приняла их. Но знаешь, что *мне* будет всего обиднее?

– Так расскажи. Тут тебе, похоже, есть из чего выбирать.

– Твоя подозрительность. Ты никогда не перестанешь думать, что я связалась с тобой, чтобы найти орех. Ты мне никогда не верил, а сейчас веришь? Не чувствуешь, что у тебя ноги промокли?

Я посмотрел вниз. Между рыбинами в лодку просачивалась вода. Гвен

сделала резкий гребок, и от этого вода с бульканьем зачавкала вокруг моих ботинок.

– Ты что сделала?! – воскликнул я.

– Я не хочу, чтобы нам нужно было выбирать. Пока ты заглядывал под банку, я вывернула спускные пробки. – И она показала мне два широких латунных болта.

– *Ты что, спятила?!* – крикнул я, потянувшись за ними. – Вставляй назад!

Она отшатнулась. Лодка закачалась от наших движений – чтобы не опрокинуться, мне пришлось вцепиться в планшир.

Гвен швырнула болты в море. На мгновение в воздухе блеснула латунь – пока они, вращаясь, не ушли в темноту. Я хотел схватить черпак, а его и нет.

– *«Зетленд»* стоит там, – сказала она, наклонив голову в сторону сарая на Хаф-Груни. – Я вытащила «*Патну*» на воду, поставила «*Зетленд*» в сарай и переплыла обратно. Чтобы мы после этого могли добраться до дома.

Мы всё глубже погружались в воду. Хаф-Груни был недалеко, но лодка шла с трудом. Нас сносило прочь от берега, к черной шхере. А девушка даже и не пыталась грести.

– Господи, Гвен! – закричал я. – Такими вещами не разбрасываются!

– А я что говорила? – отозвалась та. – Вот теперь ты показал, кто ты, собственно, такой. Наконец-то всплыла твоя жадность.

– Нет, – сказал я, перехватив весла. – Нельзя дать ей пропасть. Разве дело только в деньгах? В ней же четыре сотни лет! Целая военная история.

Гвен вдруг вскочила, выдернула весла и швырнула их в море.

– Не бывать этому! Лодка сейчас пойдет на дно. А мы выплывем на берег и начнем всё снова. Мы справимся. До отмели недалеко. Обсохнем, выспимся – и будем вместе, сколько доведется. Пусть все говорит за то, что это невозможно. А я хочу, чтобы у нас получилось!

Я рванулся за веслом. Лодка накренилась, и в рукава мне затекла вода. Я едва не вывалился за борт, но успел схватить весло, втащил его в лодку и попробовал дотянуться им до второго весла. Однако это второе весло отнесло в сторону, а вода все поднималась, постепенно окрашивая нашу одежду в черный цвет.

– Да пусть его, Эдуард, – позвала меня Гвендолин. – «*Патна*» тонет. Сырая могила для печальной истории.

И тут Шетландские острова сделали то, что они лучше всего умеют. Погода резко сменилась. Взвыл ветер, и снежинки превратились в косые

струи дождя.

– Меняемся местами! – крикнул я, приподнявшись в лодке. – Назад буду грести я.

Гвен не шевельнулась. Вода дошла ей уже до лодыжек.

– Мне нужен ты, – сказала она. – Ты как погода, которая устоялась. Через одежду видно, как стучит твое сердце.

Неожиданно она встала в лодке, шагнула на планшир – и море опрокинулось в лодку, как вода, заливающая плотину. Я бросился к другому борту, чтобы выровнять лодку, и Гвен, потеряв равновесие, полетела в воду. Волны поглотили всплеск, когда она ушла в пучину. Тяжело качнувшись, лодка выправилась.

При этом движении в борт ткнулось второе весло. Я вытащил его из воды, вставил оба весла на место и попытался грести за ней. Но скрип уключин зазвучал иначе – не как сухое повизгивание, а тяжелое неохотное ворчание. Лодку захлестывала вода, с каждой секундой мои брюки намокали все сильнее.

Я вытащил весло и шарахнул им по штоку уключины. Бил и бил, пока шток не треснул. Отделил надломленную часть и заткнул в отверстие спускной пробки. Веслом вогнал обломок плотно – только вода брызнула. Отломал еще кусок штока и заделал второе отверстие. Но поздно. С каждым моим движением прибывала вода, и вот уже все было кончено; «*Патна»,* море и я – единое целое.

Я оттолкнулся от лодки ногами и поплыл за Гвен. Вода была ледяная, куртка мешала мне плыть быстро. Рядом волны подбрасывали игрушечную собачку. Из воды торчала одна голова. Гвен была уже далеко, до берега ей оставалось всего несколько метров. Но волнение быстро усиливалось, вода не держала плывущего, ее поверхность окончательно утратила форму.

Проплыв несколько метров, я оглянулся. «*Патна»* еще не затонула. Она колыхалась у поверхности воды, как наполненная ванна. И тут Гвен сменила направление. Вместо того чтобы плыть к прибрежной отмели, она потянулась к ближайшей твердой точке – к шхере, вокруг которой бились буруны.

– Не туда! – крикнул я, хлебнув соленой воды. – К берегу плыви!

То ли Гвен сама пыталась дотянуться до шхеры, то ли ее кинуло туда волной, но ухватиться там было не за что. Когда она была уже в паре метров оттуда, взметнулся пенный вал и швырнул ее о шхеру, черную и мокрую. Буруны заглушили ее крик, какое-то мгновение видно было кровавое пятно, но следующая волна смыла его.

13

В щели задувало сухой снег, образующий на полу узоры, которые напоминали маленький веер. На подоконнике стояли пустые цветочные горшки с остатками земли на дне. Наверное, цветы сажала Альма, а дедушка вынес их сюда после ее смерти. Потом тут больше никто цветов не разводил.

Избушка на горном пастбище никак не хотела согреваться. Ежась от холода, я подкидывал в чугунную печку дрова. С латунного листа под печкой выползла на дощатый пол проснувшаяся муха и застыла в растерянности.

Слышно было, как на лугу блеют овцы. Пока я нашел только двенадцать из них. В комковатой шерсти у каждой застряли кусочки льда, и они уже с трудом пробирались по снежной каше. Овцам не нравится промозглая и ветреная погода, так что большинство из них спустились в лес. Стали пугливыми. Стоило мне приблизиться, и они со всех ног бросались прочь, хоть я и видел, что они голодны.

Я снова отправился их собирать. За несколько часов нашел всего одну овцу. Остальные разбежались в разные стороны – они так шарахались от людей, что собрать их и согнать на хутор не удалось.

Потом я остановился возле вырубки. Внизу, в долине, передо мной раскинулся Саксюм. Последний раз я появился в деревне в «Бристоле», с незнакомой спутницей. Мы купили вустерского соуса, словно протестуя против чего-то. Но получилась сцена из карнавала. Машина слишком показушная, пиджак слишком франтоватый, объяснение слишком запутанное.

Для себя я хотел бы сейчас быть внешне обыкновенным, чтобы настоящая жизнь свершалась внутри меня. Зайти в кафе на станции, и чтобы никто не пялился на меня; не бросаться на тех, кто рисует на машинах свастику. Пойти пострелять по тарелочкам, и чтобы ни у кого не возникло мыслей о том, *что* я могу учудить с этим дробовиком.

Совершенно обычные вещи, происходящие с каждым. Приехать в деревню, чувствуя себя там своим, и в то же время быть самим собой.

Так что остается делать? Наверное, просто делать то, что надо. Поехать на стрельбище, достать без лишних слов «*Диксон Раунд Экшн*», отстрелять пару серий. Убрать ружье, и пусть себе треплются потом. Если спросят, отвечать. Делать свое дело, пусть привыкают видеть меня.

Вот, собственно, и всё.

Я поймал пару овцематок. В шерсти у них застряли мелкие веточки. Намучаешься стричь. Услышав блеяние сородичей, они прибавили ходу. Что-то не сходились у меня цифры, когда я начал пересчитывать овец в загоне. Их было уже больше двадцати. Кто-то же загнал их сюда, но никого не было видно… У калитки чужие следы, но шума мотора я не слышал.

На следующее утро я снова отправился на пастбище. Все повторилось. Пока я ходил по лесу, кто-то уже собрал в загон больше овец, чем я.

В последующие недели похолодало. Поля и лес покрылись снегом. Пушистый снег поблескивал на ветках деревьев. Я работал с семи до семи, чтобы не думать о пережитом на Шетландских островах.

На чердаке я нашел старый журнальный разворот с картинками пресноводных рыб. Приложение к летнему выпуску журнала «Домашний очаг». Я надеялся, что, снова увидев его, вспомню еще что-нибудь, что говорил мне отец, но похожими казались только звуки его голоса и интонаций.

Может, это и к лучшему, подумал я. Не стоит помнить сказанное родителями дословно.

Я расчистил в снегу тропинку к столярной мастерской, затопил чугунную печку и сделал для разворота с рыбами рамку. Потом поднялся в гостиную на третьем этаже. Всю́ зиму в ней стоял холод, летом там была пыль и запустение, и только ду́хи давних обитателей витали здесь. На стенах висели в маленьких рамках фотографии угрюмых мужчин и хмурых женщин со стянутыми на затылке волосами. Вид у них был такой, будто жили они тут, никому не нужные и покинутые потомками, и никто их не навещал.

«Каким же пустым выглядит хутор!» – сказал я себе. Когда единственное, что согревает, – это память о комнате дедушки. Все эти книжные корешки за его спиной, мерцание приборов на усилителе «Грюндиг», где тоненькие стрелочки покачиваются в такт движениям его натруженных рук, когда он, сам того не замечая, дирижирует музыкой… И всепроникающий аромат горячего мясного блюда, которое подавалось ровно в пять на двух тарелках, а потом – дымок сигарилл.

Здесь, наверху, не было ничего, кроме этой большой гостиной с холодным полом, не застеленном коврами, с обеденным столом на двенадцать персон, которым никогда не пользовались, книг в кожаных переплетах, отпечатанных готическим шрифтом.

Я спустился вниз и повесил иллюстрацию с рыбами в прихожей маленького дома. Сварил форель, выловленную на летней рыбалке, и

поделился ею с Грюббе.

*** * ***

Колеса забуксовали, когда я заехал в тупик. Подъезд к дому был расчищен так плохо, что пришлось остановиться перед калиткой. «Ровер» с летними покрышками стоял под навесом. Этой зимой самым дальним походом пастора было, наверное, пробраться от двери до почтового ящика по протоптанной в снегу тропке.

Минуло уже двенадцать часов, но он все еще был не одет. И еще больше похудел с нашей прошлой встречи.

– Вы с лета-то ели что-нибудь? – спросил я.

Таллауг раздумывал, как бы ответить, но приступ кашля заставил его согнуться пополам, и он просто махнул мне рукой, приглашая войти.

– Мне теперь ничего не вкусно, – сказал священник и зашел в дом, шаркая ногами. Задники его тапок шлепали по стертому до матовости паркету гостиной.

– Кофе? – задал я новый вопрос. – Могу сварить.

– Благословляю тебя на это от лица Церкви. И на то, чтобы сходить к ящику за газетой. Хоть в ней и читать-то нечего теперь. Скоро перейду на областную.

В кухонных шкафчиках у священника было шаром покати, если не считать чая в пакетиках и пачки печенья. На пластике стола среди редких хлебных крошек стояла заросшая чашка. Слышно было, как он кашляет в глубине дома.

Я поехал в кооптorг. Закупил всего, словно собирался зимовать в избушке на пастбище, заполнил две картонные коробки. Прихватил центральных газет.

Вернувшись, я услышал из коридора громкий голос диктора местной радиостанции. Расставил продукты по шкафчикам, сварил кофе и пошел на звук. Магнус был у себя в кабинете, лежал на диване под книжной полкой.

– Ага, кофейком пахнет? – сказал он, привстав. – Или это Он прибрал меня в Царствие Небесное?

– Да нет, это всего лишь кофе из кооптorга, – отозвался я. – К счастью.

Пастор выключил радио.

– Сойдет. Много сварил-то?

– Полтора литра.

– Хорошо, – сказал он. – Ну, теперь рассказывай. Всё до последней

капли.

* * *

Потом Таллауг долго сидел с закрытыми глазами. Тихонько покачивался вперед-назад.

– Вы не спите? – спросил я.

Старый священник открыл глаза.

– Вовсе нет. Бодрее бодрого.

Он отвел локти за спину и выпрямил спину.

– Будучи пастором в Саксюме, я повидал и услышал много такого, что заставляло меня усомниться в мудрости божественного плана создать человечество. Но теперь я больше в этом не сомневаюсь.

Снаружи все окутало зимней мглой.

– Все мучаешься? – спросил Таллауг. – Из-за того, что убежал тогда в лес.

– Да, – сказал я.

Некоторое время мы молчали.

– Не надо, Эдвард, – снова заговорил потом Магнус. – На этот случай у меня не припасено цитаты из Библии. Но мы невинны во сне и невинны во младенчестве.

– Я знаю, что это так, – ответил я. – Но не могу отделаться от этой мысли.

– Ты уже стократ отбыл наказание, к которому тебя никто не приговаривал. Подумай о своем дедушке. Я теперь в более ясном свете представляю себе его, сидящим в одиночку на органном концерте. Может быть, он чувствовал, что все идет к тому, что, затосковав по своим родителям, ты будешь винить себя в их гибели, и боялся этого.

Мы снова замолчали. Но на этот раз ненадолго. Таллауг повернулся ко мне, скрипнув стулом.

– И почему только мы, норвежцы, говорим «кофейник-термос для телевизора»? – сказал он. – Нету ведь «кофейника-термоса для радио».

На дне еще оставалось немножко кофе, и мы допили его пополам.

– Мне интересно про этих двух женщин, – сказал старый пастор. – По которой из них твое сердце бьется сильнее?

– Поди знай. По Ханне – когда сжимается, по Гвен – когда разжимается.

Священник с трудом поднялся со стула.

– Любил я одну девушку. Когда учился в университете. Но ничего из этого не вышло. Слишком долго раздумывал, а надо было действовать быстро… – Он окинул взглядом книжные полки, стопки старых проповедей. – Загляни-ка в зеленую коробку возле конторки.

Я послушался. Присел и полистал пожелтевшие странички корректуры «*Вестника Саксюмского прихода*».

– Я выпускал его при помощи супизов и пишущей машинки, – рассказал Магнус. – Но ты под ними посмотри, ниже, и увидишь кое-что гораздо более любезное Господу. Только обещай, что не зароешься в них сразу.

Там была стопка потрепанных специальных выпусков журнала «*Плейбой*».

– Холостяком я ориентировался в прессе, способствовавшей решению проблемы безбрачия, – сказал старый пастор. – Их регулярные выпуски так себе, мне не по вкусу их гедонистический профиль. Но ежегодно в мае они публикуют специальный выпуск. «*Girls of Summer*»[76]. Я был подписан на них много лет. Как видишь, здесь только девушки, а текста никакого. Никаких эксплицитных пояснений. Лишь величайшее творение создателя. Женщина, какой она дана нам Господом. К сожалению, в бумажном варианте не дотягивает до оригинала, как Библия.

*** * ***

В начале февраля я пошел в березовый лес. Один, взяв с собой валочный топор. Не прихватив ни табака, ни перекуса. Присмотрел первое дерево, развернул топор боком и рубанул. С веток посыпался снег. Пока он весь не оказался на земле, я смотрел на небо, широко открыв глаза. На щеках у меня таяли снежинки.

Дальше было так же. Обходя вкруг дерева, я делал на стволе равномерные зарубки, чтобы под конец береза осталась балансировать на тонкой сердцевине, подобно песочным часам. Потом прикладывал ладонь к стволу и мягко толкал его вперед, будто это спина ребенка, которого я учу прыгать в воду. Рука на спине – лишь знак того, что я пробуду с ним столько, сколько можно. Свилеватая карельская береза медленно падала, покряхтывая, сугроб бережно принимал ее, ветви обламывались под снегом с многозвучным хрустом.

Я обрубал сучья, отмеривал нужную длину и отделял кусок ствола. Пригнал старый «Дойтц». Когда небо потемнело до синевы, сзади на нем

лежало восемь распиленных деревьев. Я выехал из леса на низкой передаче, любуясь открывающимся мне видом на хутор. Он был окружен дымкой зимнего света, в щели между бревнами сложенного «в лапу» дома набился снег: яркие белые полосы, подчеркивающие этапы когда-то выполненной работы.

И так три дня, только топор и ручная пила, чтобы можно было работать без наушников. Тяжелый труд на морозе, отвлекающий от лишних мыслей. Часть железных скоб лопнули, когда березы падали; остальные я выковыривал из чурок зубилом уже на хуторе и складывал их в колючую горку металлолома.

К четвертому дню у меня практически все уже было сделано. Я занялся обрубкой сучьев, и тут повалил снег. Началась метель, и сквозь снежную пелену я увидел, как за деревьями промелькнуло что-то красноватое. Она появилась на протоптанной мной дорожке со своими осветленными волосами, уже начавшими отрастать, возвращаясь к родному каштановому цвету.

– Картошка вырыта рано, овцы согнаны поздно… Потерял ты хозяйственные навыки, Эдвард Хирифьелль. – Она остановилась метрах в пяти от меня. – Но, может, тебе и там тоже нелегко пришлось.

– Спасибо, что осенью помогла мне с овцами, – сказал я.

– Я сделала это ради овец, – отозвалась она.

– Да, понимаю, ветеринарный врач Сульволл.

На ней были начищенные горные ботинки – снег не прилипал к ним, а скатывался капельками. Она встала на ствол березы, слегка раскачиваясь на нем, чтобы удержать равновесие, – так делают сплавщики леса на воде. Кожа ботинок четко вырисовывалась на фоне белой бересты.

– Ты что, собираешься все деревья срубить? – удивилась Ханне.

– План был таков, – кивнул я.

– Что-то не верится, – сказала она, спустившись на землю, – насчет плана. Ты же сам видишь, что за дерево оставил.

Ханне подошла к большой березе, под которой мы лежали прошлым летом. Кора на ней была прорезана грубыми железными обручами, погрузившимися в дерево. Девушка провела пальцем по ржавому металлу.

– Вот ты стоишь здесь в той же рабочей одежде, в какой я тебя видела так много раз, – сказала она. – Но ты стал совсем другим. И я не знаю, нравишься ты мне или нет. И совсем не уверена, *хочу ли* я разобраться в этом.

Я воткнул топор в сугроб.

– Ни за что на свете я не превращусь в эдакую верную Сольвейг,

застрявшую навеки в своей деревне в ожидании суженого, – продолжала Ханне. – Я нашла место практикантки на севере, на два года. Так что даром ты ничего не получишь, Эдвард. Но и в минусе не останешься.

Два года, подумал я. В каком-то смысле это даже меньше, чем два месяца.

– Ну, скажи уж что-нибудь, – попросила она.

– Хочу сказать тебе что-нибудь хорошее, – ответил я. – Но так много хорошего можно сказать…

Я выпрямился, поднял топор за самый кончик топорища и покачал им. Головка топора обрисовала на снегу нечто вроде бантика.

– Это что такое? – спросила Ханне.

Я задал себе тот же вопрос. Бесконечность ли это? Или просто восьмерка?

Она накрутила прядь волос на палец.

– А куда девалась та, другая?

Я поднял топор повыше. Он продолжал раскачиваться у меня в руках, но теперь до снега не доставал.

Ханне же не знала, что произошло. Теперь я мог ей это рассказать.

– Если тебе нужно будет ее упомянуть, – сказал я, – никогда не называй ее «та, другая». Говори: Гвендолин Уинтерфинч.

14

В тот день на Хаф-Груни я поплыл за ней, поймал за руку и попытался пробиться к прибрежным камням и выбраться на сушу, цепляясь за них. Все тело у меня ныло, кожу обжигало, а когда я ухватился за острый камень, пытаясь подтянуться к нему, из руки потекла кровь.

Бесполезно. Моя хватка ослабла, и Гвен, уже потерявшую сознание, утащило от меня назад, в море. Ее швыряло из стороны в сторону, словно намокший чайный пакетик, и волосы веером колыхались вокруг ее головы. Ее относило все дальше, пока следующей волной нас обоих не швырнуло на камни. Девушку бросило прямо мне в руки, я крепко обхватил ее и поплыл на спине к мелководью, стараясь удерживать ее голову над водой.

Волна протащила нас далеко, и я с трудом удержался на ногах, когда нас поволокло по гальке. Свитер на мне отвис, с волос и из-под мышек стекала вода. Я отнес Гвен подальше от воды и попытался вернуть ее к жизни. В армии нас учили массажу сердца. Дышать изо рта в рот. Сильно надавливать на грудь. Она отрыгнула воду, попыталась поднять руку, но та тут же безвольно упала, как отрубленная ветвь.

Я тогда сильно удивился тому, что часы Дункана Уинтерфинча продолжали идти, хотя были надеты на безжизненную руку.

Я вытащил *«Зетленд»* из-под навеса, втянул Гвен на борт и на всех парах помчался к паромной пристани в Йелл. Мысли мои постоянно крутились вокруг ее похорон; я думал, что мне придется уговорить ее родных похоронить ее в черном гробу, стоящем в сарае. Следующее, что я помню, – это широкая ладонь на моем плече и два врача, перевязывающие мне раны.

Через три дня Гвен пришла в сознание. Для меня она на тот момент была уже потеряна. Ее как будто извлекли из нашего призрачного мира и вернули в действительность. На больничную койку, в руки врачей. Теперь она принадлежала *им*. Врачи, да еще ее родственники толпились вокруг кровати – стена из дорогих шмоток и озабоченных взглядов. Со мной они разговаривать не пожелали – хотели только узнать, что я сообщил шерифу. Хотели превратить всё в семейную тайну о том, как породистое животное сорвалось с привязи и провело лето с дворнягой без роду и племени. Сам-то я хотел бы с ними поговорить, чтобы они рассказали о ней, хотел услышать их мнение о человеке, которого, видимо, на самом деле только *я* и знал. Но врачи покачали головой и посоветовали мне удалиться.

Я отвел «*Зетленд*» назад, на Хаф-Груни, и ждал, что они приедут туда и отберут у меня лодку, будут грозить адвокатом и призывать меня к ответственности. Но никто так и не появился. Я все сидел и ждал, в доме постепенно темнело – вот и всё.

На следующее утро я сидел на камне, глядя на «*Патну*». Те же течения, что выбрасывали плавник на Хаф-Груни, отнесли ее на мелководье, где отлив оставил ее лежать, словно выброшенного на берег кита. Днище ее облезло, а сама она походила на ободранную тушу и пахла дегтем и соленой водой.

И я не выдержал. Отправился в Леруик, поспешил к постели Гвен и увидел, что она одна.

– Это ты, – сказала девушка и поправила пластиковую трубку, кончик которой скрывался на ее руке под пластырем.

– Да, – ответил я. – Это я.

Она наклонила голову к окну. Ей коротко остригли волосы. Полностью сбрили их вокруг ран, так что видно было стежки. От уха до затылка ее голову скрывал бинт. Два больших пластыря на бритой коже, с мелкими точечками, где росли волосы.

– Я хочу помириться, – сказал я. – Я поеду с тобой, куда ты захочешь. Только давай помиримся.

В ее глазах не было блеска. Губы потрескались. Вокруг нас все пропахло лекарствами.

– Хочется тебе чего-нибудь? – спросил я. – Воды? Поесть?

– Почему ты не спросишь, не хочется ли мне *тебя?* – сонно проговорила Гвен.

– Спрошу, – кивнул я. – Вот я тебя теперь спрашиваю.

– Я тебя хочу. Но никогда не смогу получить.

– Послушай, – сказал я. – Не…

Девушка закашлялась. Поворочалась и затихла, собираясь с силами.

– Пока я тут лежала одна, – стала рассказывать она, – я надеялась, что ты придешь и скажешь это. Подбежишь ко мне и скажешь то, что сейчас сказал. Но нет. Я чувствую, что всё не так. Ты как раненое животное. Когда залечишь раны – убежишь, и мне тебя никогда не догнать.

– Не говори так. Прости, что я сомневался в тебе.

– Милый мой, все, что я говорила в лодке, – правда. Но в конечном итоге нас связывали только поиски. Не дай мне пережить тот кошмарный день, когда я пойму, что ничего не получается.

Она прикоснулась ладонью к моей руке. У меня по коже побежали мурашки.

– Знаешь, чего я больше всего в жизни боялся, Гвен? – спросил я.

Девушка легонько покачала головой.

– Что я окажусь холодным. Бесстрастным. Никогда не испытаю настоящих чувств, никогда ни о чем не буду горевать. Больше я этого не боюсь.

– Значит, мы с тобой чувствуем одно и то же, – сказала она и закрыла глаза.

Я взял ее за руку и не выпускал ее, пока санитар не попросил меня уйти.

Потом я вернулся на Хаф-Груни. Спал, пока меня не разбудил холод. Стояло чистое и ясное утро, за окном «*Патна*» все так же лежала килем кверху на обнажившемся при отливе берегу. Наверное, вот так же она лежала, опрокинувшись на Эйнара.

Что бы я делал, если б Гвен утонула? Вероятно, облил бы «*Патну*» бензином и поджег. Мои чувства к Гвен были истинными. Истинными и настоящими. Безнадежными и все-таки настоящими. Я хорошо представлял себе, как мы могли бы жить вместе через много-много лет.

Пыль начала покрываться пятнами от моих слез. Вскоре я уже рыдал так, что больно было дышать. Я злился на нее за то, что она не хочет попробовать, злился на себя самого за то, что не кинулся за ней сразу же, а дал воде заполнить «*Патну*». Представлял себе ее с другими мужчинами, спрашивал себя, что она расскажет им обо мне.

Мы вели себя жестко по отношению друг к другу. Жестко не потому, что были бесчувственными, – жесткими были те наши грани, которые встретились. Я вспомнил, как Эйнар в одном письме рассказывал о том, как они развлекались в мастерской Рульмана в обеденный перерыв. Мастера соревновались в том, чтобы отрезать два деревянных чурбачка так ровно, чтобы те крепко схватились от одной капли воды.

Так, возможно, было бы и у нас с Гвен. Тесно прильнувшие друг к другу, прижатые поверхностным натяжением.

Я спустился к «*Патне*». Казалось, никогда не иссякнет капающая с нее вода. Ветер принес с собой леденящий промозглый холод. Со стороны пролива приближался дождевой шквал.

Мертвые собрались вокруг меня и спросили:

«Час настал. Что ты теперь будешь делать?»

А я – я слышал голос дедушки. Умевшего прикоснуться к Баху после целого дня, проведенного за расчисткой земли от камней.

Древесина появилась из-под земли. Это все равно что не жать зерно. Все равно что не собирать овец. Все равно что не копать картошку.

Я помнил, как мы с ним жили. Осень – это было наше время. Вот мы стоим в увядшей картофельной ботве, полегшей на поле после того, как та впитала в себя свет и питательные вещества для растений, сидящих в темноте глубоко под землей. Рев мотора его двухколесного трактора на склоне. Чернозем на моих руках, под ногтями, колени, намокшие, пока я выкапывал картошку и укладывал ее в деревянные ящики, а дедушка двигался передо мной и без слов разделял со мной ту же радость. Наш собственный отдельный мирок, где мы выкапывали картофелину за картофелиной и лучшие откладывали на Рождество.

Воспоминание подошло к концу, и я начал собираться.

Сходил в столярную мастерскую за ломиком и пилой. Примерился и попробовал отломать часть обшивки. Но та была твердой, как железо, и не отставала. В ребрах вспыхивала острая боль – в тех местах, которыми меня побило о камни, – и даже за целый день я не сумел повернуть вспять судостроительные усилия Эйнара. Все было подогнано и скреплено так, чтобы выдерживать удары волн. «*Патна*» представляла собой замкнутую наглухо конструкцию, пирамиду без входов, а если я начинал слишком рьяно орудовать ломиком, от нее лишь отлетали тоненькие щепочки.

На следующее утро Эйнарово столярное творение как будто пыталось сказать мне что-то. Корпус «*Патны*» поскрипывал и всхлипывал, и в конце концов я сумел отделить пару досок и сбить часть обшивки.

После этого я продолжил растаскивать лодку на части, но не грубо и бестолково, как накануне. Я пытался *уловить* ход его мыслей.

С этого момента Эйнар был со мной, его план передался моим рукам, его глазомер стал моим взглядом, и вскоре я сообразил, куда втыкать ломик, чтобы попадать в швы и выворачивать одну планку за другой. Я наконец понял, что шпангоуты, поперечные ребра лодки, составлены из плотно подогнанных друг к другу кусков дерева длиной по полметра. Они симметрично тянулись внутрь корпуса, черные, грубые, непроницаемые.

Целых пять минут я лишь стоял и *смотрел*. Затем выломал две заготовки для прикладов. Совершенной формы, покрытые дегтем.

Я работал еще три дня: первый в снегопад, следующий на солнце, третий под дождем. К вечеру третьего дня, когда уже почти ничего не было видно, под крики чаек у птичьего базара на острове Фетлар я осторожно высвободил последние шпангоуты.

«Патны» больше не было.

Остался штабелек заготовок для прикладов. Двадцать в высоту, шестнадцать в длину. Дальше я считать в голове не стал. Снял фуганком верхний слой дегтя и с помощью шкурки добрался до поверхности дерева.

С моря несло вихри снега. Я опустился на колени, повернув лицо к небу, чтобы влага охладила лоб. Снег ложился на орех и таял. За какие-то секунды он проник в древесину, вызвав к жизни краски и узоры.

Я загрузил орех на «*Зетленд*» и поплыл на Анст. Там зашел в Квэркус-Холл и пронес дерево по пахнущим плесенью и затвердевшей мебельной политурой коридорам и дальше, наверх, в кабинет Дункана Уинтерфинча. Постоял немного, вдыхая запах выкуренного когда-то «Балканского собрания», посмотрел на фотографию «Черной стражи», выглянул наружу и увидел теперь уже нагие, потерявшие листья кроны деревьев.

Я в последний раз всмотрелся в древесину ореха. Вглядывался в глубь столетий леса Дэро, в отливающие черным и оранжевым извивающиеся годовые кольца. Только тут, в полутьме, я увидел, что дерево светится само, как стрелка часов, за ночь возвращающая свет дня, который она медленно отмеряла.

Так узор возвращал все, чему дерево было свидетелем на протяжении четырех сотен лет. Но он открывал взору и нечто спрятанное бесконечно глубоко: переменчивые оттенки цвета были не от этого мира.

Увиденное мною было отсветом из царства мертвых, в которое все они ушли.

Солдаты «Черной стражи», Изабель, Эйнар, Дункан Уинтерфинч, дедушка…

Мама с отцом.

Эпилог
Изабель

Шли годы. Годы парши картофеля, годы рекордного урожая, засушливые годы… Новый трактор стал старым трактором, старый трактор загнали в сарай.

Мы жили землей и сменой температур, растениями, которые всходили и увядали. Но для круговорота лет во мне самом, для того, чтобы рост привел к созреванию и расцвету, требовалось больше усилий.

Как-то в начале теплого лета я почувствовал, что время настало.

Я стоял у шоссе, оглядывая Хирифьелль. Почту еще не привозили, и я прислушивался, не идет ли автомашина, но стояла полная тишина, и только внизу в долине неясно шумел Лауген, да ветер шелестел в деревьях.

Вот тут-то я и понял, что пора. Напрямик по крапиве спустился к столярной мастерской. Нашел шкатулку, обернутую парусиной.

Она сидела за кухонным столом, эсэмэски летали туда и обратно.

– У меня для тебя есть кое-что, – сказал я. – Но тебе лучше надеть обувь понадежнее.

Мы вышли через калитку, прошли между участками с картошкой и мимо недавно вскопанных грядок с летней капустой и оказались в лесу свилеватых берез – я продолжал называть его так, хотя березой в нем было одно-единственное дерево.

Вокруг этой березы росли небольшие деревца грецкого ореха – всего их было шестнадцать. Они проклюнулись из орехов, которые я подобрал в лесу Дэро, росли в горшках в меньшем доме и, собственно, должны были бы после высадки в почву завянуть в первую же зиму. Ветер трепал их с одной стороны, но они выстояли здесь, на мягком солнечном свете, льющемся с другой.

Не всё удается спасти.

Последнее, что я сделал перед тем, как уехать домой с Хаф-Груни, – это достал из торфа гроб Изабель, очистил его и отполировал.

В Леруике я отыскал похоронное бюро и попросил их сохранить гроб до востребования.

Таким образом, почти все мои дела там были завершены.

Я вернулся на Шетландские острова еще только один раз, когда умерла Агнес Браун. Ее похоронили в Норвике, рядом с Эйнаром. Мелодию псалма

слышно было в промежутки между порывами ветра.

Проводить ее пришли немногие.

В церкви гроб украсили оранжевыми тюльпанами и белыми лилиями – теми цветами, которые любил вырезать Эйнар. Только я знал, что Агнес лежит, собственно, в бабушкином гробу и что наконец-то в творении Эйнара покоится человек, который его действительно любил.

Он еще при жизни стал призраком, стремящимся к совершенству, которое было возможно за верстаком, но недостижимо в приложении к человеку.

Мы опускали гроб в могилу, и я думал и надеялся, что в другое время и в другом месте Эйнар сможет ответить Агнес на те чувства, что она питала к нему. Как и мы с Гвендолин Уинтерфинч в другое время и другом месте могли бы достаться друг другу.

Когда мы стояли у могилы, я увидел, что Гвен с цветами в руках спускается по дорожке, ведущей к маяку Макл-Флагга. Она уселась на склоне и следила за церемонией издали.

– *Men jeg håpet at siste vers fra Kjærlighet fra Gud skulle bære opp til henne med blåsten fra havet, og at ordene skulle gjelde for henne så vel som for Agness, og at de skulle gjelde for alle som kom etter oss*, – продолжался псалом. Но я надеялся, что ветер с моря донесет до нее последнюю строфу – *Любовь Господа*, – и что эти слова сбудутся и для нее, и для Агнес, и для всех, кто придет после нас.

*** * ***

И слова сбылись.

И теперь, в лесу свилеватых берез, я сорвал парусину со шкатулки и протянул ее своей дочери.

Она надолго замолкла.

Одно из ее многочисленных достоинств – это умение позволить эмоциям созреть за непроницаемым лицом, прежде чем предъявить их миру.

Когда она повернула шкатулку к свету, солнечные лучи проникли в янтарно-желтое дерево, вызвав в нем бесконечные завихрения узора.

– Это свилеватая береза отсюда, – сказал я.

– Ну надо же… Это шкатулка для драгоценностей?

– Подарок – не шкатулка. Загляни внутрь.

Она подняла крышку. Та скрипнула – звук повис меж стволов.

Изнутри шкатулка светилась глубже, загадочнее, куда более древним отсветом, чем могла бы светиться свилеватая береза.

Внутри лежал пакет, завернутый в серую папиросную бумагу.

Дочь присела, положила шкатулку на колени и развернула пакет.

Когда она встала, ее движения сопровождал густо-синий отблеск.

– Платье? – спросила она.

– Да, – ответил я и забрал у нее из рук шкатулку, которая теперь странно опустела.

– Какое красивое… – сказала она, подняв платье перед собой на вытянутых руках. – Откуда оно у тебя?

– Всегда было у нас в роду, – ответил я.

Дочь повернула платье к солнцу и пошла между деревьями к старой березе, достаточно широкой, чтобы за ней можно было переодеться.

Появилась, одетая в синее, и наполнила платье жизнью.

Листья ореховых деревьев зашелестели на ветерке. Но над ними возвышалась огромная береза, высокая и неколебимая, с такими толстыми ветвями, что они даже не шевельнулись. И сквозь листву солнце осеняло нас своими вечно меняющимися переливами света и тени.

notes

1

Пер. М. Файнерман.

2

Конфирмация – у католиков и протестантов (в разных формах) обряд приема в церковную общину подростков, достигших определенного возраста.

3

«Братец Яков» (*фр., норв.*).

4

Ленсман – исполнительный полицейский чин в скандинавских странах.

5

Квислинг – изменник, предатель родины, сотрудничающий с национальным врагом; название дано по имени В. Квислинга, главаря норвежских национал-социалистов, содействовавшего оккупации Норвегии гитлеровской Германией в 1940 г.

6

«Норвежский легион», Батальон «Норвежский добровольческий легион» или Добровольческий легион СС «Норвегия» – норвежское добровольческое воинское формирование, участвовавшее во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии.

7

Имеется в виду магазинный карабин «Маузер 98k», самое массовое стрелковое оружие вермахта.

8

«С нами Бог» (*нем.*).

9

День конституции Норвегии.

10

Байройтский фестиваль – ежегодный летний фестиваль, на котором исполняются музыкальные драмы Рихарда Вагнера; основан самим композитором, проводится в баварском городе Байройт в специально построенном для этого театре.

11

Британские рок-музыканты, видные представители стиля панк.

12

Парикмахер (*англ.*).

13

«Не задавай вопросов – не услышишь лжи» (*англ.*).

14

Ни об одном не слышала (*англ.*).

15

Приехал вчера вечером (*англ.*).

16

Это что же (*англ.*).

17

Что ты имеешь в виду? (*англ.*).

18

Чтобы дать реке следовать своим путем (*англ.*).

19

Это частная собственность (*англ.*).

20

Я только присматриваю за домом (*англ.*).

21

Цифры и числа (*англ.*).

22

Так не делается (*англ.*).

23

О, пожалуйста, я же уже говорила тебе (*англ.*).

24

Имеется в виду шотландский флаг. Ошибка автора: он не имеет никакого отношения ни к норвежскому флагу, ни к норвежским историческим традициям.

25

Сэр, могу я вам помочь? (*англ.*)

26

Да, именно (*англ.*).

27

Наследники (*англ.*).

28

До конца времен (*англ.*).

29

Обстоятельства непреодолимой силы (*англ.*).

30

Подписи свидетелей сторон (*англ.*).

31

Сожалею об этом (*англ.*).

32

Проигрывателя (*англ.*).

33

С новой скатертью, пожалуйста (*англ.*).

34

Мне кажется, это хорошее воспоминание (*фр.*).

35

Да, так и есть. Но это еще и единственное, что напоминает мне о ней (*фр.*).

36

Пусть мы умрем молодыми – или будем жить вечно (*англ.*). Речь идет о хите группы «Альфавиль» «*Forever Young*».

37

Лето закончится (*англ.*).

38

Густав Вигеланд (1869–1943) – норвежский скульптор, создатель Парка скульптур Вигеланда в Осло.

39

Довольно… своеобразно. Хотя и мило (*англ.*).

40

Название альбома шотландской рок-группы «Ранриг» (1987).

41

Ожидается сильный шторм. Действительно сильный (*англ.*).

42

У меня есть доступ к лодке, предназначенной для серьезного мореходства (*англ.*).

43

Чтоб мне провалиться! (*англ.*)

44

Что за черт?! (*англ.*).

45

И почему меня это не удивляет (*англ.*).

46

Все скидывай (*англ.*).

47

Закрой глаза и думай об Англии (*англ.*).

48

Очень смешно (*англ.*).

49

Святые небеса (*англ.*).

50

«Старые деньги»; капиталы, нажитые предыдущими поколениями (*англ.*).

51

Выскочка; человек, лезущий не в свои сани (*англ.*).

52

Просто маленькая своеобразная привычка (*англ.*).

53

Поездки и спорт (*англ.*).

54

Замечательно (*англ.*).

55

Другая война (*англ.*).

56

Запястье настоящей леди (*англ.*).

57

Зд.: привлекательным (*англ.*).

58

«Долгий хороший перекур, чтобы утихомирить взбаламученный мир» (*англ.*).

59

Хождение под парусом в непогоду (*англ.*).

60

«Поставщики высококачественных и экзотических материалов по всему миру. Эдинбург-Лондон-Рангун-Джорджтаун-Такоради» (*англ.*).

61

Это не подходящий способ тратить старые деньги (*англ.*).

62

Зачем следовать за трендами, когда другие следуют за тобой? (*англ.*)

63

Точно подходящих по размеру штанов (*англ.*).

64

Превосходный выстрел (*англ.*).

65

Одобренный к применению на дорогах (*англ.*).

66

Это место просто чудесно (*англ.*).

67

Ты чертова гребаная задница (*англ.*).

68

Не должно быть прически, макияжа, открытых ног и декольте одновременно. Просто не должно (*англ.*).

69

Может быть, и нет. Позвольте мне сейчас поговорить об этом деле (*фр.*).

70

Ей ужасно не хватало тебя, она больше не выходила замуж и находила большое удовольствие в воспитании своего единственного ребенка (*англ.*).

71

Мы уже закрыты. У вас зарезервирован столик? (*фр.*).

72

Дорогуша (*фр.*).

73

О лете, когда мы были вечно молодыми (*англ.*).

74

Известному только Богу (*англ.*).

75

Мы очень скучаем по тебе. Саре сейчас девять лет, и у нее все хорошо (*англ.*).

76

«Девушки лета» (*англ.*).